

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

«НАУКА»
МОСКВА — 1990

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.	МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
АРИСТЕ П.	МАРТИНЕ А. (Франция)
БАНЕР В. (ГДР)	МЕЛЬНИЧУК А. С.
БЕРНШЕЙН С. Б.	НЕРОЗНАК В. П.
БИРНБАУМ Х. (США)	ПИЛЬХ Г. (ФРГ)
БОГОЛЮБОВ М. Н.	ПОЛОМЕ Э. (США)
БУДАГОВ Р. А.	РАСТОРГУЕВА В. С.
ВАРДУЛЬ И. Ф.	РОБИНС Р. (Великобритания)
ВАХЕК Й. (ЧССР)	СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
ВИНТЕР В. (ФРГ)	СЛЮСАРЕВА Н. А.
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)	ТЕНИШЕВ Э. Р.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.	ТРУБАЧЕВ О. Н.
ДЖАУКЯН Г. Б.	УОТКИНС К. (США)
ДОМАШНЕВ А. И.	ФИШЬЯК Я. (ПНР)
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)	ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ДУРИДАНОВ И. (НРБ)	ХЕМП Э. (США)
ЗИНДЕР Л. Р.	ШВЕДОВА Н. Ю.
ИВИЧ П. (СФРЮ)	ШМАЛЬСТИГ В. (США)
КЕРНЕР К. (Канада)	ШМЕЛЕВ Д. Н.
КОМРИ Б. (США)	ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)	ИМИТТ Р. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)	ЯРЦЕВА В. Н.
МАЖЮЛИС В. П.	

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.	КОДЗАСОВ С. В.
АПЕСЯН Ю. Д.	ЛЕОНТЬЕВ А. А.
БАСКАКОВ А. Н.	МАКОВСКИЙ М. М.
БОНДАРКО А. В.	НЕДЯЛКОВ В. П.
ВАРБОТ Ж. Ж.	НИКОЛАЕВА Т. М.
ВИНОГРАДОВ В. А.	ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
ГАДЖИЕВА Н. З.	СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.	СОЛНЦЕВ В. М.
ГАК В. Г.	СТАРОСТИН С. А.
ДЫБО В. А.	ТОПОРОВ В. Н.
ЖУРАВЛЕВ В. К.	УСПЕНСКИЙ В. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.	ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.	ХРАКОВСКИЙ В. С.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.	ШАРБАТОВ Г. Ш.
КАРАУЛОВ Ю. Н.	ШВЕЙЦЕР А. Д.
КИБРИК А. Е.	ШИРОКОВ О. С.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)	ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка.

редакция журнала «Вопросы языкознания», Тел. 203-00-78

СОДЕРЖАНИЕ

Д е с н и ц к а я А. В. (Ленинград). О происхождении албанского языка (Сравнительно-исторический и социально-исторический аспекты)	5
А л п а т о в В. М. (Москва). О сопоставительном изучении лингвистических традиций (К постановке проблемы)	13
К р и в о н о с о в А. Т. (Москва). К интеграции языкознания и логики (На материале причинно-следственных конструкций русского языка)	26
Д э ж е Л. (Дебрецен). Функциональная грамматика и типологическая характеристика русского языка	42
Д р е с с л е р В. У. (Вена). Против неоднозначности термина «функция» в «функциональных» грамматиках	57
Б е л и ч о в а Е. (Прага). О теории функциональной грамматики	64
О р е л В. Э., С т о л б о в а О. Б. (Москва) К реконструкции праафразийского вокализма	75
Ч е т в е р у х и н А. С. (Ленинград). Египетская реализация двух афразийских дейктико-релятивных морфем	91
Г и р о - В е б е р М. (Экс-ан-Прованс). Вид и семантика русского глагола	102
Б о р и с о в а Е. Г. (Москва). Отражение коммуникативной организации высказывания в лексическом значении	113

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Н. С. Т р у б е ц к о й. Общеславянский элемент в русской культуре	121
Б о р о д и н а М. А., К у з ь м и ч Н. Г., Н а й д и ч Л. Э. (Ленинград). Диалектологические труды В. М. Жирмунского и современная диалектология, лингвогеография и ареальная лингвистика	140

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Ж у р а в л е в В. К., Ш а х м а й к и н А. М. (Москва). <i>Akamatsu T. The theory of neutralization and the archiphoneme in functional phonology</i>	149
К р у ч и н а Е. Н. (Москва). <i>Алпатов В. М. Япония. Язык и общество</i>	155

CONTENTS

De snickaja A. V. (Leningrad). On the origin of the Albanian language (comparative and socio-historical aspects); *Alpatov* V. M. (Moscow). On the comparative study of linguistic traditions (the statement of the problem); *Krivosov* A. T. (Moscow). The integration of linguistics and logic (based on the material of causal constructions in Russian); *Dezsö* L. (Debrecen). Functional grammar and typological characteristics of the Russian language; *Dressler* W. U. (Vienna). Against the ambiguity of the term «function» in «functional» grammars; *Beličova* E. (Prague). On the theory of functional grammar; *Orel* V. E., *Stolbova* O. V. (Moscow). On the reconstruction of Proto-Afrasian vocalism; *Četveruxin* A. S. (Leningrad). The Egyptian realisation of two Afrasian deictic-relative morphemes; *Guiraud-Weber* M. (Ex-an-Provence). Verbal aspect and the semantics of the Russian verb; *Borisova* E. G. (Moscow). The communicative structuring of the utterance as reflected in the lexical meaning; **From the history of science:** *N. S. Trubetzkoy*. The common Slavonic element in Russian culture; *Borodina* M. A., *Kuz'mič* N. G., *Naidič* L. E. (Leningrad). Dialectological works of V. M. Žirmunskij and contemporary dialectology, linguistic geography and areal linguistics; **Reviews:** *Zuravlev* V. K., *Saxmaikin* A. M. (Moscow). *Akamatsu* T. The theory of neutralisation and the archiphoneme in functional phonology; *Krucina* E. N. (Moscow). *Alpatov* V. M. Japan. Language and society.

© 1990 г.

ДЕСНИЦКАЯ А. В.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ АЛБАНСКОГО ЯЗЫКА

(Сравнительно-исторический
и социально-исторический аспекты)

Албанский язык перестает, наконец, быть пасынком исторического языкознания. Проблема его происхождения начинает входить в круг вопросов индоевропеистики, по крайней мере в той степени, в какой это затрагивает родственные связи албанского с другими и.-е. языками. Не может остаться в стороне и типологически ориентированное балканское языкознание.

Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов, относящихся к происхождению албанского языка, необходимо уточнить значение используемых ниже терминов. В свое время мной была предложена следующая периодизация истории албанского языка [1, 2]:

I. П р о т о а л б а н с к и й п е р и о д (= праалбанский язык). Имеется в виду и.-е. язык, некогда составивший основу позднейшего албанского. Основной круг исследований в области протоалбанской, или праалбанской, проблематики составляют вопросы: родственные связи праалбанского с расходящимися членами позднейиндоевропейской языковой общности; древние (добалканские) места расселения протоалбанцев и их миграция на Балканский п-ов; положение протоалбанского внутри палеобалканского лингвистического комплекса. *Terminus ad quem* — римское завоевание балканских областей, иначе говоря, начало I тыс. н. э.

II. Д р е в н е а л б а н с к и й п е р и о д охватывает I тыс. н. э. Это было время албано-римских, албано-ранневизантийских и албано-раннеславянских языковых контактов. Внутри этого значительного временного отрезка могут быть выделены раннедревнеалбанский и позднедревнеалбанский периоды.

III. С р е д н е а л б а н с к и й п е р и о д. Этот этап албанской языковой истории, как и древнеалбанский, не документируется текстами. Хронологически он может быть приурочен к первой половине II тыс. н. э. — ко времени существования дотурецких феодальных княжеств на территории Албании.

IV. Н о в о а л б а н с к и й п е р и о д — с конца XV в. по настоящее время. Внутри этого периода, относительно хорошо известного как по письменным текстам, так и по результатам сравнительно-исторического изучения диалектов, может быть дополнительно выделено ранненовоалбанское состояние — с XV до конца XVIII столетия.

Эта периодизация не встретила возражений. Однако предложенные термины, особенно применительно к двум более ранним ступеням, последовательно не применялись. Даже автору указанной периодизации случалось иногда употреблять термин «древнеалбанский» вместо терминов

«протоалбанский» или «праалбанский» именно в тех контекстах, где шла речь о собственно доисторическом этапе языкового прошлого албанцев. В настоящее время я считаю принципиально важным четко различать понятия и термины «протоалбанский» (= «праалбанский») и «древнеалбанский».

Это представляется необходимым в связи с тем, что вопрос касается здесь не просто хронологического различия между двумя периодами развития одного и того же языка, но качественного различия двух его состояний, изучение которых составляет две совершенно различные области исследования. Можно говорить о двух качественно различных уровнях исследования, каждому из которых соответствуют различные ряды фактов. Вопрос этот имеет непосредственное отношение к решению проблемы происхождения албанского языка.

На уровне протоалбанского состояния предметом изучения является его унаследованная индоевропейская основа, довольно ясно выявляющая его принадлежность к древнеевропейской языковой области. На древнеалбанском уровне изучается становление собственно албанского как новоиндоевропейского языка, наделенного своеобразными особенностями языков балканского лингвистического ареала. Иначе говоря, предметом исследования является образование нового языка, происходящее на древней основе в условиях языковых контактов в романизованном языковом пространстве Балканского п-ова на протяжении первой половины I тыс. н. э.

Протоалбанский был, по всей вероятности, языком, сохранявшим еще индоевропейскую систему древних флексий. Формы его подлежат реконструированию путем сравнения с другими и.-е. языками, а также на основе применения методики внутренней реконструкции.

В сравнении с системой древнеиндоевропейских форм собственно албанская морфология предстает в сильно измененном виде и выглядит модернизированной. Такое ее состояние обнаруживается уже в самых ранних письменных источниках (XV—XVI вв.). С тех пор албанская языковая структура уже существенно не изменялась. Ко времени начала письменной традиции период коренных преобразований в языке лежал уже в далеком прошлом. Преобразования совершились в древнеалбанскую эпоху — в I тыс. н. э. Направление фонетических и морфологических процессов, которые в тот период разрушали и видоизменяли унаследованный облик индоевропейской структуры албанского языка, прослеживается средствами внутренней реконструкции. Так, можно видеть, что система индоевропейского основообразования в целом оказалась разрушенной, а унаследованные флексии оказались по большей части редуцированными. Отдельные их остатки, включенные в новые морфологические структуры, не всегда могут быть однозначно идентифицированы. Внешнее сходство некоторых албанских формативов с древними индоевропейскими флексиями часто оказывается иллюзорным, особенно если принять во внимание характерную для албанской морфологии омонимию окончаний.

С полным основанием можно утверждать, что албанский принадлежит к тем и.-е. языкам, которые довольно рано утратили древнюю систему флексий. Однако его особенность состоит в том, что, несмотря на все потери, дальнейшее развитие его не пошло по линии усиления аналитизма. Основным принципом внутренней организации албанской языковой структуры стала регенерация флективного строения, но с элементами аналитизма. Обновленная система флексий, образовавшаяся в древне-

албанский период, существенно отличается, однако, от унаследованной и не должна рассматриваться как возникшая в результате «склеивания» сохранившихся обломков старого. Сохранившиеся элементы индоевропейской системы флексий и системы индоевропейского основообразования оказались в албанском языке включенными в новые морфологические ряды, организация которых подчинена требованиям нового структурного целого. Таким образом, ни сохранения, ни восстановления унаследованной морфологической системы в албанском языке не наблюдалось.

Фонетические процессы древнеалбанского периода с наибольшей разрушительной силой действовали в системе именного формообразования. В этой области потери особенно чувствительны — полностью разрушенной оказались унаследованная система индоевропейских именных основ, большая часть падежных окончаний подверглась редукции. Обновленная система именных форм, очень сходная с восточнороманской (собственно с румынской), выглядит сильно упрощенной по сравнению с индоевропейской. Различаются (при том только в единственном числе) всего два типа склонения, распределяющиеся в основном по грамматическим родам. Заметная варибельность флексий (только в мужском роде) зависит от фонетического характера конечного звука основы. Для флективного формообразования как в системе албанского имени, так и в системе глагола особенно релевантным оказалось противопоставление гуттуральных и негуттуральных исходов основы.

С семантической стороны одним из основных различий, определивших в албанском языке всю систему именного формообразования, оказалось специфически «балканское» противопоставление определенных и неопределенных форм имени.

Как и во многих флективных языках, в албанском новые формы иногда создавались путем агглютинации. Однако своеобразной особенностью албанского формообразования явилось особенно широкое применение морфонологических процедур. Морфологизация фонологических оппозиций играла очень большую роль в процессе регенерации флективной системы, осуществившейся в древнеалбанский период. В качестве формообразующих элементов часто оказывались согласные, появившиеся в интервокальном положении при ликвидации зияния, что содействовало усилению и тем самым сохранению вокалических окончаний. Фонетические явления, возникавшие на границах слогов, а также на стыках слов, вообще играли очень большую роль в процессе исторического развития албанской морфологической структуры.

Временем действия указанных здесь процессов был древнеалбанский период. Именно поэтому недопустимо отождествлять и смешивать понятия «древнеалбанский» и «протоалбанский». Древнеалбанское состояние не может рассматриваться как одна из ступеней процесса последовательной эволюции языка, но как решающий период коренной ломки, коренного изменения языковых традиций, результатом которого явилось создание нового языка на почве романизованных областей прежней Южной Иллирии.

Таким образом, изучение протоалбанского (или праалбанского) и древнеалбанского языковых состояний относится к двум различным областям историко-лингвистического исследования. Протоалбанская проблематика относится к сфере индоевропейского сравнительного языкознания. Проблема древнеалбанского языка входит в круг вопросов исторической балканистики, и ее исследование не может быть изолировано от проблем истории романской речи на Балканах.

Само собой разумеется, что при изучении албанской языковой истории протоалбанское и древнеалбанское языковые состояния не могут рассматриваться в отрыве одно от другого. Реконструкция протоалбанского возможна лишь при опоре на исторически засвидетельствованные албанские языковые факты. С другой стороны, история собственно албанского языка получает свои исходные данные в индоевропейской сравнительной грамматике, через посредство реконструируемого протоалбанского состояния. Однако теоретически оба указанных уровня изучения истории албанского языка должны быть строго разделяемы.

*

В связи с предложенной периодизацией ниже рассматриваются некоторые вопросы, непосредственно относящиеся к изучению ранних этапов албанской языковой истории.

1. Протоалбанский принадлежал к палеобалканскому лингвистическому ареалу, примыкавшему к древнегреческой языковой области с северо-запада и с северо-востока. Было много споров о том, является ли албанский язык продолжением иллирийского или фракийского. Как от иллирийского, так и от фракийского не сохранилось текстов, и поэтому ни одна из этих гипотез не может быть с полной достоверностью верифицирована с помощью строго лингвистической аргументации. Отдельные глоссы и довольно богатая ономастика, хотя и не дают однозначного ответа на поставленный вопрос, позволяют, однако, существенно подкрепить одну из предложенных гипотез, а именно, иллирийскую, как это стало очевидным в последнее время [3—5]. Э. Хэмп показал, что в ее пользу говорят также скудные данные мессапского языка, который, по всей вероятности, относился к иллирийским [6].

Для решения указанной проблемы имеют определенную значимость экстралингвистические аргументы. Так как историческая область поселения албанцев соответствует южной части ареала расселения иллирийских племен, можно предполагать, что протоалбанский был одним из южноиллирийских диалектов. Такое предположение в свое время высказывалось Фр. Миклошчем, Г. Мейером, П. Кречмером и Н. Йоклем. В первой половине нашего столетия заметно преобладала, однако, гипотеза о фракийском происхождении албанцев и албанского языка, особенно после выхода в 1927 г. полемической статьи Г. Вейганда [7]. Решительным противником иллирийской гипотезы о происхождении албанского языка был Вл. Георгиев [8, 9].

В последние десятилетия теория иллирийского происхождения протоалбанского снова получила довольно широкое признание. Э. Чабей, В. Цимоховский, Э. Хэмп, В. Пизани подкрепили ее новыми аргументами. С исторической точки зрения специалистам-албологам не стоило большого труда опровергнуть одно за другим большую часть возражений, выдвинутых против этой теории в 1927 г. Г. Вейгандом. Остался в силе лишь один чисто лингвистический аргумент, дающий основание сомневаться в принадлежности протоалбанского к иллирийским языкам. Речь идет о подчеркнутом еще в свое время Г. Хиртом расхождении между сатемным характером протоалбанского и предполагаемой принадлежностью иллирийского к лингвистической области *centum*. Однако с распространением и утверждением в современной компаративистике идей и методов ареального языкознания преодолимым оказывается и это противоречие.

Протоалбанский, как и протобалтийский, с которым у него были общими некоторые важные индоевропейские изоглоссы, отличался «непо-

следовательной сатемностью». Ассимиляции иногда не возникало там, где ее можно было ожидать. Такая непоследовательность может рассматриваться как результат депалатализации, возникавшей при некоторых фонетических условиях (например, в соседстве с сонантами *l*, *r*). Так происходило в словах, образованных от индоевропейского корня **k̑leu-* «слышать»: ранненовоалб. (и диалектн.) *kluhet* «он зовется, слывет» (= «слышится»), ср. литов. *klausyti*, др.-прусс. *klausiton*, лтш. *klausit* «слышать», но ст.-слав. *sluti*, русск. *слыть*, русск. *слышать*. Ср. мессап. императ. *klaohi* «услышь!», лат. *clueo* «я зовусь, слышу», др.-в.-нем. *hlosēn* «слышать» и др. Ср. также алб. *mjekrë* «подбородок, борода», литов. *smākrās*, *smakrā* «борода», хет. *zama(n)kur* «борода», но др.-инд. *smacru* «борода».

Н. Йокль показал, что в албанском ассимиляция индоевропейских палатальных смычных произошла сравнительно поздно. Тождественность развития и.-е. **k̑* (палатальный) и **k* (велярный) перед *t* позволяет допустить, что в албанском индоевропейские палатальные довольно долго сохраняли эксплозивность [5, с. 90].

«Непоследовательная сатемность» может служить признаком переходной зоны, простиравшейся в центральной части индоевропейского языкового пространства. В этой переходной зоне могли локализоваться, помимо протоалбанского и протобалтийского, также иллирийский (с мессапским) и, возможно, фракийский. Тенденция к ассимиляции, будучи мощной инновацией позднеиндоевропейского периода, распространявшейся с востока на запад, постепенно ослабевала в переходной зоне. Непоследовательность в реализации этой тенденции давала картину смещения признаков *satəm* и *centum*.

Миграция иллирийцев из древнеевропейской области на Балканский п-ов может быть приурочена на основе новейших археологических исследований к периоду энеолита, примерно к III тыс. до н. э. Непрерывность пребывания албанцев в их историческом ареале с греко-римских времен хорошо подтверждается данными топонимики, как это убедительно показал Э. Чабей ([10]; см. также другие исследования Э. Чабея, собранные в [11]). Связь раннеалбанской культуры с южноиллирийской доказывается археологически [12].

Собственно ничто не противоречит тому, чтобы считать протоалбанский южноиллирийским диалектом. После длительных размышлений я нахожу возможным принять это в качестве рабочей гипотезы.

2. Отнесение протоалбанского к иллирийскому лингвистическому комплексу внутри протобалканского языкового ареала находится в полном соответствии с давно установленным фактом особых связей албанского с языками северной части индоевропейской общности, а именно с балтийскими, славянскими и германскими. Эта связь была впервые обнаружена Г. Мейером в конце прошлого столетия. Позднее И. Йокль, детально исследовавший албанскую лексику в ее историко-генетических и ареальных связях, развил и углубил наблюдения Г. Мейера. Йокль полагал, что специальные соответствия албанского, охватывающие, в частности, особую лексическую сферу (прежде всего это обозначения понятий, относящихся к примитивной обработке земли в лесных областях), свидетельствуют о том, что праалбанцы некогда проживали в соседстве с праславянами, прабалтами и прагерманцами в лесных областях северо-восточной части средней Европы [13]. К этому можно добавить, что это соседство должно было существовать в пределах древнеевропейской языковой общности.

Уместно привести здесь также мнение В. Пизани, который интерпретировал ареальные связи протоалбанского в аспекте относительной хронологии. Албано-германские, албано-балтийские и албано-славянские древние лексические соответствия восходят к наиболее раннему периоду; соответствия с фракийским, фригийским, армянским и греческим относятся к относительно более позднему времени [14, 15].

В результате специального исследования албано-германских и албано-балтийских древних языковых связей значительно расширилось количество фактов, относящихся к этой проблеме [16—18]. Особенно впечатляющими представляются протоалбанские и протобалтийские связи, привлекавшие к себе в последнее время особое внимание. Не говоря о важнейших фонетических изоглоссах, многие лексические соответствия выделяются своей характерностью. Например: алб. *ligë*, -a f. «болезнь» (<праалб. **ligā*), *i ligë* «больной; плохой» (<праалб. **ligas*), *i lightë* «бессильный, слабый» (<праалб. **ligustas*), ср. литов. *ligà*, лтш. *liga* «болезнь», литов. *ligustas* «больной»; алб. *mal*, -i m «гора» (<праалб. **malas*), ср. лтш. *mala* «берег»; алб. *mot*, -i m «год; погода» (<праалб. **mētas*), ср. литов. **mētas* «время», мн. ч.: *mėtai* «год»; алб. *i thjermë* «серый, пепельно-серый» (<праалб. **sirmas*), ср. литов. *širmas*, *šiřvas* «серый».

Яркие соответствия отмечаются также в суффиксах деривации. Таким образом, на уровне протоалбанского могут быть расширены наши представления об иллирийской ветви индоевропейского, что открывает еще один источник сведений о древнеевропейской языковой общности.

3. Возникновению древнеалбанского я посвятила недавно опубликованное специальное исследование [19]. Вопрос этот рассматривается в связи с местом, занимаемым в албанской лексике латинскими элементами.

В словарном составе албанского языка укоренилось со времени римского завоевания балканских областей большое количество слов латинского происхождения. Положение их в лексической системе равноправно с положением унаследованных ею протоалбанских элементов. И те и другие в одинаковой мере подверглись действию фонетических процессов, морфологических и семантических преобразований. И те и другие принадлежат к основной части албанского словаря.

Латинское происхождение имеют не только многочисленные албанские имена существительные, но также многие прилагательные, наречия, глаголы, отдельные числительные, предлоги, союзы, некоторые словообразовательные элементы. Отсутствуют, однако, морфологические заимствования. Все попытки обнаружить среди латинских элементов, проникших в албанский язык, грамматические форманты (такие попытки предпринимались Ф. Боппом и Г. Мейером) закончились неудачей.

Как уже было сказано выше, слой латинской лексики, закрепившийся в древнеалбанском языке в эпоху римского господства на Балканах, пережил коренные преобразования в рамках языковых процессов, которые привели к созданию на протоалбанской (собственно южноиллирийской) основе нового и.-е. языка — древнеалбанского. Латинские элементы приняли участие в этих процессах, которые, вероятно, носили в известной мере характер креолизации. Именно этим определилось характерное отличие латинских элементов в сравнении с другими иноязычными элементами албанской лексики. Помимо морфологической усеченности, обусловленной отпадением окончаний, их отличает также часто наблюдаемое полное изменение фонетического облика, делающее их почти неузнаваемыми. Например, гег. *rânë*, тоск. *rërë* «песок» <лат. *arēna*; гег. *vner*, тоск. *vrer* «желчь» <лат. *venēnum*; *kal* «лошадь» <лат. *caballus*, *gjel*

«петух» < лат. *gallus*; ар «золото» < лат. *aurum*; *kofshë* «бедра» < лат. *coxa*; *pus* «колодец» < лат. *puteus*; *kushëri* «кузен» < лат. *consobrinus*; *mik* «друг» < лат. *amicus*; *fqi* «сосед» < лат. *vicinus*; *ferr* «ад» < лат. *infernum*; *gaz* «радость» < лат. *gaudium*; *je* «вера» < лат. *fidēs*; *lier* «алтарь» < лат. *altare* и др.

Второй характерной особенностью латинского лексического слоя в албанском является его необычная семантическая широта, исключительное многообразие составляющих его элементов. Здесь можно лишь бегло перечислить отдельные сферы охватываемых им значений. Сюда входят: обозначения социально-исторических понятий, отношений родства; круг понятий, охватывающий человека, его части тела, его физические и духовные проявления; лексика, обозначающая природные явления; поселения и хозяйственную жизнь; домашнюю обстановку; орудия труда; флору (культурные и дикие растения); фауну (домашних и диких животных, птиц, насекомых); наименования абстрактных понятий; элементов духовной жизни; языческой мифологии; христианской религии и др. Глаголы и прилагательные латинского происхождения передают, по большей части, элементарные, повседневные действия и общезначимые качественные характеристики.

При непредвзятом рассмотрении качественной и количественной, семантической и формальной сторон латинского слоя албанской лексики совершенно закономерным является вывод о том, что этот слой принадлежит к основным, конституирующим элементам языка. Его проникновение в протоалбанский находилось в связи с известным историческим процессом романизации некогда иллирийских областей. В ходе этого процесса и образовался древнеалбанский язык, который приобрел свои собственные своеобразные черты и сменил разрушенный в результате креолизации иллирийский.

Процесс образования собственно албанского (древнеалбанского) языка можно представить в виде построения, имеющего в известной мере гипотетический характер. Основу древнеалбанского составили два иллирийских языковых слоя.

А. Сильно романизированный язык южноиллирийского населения тех частей современной албаноязычной территории, которые принадлежали к области интенсивной римской колонизации (преимущественно равнины и плодородные долины).

В. Лишь поверхностно затронутый римским влиянием язык полунезависимых горных иллирийских племен.

Ко времени падения Западноримского государства племена эти могли консолидироваться и вместе с полуроманизованным населением равнинных земель образовать древнеалбанскую народность. В результате слияния двух иллирийских языковых слоев — А (полуроманизованного) и В (относительно мало затронутого романизацией) — образовалась основа собственно албанского языка. Таким образом может быть объяснен субстратный характер латинских элементов албанской лексики.

Остается добавить, что процесс образования древнеалбанского языка должен был в основном завершиться в середине I тыс. н. э., т. к. славянские элементы, проникновение которых в албанскую лексику началось во второй половине I тыс., морфологически приспособлялись к уже сложившейся языковой системе, а в фонетическом отношении не претерпевали тех изменений, каким ранее подверглись латинские.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Десницкая А. В. Реконструкция элементов древнеалбанского языка и общевалканские лингвистические проблемы // Actes du I Congrès Intern. des études balkaniques et sud-est européennes. VI. Sofia, 1968, P. 190.
2. Desnitzkaja A. Zur Erforschung der älteren Stufen des Albanischen // Akten des Intern. albanologischen Kolloquiums, Innsbruck, 1972. Innsbruck, 1977. S. 213.
3. Çabej E. Hyrje në historinë e gjuhës shqipe // Çabej E. Studime gjuhësore. T. III. Prishtinë, 1976.
4. Cimochoowski W. Prejardhja e gjuhës shqipe // Buletin për Shkëncat Shoqërore. 2. Tiranë, 1958.
5. Jokl N. Albaner // Reallexikon der Vorgeschichte. Bd I. B., 1924.
6. Hamp E. P. Albanian and Messapic // Studies presented to Joshua Whatmough. 's-Gravenhage, 1957.
7. Weigand G. Sind die Albaner die Nachkommen der Illyrier oder der Thraker? // Balkan-Archiv. III. Leipzig, 1927.
8. Georgiev Vl. Albanisch, Dakisch-Mysisch und Rumänisch // Балканско езиковзнание. II. Sofia, 1960.
9. Georgiev V. Introduction to the history of the Indo-European languages, Sofia, 1981, P. 140—143.
10. Çabej E. Die Frage nach dem Entstehungsgebiet der albanischen Sprache // Z. für Balkanologie. 1974. X. Hf. 2.
11. Studime gjuhësore. IV. Prishtinë, 1977.
12. Anamali Sk. Des Illyriens aux Albanais // Studia Albanica. 1972. № 2.
13. Jokl N. Zur Vorgeschichte des Albanischen und der Albaner // Wörter und Sachen. 1929. XII. S. 69.
14. Pisani V. L'albanais et les langues indo-européennes // Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves. Bruxelles, 1950. X. P. 538.
15. Pisani V. Saggi de linguistica storica. Torino, 1959.
16. Десницкая А. В. Древние германо-албанские языковые связи в свете проблем индоевропейской ареальной лингвистики // ВЯ. 1965. № 6.
17. Десницкая А. В. Сравнительное языковедение и история языков. Л., 1984.
18. Desnitzkaja A. Das Albanische im Lichte der alten balkanisch-baltischen Sprachbeziehungen // Z. für Slawistik. 1984. XXIX. Hf. 5.
19. Десницкая А. В. К проблеме образования албанского языка и албанской народности. О латинских элементах албанской лексики // Десницкая А. В. Албанская литература и албанский язык. Л., 1987.

© 1990 г.

АЛПАТОВ В. М.

**О СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ТРАДИЦИЙ**

(К постановке проблемы)

Изучение лингвистических традиций различных народов в последние десятилетия заметно активизировалось, см., например [1—4]. Однако зачастую они изучаются сами по себе, в результате чего их описания трудно сравнивать. Впрочем, традиции, отличные от европейской, почти неизбежно описываются, исходя из европейской традиции как точки отсчета, и сопоставительный аспект присутствует хотя бы имплицитно. Исследователи же европейской традиции обычно учитывают ее неединственность лишь тогда, когда речь идет о том, что пришло в европейскую науку о языке от арабов или индийцев. Между тем именно сопоставление традиций позволяет выявить их универсальные свойства, связанные с общими свойствами языка, и существенные различия, многие из которых обусловлены типологическими различиями языков народов, у которых эти традиции формировались. Разграничение универсальных свойств языка и типологических особенностей языков Европы — очень сложная задача, до сих пор решенная далеко не полностью. И сопоставление европейской науки с другими может здесь помочь. В советском языкознании первая попытка сопоставления европейской традиции с индийской и китайской была предпринята Ю. В. Рождественским [5], однако многие проблемы продолжают оставаться неизученными.

Мы будем рассматривать традиции типологически, выделяя их сходства и различия независимо от их влияния друг на друга (хотя в ряде случаев такие влияния будут отмечаться). Мы ограничимся лишь пятью из них, лучше всего изученными в лингвистической литературе: европейской, арабской, индийской, китайской и японской. Вполне возможно, что привлечение других традиций, например, тибетской, потребует внесения определенных корректив в наши утверждения. Для европейской традиции учитываются и ее национальные варианты, прежде всего греческий и римский. Возражение может вызвать рассмотрение в одном ряду с остальными японской традиции, поскольку она сформировалась намного позже других (XVII—XIX вв.) и безусловно не автохтонна: она выделилась из китайской, испытав и некоторое влияние индийской. Однако японская наука о языке за два века, предшествовавших ее европеизации, сумела выработать много специфических черт, резко отделявших ее от китайской науки; главная из них — самостоятельное формирование грамматики. Кое в чем японская традиция типологически ближе к европейской или арабской, чем к китайской, что, конечно, обусловлено строем японского языка.

Мы предлагаем сопоставительный анализ данных пяти традиций по ряду параметров, выделение которых мы никак не считаем исчерпывающим.

Автор не является специалистом по всем описываемым языкознаниям, поэтому в ряде случаев возможны неточности и пробелы, за которые он заранее приносит извинения.

1. Причины формирования традиций, цели и задачи. Все лингвистические традиции создавались для решения конкретных практических задач. Чисто теоретические исследования появились лишь в Европе и довольно поздно: схоластика в XII в. резко разграничила спекулятивные и учебные грамматики [6, с. 188]. Очень многое в традициях было обусловлено задачами обучения того или иного рода. Для большинства народов, самостоятельно сформировавших свой подход к языку, важнейшее значение имело обучение грамоте. Исключение составляла Индия, где, как обычно считается, даже гениальная грамматика Панини была записана лишь через несколько веков после создания, а до того распространялась устно. Другой задачей, часто связанной с первой, было обучение наиболее престижной для данного народа форме существования языка. Часто это был сакральный язык: санскрит в Индии, язык Корана в мусульманском мире, латынь в средневековой Европе. Однако такой язык мог быть и светским: койне в эллинистическом мире, взънянь в Китае, бунго в Японии. Этот язык мог быть в зависимости от характера культуры чисто устным (санскрит на ранних этапах), чисто письменным (бунго, взънянь, во многом средневековая латынь) или тем и другим (койне, классический арабский), что во многом влияло на развитие лингвистических традиций. Обычно традиция формировалась (по крайней мере, в развитом виде) именно тогда, когда такому языку надо было специально обучаться. Недаром античная лингвистика существовала в зачаточном виде, пока по-гречески говорили и писали в основном греки, и стала развитой наукой в период эллинизма, когда греческое койне распространилось среди других народов, причем главным ее центром стала Александрия, находившаяся вне собственно Греции. Так же и арабская традиция сформировалась именно тогда, когда арабский язык стал распространяться среди неарабского населения. Освоение чужого языка всегда связано с языковой интерференцией, и поэтому было необходимо установление препятствующей ей нормы (см. ниже). В других традициях разрыв между материнским и культурным языком мог создаваться за счет исторического развития. Так, в Японии своя традиция сформировалась лишь тогда, когда язык культуры (бунго) настолько разошелся с разговорным, что требовал специального обучения и сознательной нормализации.

Иным аспектом изучения сакрального или светского литературного языка был филологический аспект, связанный с толкованием древних текстов. Он был значим для разных традиций, но обычно на сравнительно поздних стадиях их развития, когда наиболее престижные тексты из-за исторической дистанции становились не во всем понятными. В Индии грамматика Панини, а в Арабском халифате грамматика Сибавейхи появились до формирования филологии и, наоборот, сами потом стали предметом толкования. В александрийской грамматике комментирование Гомера влияло на развитие грамматики лишь в отдельных случаях: например, его усматривают в учении о просодии [7, с. 17]. В то же время поздно сформировавшаяся японская традиция выросла именно из филологии. Из отдельных лингвистических дисциплин филология особенно сильно влияла на фонетику, поскольку комментаторская деятельность часто была связана с реконструкцией древнего произношения. Так было не только в Японии, но и в Китае, а с XV—XVI вв. и в Европе [7, с. 109].

Еще одной областью практики, стимулировавшей изучение языка,

было стихосложение. Для его целей в той или иной мере создавались античное учение о просодии, первое описание фонотактики в средневековой Исландии в целях определения рифм и аллитерации, китайские словари рифм, изучение функций глагола и согласования в Японии (в связи с поэтическим жанром рэнга) и др. В европейской традиции на разных ее этапах большую роль играли также задачи риторики; по мнению Р. Х. Робинса, отсюда пришло в грамматику, например, понятие наклонения, связанное с различиями типов предложений для риторических целей [8, с. 34]. Для других традиций влияние этих задач не прослеживается, по крайней мере, явно.

Важным этапом для становления традиций было создание национальной письменности, каждая из рассматриваемых нами традиций связана с собственным письмом (для Японии это собственная азбука — кана, а не заимствованная из Китая иероглифика). Однако письмо обычно создавалось до появления у данного народа лингвистических сочинений или же (в Индии) вне основной линии развития науки о языке. Позднее система письма воспринималась как данность и ее принципы обычно не эксплицировались. Трактаты, обсуждающие формирование письма, появлялись лишь у народов, создававших письменности уже при сформировавшейся традиции данного культурного ареала. Таковы исландские трактаты XII в., см. о них [9; 7, с. 72—73].

2. Языковая основа и отношение к другим языкам. Каждая традиция формировалась на основе наблюдений над каким-то одним языком: древнегреческим, санскритом, классическим арабским и т. д. Как сказано выше, очень часто этот язык не был родным языком лингвиста, но это было хорошо им освоенный язык своей культуры. На ранних этапах развития каждому народу свойственно представление о своем языке как о единственном человеческом, а о других языках как о чем-то близком к выкрикам животных. Культурное превосходство данного народа над соседями первоначально могло лишь усиливать такие представления. Наиболее древние и автохтонные традиции вообще лишены понятия чужого языка. Древние греки относились к бормотанию варваров так же, как к мычанию быков. Долго сохранялась подобная тенденция и в Китае (по крайней мере до появления там буддизма) и в Индии. Это вовсе не означало, что никакие языковые различия не учитывались. Не раз замечалось, что древние греки, игнорируя языки варваров, были внимательны к собственным диалектным различиям [7, с. 11]. Это естественно, поскольку диалекты воспринимались как варианты единого человеческого языка, носитель любого диалекта принадлежал своему этносу.

Иная ситуация была там, где традиция (или вариант традиции) создавалась с учетом существования более культурного народа. Так было, например, в Риме и в Японии; так было бы, вероятно, и у тюркских народов, если бы труд первого тюркского лингвиста Махмуда Кашгарского нашел адекватное продолжение. Тут уже нельзя было считать, что в мире есть один язык. Для древних римлян их было два: латинский и греческий, для Махмуда Кашгарского по крайней мере два: тюркский¹ и арабский, а для японских филологов даже три: японский (бунго), китайский (вэнь-янь) и санскрит. Не могла игнорировать существование чужих языков

¹ В труде Махмуда Кашгарского описываются многие тюркские языки и диалекты, поэтому он иногда считается первым в мировой науке ученым, сопоставлявшим языки, и даже основателем сравнительно-исторического метода, см. [10]. Но, по-видимому, он подходил к тюркским языкам так же, как античные авторы к греческим диалектам: как к разным вариантам языка своего этноса.

и арабская традиция, поскольку арабы не имели абсолютного культурного превосходства над соседними народами. Однако ни в одном из указанных случаев почти не возникала потребность систематически сопоставлять языки. Так, в истории европейской традиции упоминают едва ли не единственную попытку сопоставления греческого и латинского языков у Макробия (V в. н. э.), считая ее неудачной [8, с. 62—63]. О чужих языках обычно вспоминали лишь с оценочной точки зрения: становление традиции или ее национального варианта тесно связано с возвышением своего языка. Так, крупнейший японский ученый XVIII в. Мотоори Норинага доказывал, что наличие небольшого числа слогов в японском языке — свидетельство его совершенства, а многочисленные слоги китайского языка и санскрита неправильны и похожи на звуки животных². Становление национальной традиции или ее варианта связано с переносом чужих понятий и методики анализа на язык своей культуры. Для римлян и японцев этот процесс очевиден, для арабов степень автохтонности традиции до сих пор вызывает споры.

Степень оригинальности лингвистических описаний у данного народа тем выше, чем дальше по строю их язык от языка более старой традиции. Римскую традицию принято считать лишь вариантом греческой, поскольку из-за большой типологической близости греческого и латинского языков выработанные александрийцами категории были использованы почти без изменений. Различия языков привели лишь к небольшим изменениям описания [исключение из системы частей речи артикля (члена) и замена его на междометие, добавление аблатива в систему падежей]. Два варианта европейской традиции сосуществовали в течение многих веков, почти потеряв в средние века контакты друг с другом.

Иная ситуация наблюдалась в Японии. Слишком большое различие строя китайского и японского языков привело к тому, что очень многое японским ученым пришлось создавать заново, прежде всего грамматику. Наука, заимствованная из Китая, и национальная наука сосуществовали в Японии в XVII—XIX вв., почти не соприкасаясь друг с другом. Лишь европеизация положила конец этой ситуации. Что касается арабской традиции, то если и признать влияние на нее античной и/или индийской на раннем этапе, то потом она развивалась совершенно самостоятельно.

Итак, каждая традиция в древности и средневековье стремилась к обособлению и полностью или в значительной степени игнорировала языки чужих этносов. Изменение такого подхода произошло лишь в европейской традиции на определенном этапе ее развития.

Еще в средневековье наметились попытки описывать те или иные языки Европы помимо латинского и греческого. Поначалу они подгонялись под готовый эталон: в православных странах — под греческий, в католических — под латинский. Так, в первой старославянской грамматике Иоанна Болгарского (X в.) сохранялись все греческие категории вплоть до четырех падежей, единственное замеченное различие — несовпадение в роде ряда слов [11, с. 33—39]. На границе культурных ареалов могло возникнуть смешение эталонов: написанная в Вильне церковнославянская грамматика Мелетия Смотрицкого (1619) совмещает латинские и греческие черты, например, латинская система частей речи соседствует с греческой системой наклонений. Однако московское издание

² Ср. с рассуждениями о преимуществах русского языка его старшего современника М. В. Ломоносова. Впрочем, к XVIII в. европейская традиция уже умела в отличие от японской сопоставлять языки, а сравнение русского языка с другими у М. В. Ломоносова более систематично.

грамматики 1648 г. изгоняет латинское влияние: исключается междоимение, но добавляется греческий член [11, с. 135].

Постепенно шло избавление от исходного эталона там, где он явно искажал описание. Например, уже Мелетий Смотрицкий выделял творительный и сказательный (предложный) падежи, отсутствовавшие в греческом. Но отход от эталона имел не тот характер, что в Риме. Именно многократное применение европейской традиции к языкам разных народов, не терявших культурной общности (ср. изоляцию Японии в момент формирования национальной лингвистики), привело к тому, что европейская традиция оказалась единственной, где сформировалась идея множественности и сопоставимости языков. К XVII в. она уже была общепринятой. См. в первой иностранной грамматике русского языка Генриха Вильгельма Лудольфа (1696): «Очень трудны склонения имен, так как образуются они не падежными формами членов, как во всех почти туземных европейских языках, а посредством изменения окончаний, как в латинском и греческом» [12, с. 127].

С этой идеей была связана другая, появившаяся даже несколько раньше: идея принципиального единства человеческих языков. Ее высказывали еще модисты в XIII в., но окончательно она победила в эпоху гуманизма [8, с. 78—79 и сл.]. Она смогла сформироваться лишь в Европе, тогда как другие традиции вплоть до европеизации сохраняли представления об уникальности своего языка³. На то были причины как культурного, так и лингвистического характера. В Европе постепенно начинали развиваться народности и нации, причем, во-первых, они никогда не теряли тесных контактов между собой, во-вторых, никто не имел явного превосходства над другими, в том числе культурного. В то же время большинство языков Европы было явно сходно материально и типологически. Такой однородности, возможно, не было ни в одном из основных культурных регионов мира. Тем самым все языки начинали рассматриваться как равноправные (лишь латинский язык — для всех общих и «ничей» — поначалу считался высшим из всех), а их типологическая общность интерпретировалась как принципиальное единство устройства всех языков при частных поверхностных различиях. Это единство, однако, на деле во многом было свойствами, иногда весьма «поверхностными», латинского языка, позднее к ним добавились свойства новых языков Европы. См. искусственные универсальные языки, создание которых было популярным в XVII в., вроде языка, придуманного в Англии Уилкинсом: этот язык сочетает латинские и английские черты [14, с. 305—307].

При всех подобных несовершенствах, исторически неизбежных, идея единства человеческих языков и необходимости их сопоставления имела исключительное значение. Европейские грамматики позднего средневековья по уровню были даже ниже, чем грамматики Панини или Сивавейхи. Но именно эта идея создала «открытость» европейской традиции, возможность ее применения для описания любого языка и тем самым для превращения в мировую. Недаром уже с XVI в. появились первые миссионерские грамматики, описывавшие языки иных культур.

3. Синхрония — диахрония. В отношении многих традиций справедливо отмечался их строго синхронный характер [7, с. 125; 15, с. 503;

³ Впрочем, в арабской традиции иногда говорили, например, что все языки имеют ту же систему частей речи, что и арабский язык [13, с. 321—322]. Заметим, что эта система отличалась от традиционной европейской.

16, с. 85, 95]. Видимо, ни одной из них не свойственно понимание языка как системы, изменяющейся во времени. Язык понимается как нечто существующее изначально, часто как открытое человеку богами. Многие описания вообще принципиально не предусматривают выход за пределы одной системы, так у Панини.

Однако нередко исследователи, принадлежавшие к разным традициям, замечали расхождения между описываемым языком и реальной языковой практикой. Такие расхождения оценивались как отклонение от правил, как порча языка. Задача ученого состояла в том, чтобы очистить язык от наслоений, созданных людьми, и вернуться к языку, сотворенному богами. Этим во многом объясняется свойственная чуть ли не всем традициям любовь к этимологизированию. Этимология вовсе не понималась как историческое исследование, на что справедливо указывает Я. Пинборг [16, с. 95]. Для традиционных этимологов этимон и его производные существовали и будут существовать всегда, только этимон по каким-то причинам был забыт и восстанавливается в результате исследования.

Во многих странах язык культуры представлял собой результат нормирования и очищения более ранней стадии развития разговорного языка (санскрит, бунго, вэньань, древнегреческий язык в Византии, латынь в романских странах). Но нигде такой язык не рассматривался как более древний, он всегда считался более правильным, неискаженным, престижным языком. Даже в 1941 г., когда в Японии бунго еще активно употреблялся, лингвист Токиэда Мотоки писал, что хотя для постороннего наблюдателя бунго и разговорный язык — разные этапы развития языка, для носителя языка они различаются по престижности [17, с. 93]. А лингвистические традиции безусловно исходили из представлений носителя языка, на что справедливо указывал тот же Токиэда [17, с. 94 и сл.]. Только отдельные ученые признавали возможность изменения языка, не сводящегося к его порче, и то лишь в области лексики. Так, арабский грамматист XI в. Ибн Джинн писал о том, что язык не создан сразу целиком и возможно создание новых слов [13, с. 403].

Однако понимание изменчивости языка во времени сложилось на позднем этапе развития европейской традиции, не ранее эпохи гуманизма. Однако и после этого оно почти не влияло на характер описания. Европейская универсалистская грамматика XVII и отчасти XVIII вв. типа грамматики Пор-Рояля была чисто синхронной. Изучались прежде всего общие и неизменные свойства языка, тогда как его исторически проходящие элементы, как и поверхностные особенности конкретных языков, не представляли большого интереса. История начинает включаться в лингвистическую теорию лишь в XVIII в. Основателем такого подхода обычно считается Дж. Вико с его теорией естественной эволюции языка [18, с. 428]. В XIX в. идея историзма подчиняет себе все европейское языкознание.

В другие традиции эта идея с трудом проникает даже после европеизации. Как отмечал Хаттори Сиро [19], и в XX в. в Японии обычно описываются те или иные синхронные срезы истории японского языка и гораздо реже встречаются исторические исследования в привычном для нас понимании. Если идеи синхронной лингвистики XX в. быстро достигли Японии (например, книга Ф. де Соссюра впервые была переведена именно там в 1928 г.), то сравнительно-историческое языкознание уже более столетия почти не приживается в этой стране.

4. Отношение к норме. Этот вопрос тесно связан с предыдущим. Традиции также обнаруживают здесь большое сходство при отдельных раз-

личиях, обусловленных культурными особенностями и степенью отличия языка культуры от разговорного.

На ранних стадиях развития некоторых традиций (античность, Древний Китай), когда между разговорным и письменным языком больших различий не было и не существовал особый сакральный язык, вопросы нормы решались чисто эмпирически без выделения какого-либо строгого корпуса нормативных текстов. Филологическая деятельность также могла прямо не связываться с нормализацией: александрийские грамматисты толковали Гомера, но следовать языку Гомера жестко не предписывалось.

Однако со временем возникает представление о строгой норме, от которой нельзя отступать. В европейской традиции оно появляется уже в поздней античности, где язык авторов послеавгустовской эпохи не считался образцовым и почти не изучался [20, с. 22]; еще жестче оно поддерживалось в средние века. В Китае так считали с первых веков новой эры. В арабской и японской традициях такой подход сформировался с самого начала. В Японии это было обусловлено большим расхождением письменного и разговорного языка к XVII в., у арабов сакральностью языка Корана, а также необходимостью распространять этот язык среди неарабского населения.

Источники норм могли быть двух типов. Во-первых, это были нормативные тексты. В ряде традиций они были сакральными: Коран, латинская и греческая Библия. В Китае и Японии это были наиболее престижные и, как правило, наиболее древние памятники, язык которых считался неиспорченным или минимально испорченным. Например, в Японии это были некиитаизированные памятники VIII—X вв., прежде всего самый ранний — «Маньёсю». Сходная ориентация существовала и на некоторых этапах в европейской традиции. Так, в ее западноевропейском варианте в поздней античности образцовым начал считаться язык писателей I в. до н. э. и начала I в. н. э.; отброшенный после победы христианства, этот подход возродился во времена гуманистов. Сакральность текстов снимала проблему их отбора, сложную при их светском характере, но создавала проблему дополнения нормы словами и формами, отсутствующими в священных текстах.

Вторым источником нормы могли быть сами грамматиканы: Панини, Сивавеихи, Присциана и т. д. При этом иногда возникали противоречия между источниками норм: например, латынь, отраженная у Присциана (VI в. н. э.), отличалась от латыни перевода Библии.

Специфику имело понимание нормы в индийской традиции. Во времена Панини еще не было никаких нормативных текстов. В частности, Веды, несмотря на их сакральность, таким текстом не являлись. Вопрос о том, какой этап развития индийских языков отражен в грамматике Панини, до сих пор не получил окончательного разрешения. Однако после Панини сама эта грамматика стала источником нормы. Но ввиду особого ее характера, о котором речь пойдет ниже, нормативность у индийцев была не такой, как у арабов или средневековых европейцев, для которых образцом было все то, что там зафиксировано. В индийской же традиции в норму входило то, что могло порождаться на основе правил Панини; те же формы, которые не получались на их основе, отбрасывались.

Разной в традициях была и эксплицитность нормализаторской деятельности. Подход, принятый в грамматике Панини, исключал обсуждение вопросов нормы. В других случаях (Япония, средневековая Европа) оно имело чисто филологический характер. Особое место занимают евро-

пейская традиция античного периода и арабская традиция. Обе развивались в условиях, когда норма не очень сильно отличалась от разговорного языка, поэтому для ее установления можно было обращаться не только к текстам тысячелетней давности, но и к речевому обиходу. Для арабов нормой было все то, что имелось в Коране. Однако они понимали, что какие-то слова и формы, необходимые для общения, там могли случайно отсутствовать. Поэтому вставала проблема дополнения нормы. По мнению арабских ученых, носителями наиболее чистого (т. е. наиболее близкого к Корану) языка считались бедуинские племена. Недостающие в тексте Корана слова и формы могли включаться в норму из речи представителей этих племен. У такого ученого, как Ибн Джинни, существовала целая методика строгого отбора хороших информантов; см. об этом [13, с. 125—126]. Подобный подход нелепы для Индии или Китая. Источником нормы бывало и конструирование форм или слов по аналогии самим ученым. Такой подход мог противоречить речевому обиходу и шли споры о его допустимости: дискуссии аналогистов и аномалистов в античности, басрийцев и куфийцев в арабской науке, как уже не раз отмечалось [21, 55—56], похожи друг на друга. Иногда, как у Ибн Джинни, устанавливается иерархия этих двух способов дополнения нормы, причем учет речевого обихода хороших информантов ставился на первое место [13, с. 132—138]. Оба этих принципа — установление нормы через наблюдение над обиходом и сознательное конструирование нормы ученым — исчезли в Европе в раннее средневековье и возродились в эпоху создания национальных литературных языков, также нередко конфликтуя друг с другом; см. описание споров по вопросам нормы во Франции в XVII—XVIII вв. в книге [22]. У других народов, где до недавнего времени был значительный разрыв между культурным и разговорным языком, данные принципы появились уже под европейским влиянием.

В целом же нормативный подход независимо от степени эксплицитности играет ведущую роль в любой традиции⁴. Даже тогда, когда в европейской традиции стали появляться исследования, обособленные от конкретных практических задач, они сохраняли нормативный подход к языку: таковы, например, универсальные грамматики XVII—XVIII вв. Объективная точка зрения на язык в смысле А. М. Пешковского [23] была окончательно выработана лишь наукой XIX в. В наше время попытки сохранить или возродить национальные лингвистические традиции могут связываться с отставанием нормативного подхода к языку, как это делал в Японии упоминавшийся выше Токиэда Мотоки.

5. Требования к описанию языка. Сюда мы включаем довольно разнородные вопросы, связанные с тем, как исследователь строит описание. Его подход бывает основан на принципах, иногда прямо формулируемых, как принцип простоты в индийской традиции, но чаще не эксплицированных и даже не осознаваемых. В этом плане специфичнее других индийская традиция, тогда как иные довольно схожи. Причина этого, вероятно, прежде всего в том, что индийцы имели дело с устным языком, тогда как для других народов основу языка составляли письменные тексты.

Хорошо известна важная особенность индийской традиции (по крайней мере, в том виде, в котором она представлена у Панини): ее порождаю-

⁴ Исключая, может быть, античную науку в ранний период ее существования (до III в. до н. э.), когда еще не стояла проблема нормирования греческого языка, а к вопросам языка обращались, по выражению Р. Х. Робинса, из естественного любопытства [8, с. 6]. Но тогда лингвистика еще была в зачаточном состоянии и не отделилась от философии.

щий характер, ориентированный на синтез текстов, тогда как другие традиции являются описывающими, ориентированными на их анализ. Если для лингвиста исходная данность — множество письменных текстов, то наиболее естественная задача — проанализировать эти тексты, разбить их на единицы, выявить значение этих единиц, их взаимоотношения и т. д. Такой подход, восходящий к античности, был свойствен европейской традиционной лингвистике, сохранился в структурализме и был поставлен под сомнение (по крайней мере, как всеобщий метод) лишь с возникновением генеративизма⁵. Аналогично поступали и другие традиции. При таком подходе задача построения текстов либо не ставится, либо ставится лишь как дополнительная (создание форм по аналогии в европейской и арабской традициях). Например, в Европе эта задача сразу выделилась в особую дисциплину — риторику — с иными, гораздо менее жесткими правилами. Во всех этих традициях был более или менее строго определенный исходный набор текстов.

В индийской традиции ставилась обратная задача: построения канонических текстов из исходных единиц (корней и аффиксов) по определенным правилам. Конечно, имплицитно и здесь были какие-то исходные тексты, однако цель была в том, чтобы строить тексты, не выходя при этом за определенные рамки, вводимые в конечном счете культурой; для ограничения этих рамок и вводились правила.

Особенности индийского подхода видны и в некоторых других принципах. Порождающий характер правил связан с представлением о языке как о закрытой системе, строго исчерпываемой правилами [24, с. 31]. Характерно здесь стремление к закрытым спискам элементов, почти не допускающим указаний типа «и т. д.». Тем самым излишним было и обсуждение проблем нормы. Если же исходен набор текстов, то язык воспринимается как открытая система, в которой всегда может найтись что-то неучтенное. Даже если множество исходных текстов фиксировано каноном (Коран, Библия), не предполагается, что в языке есть только те слова, которые в них зафиксированы. Закрытость перечня допускается лишь для низших ярусов языка: звуки в европейской и арабской традициях, моры в японской, слоги и компоненты иероглифов в китайской перечисляются списком. Однако слова, а также корни и иероглифы в тех традициях, где они выделяются, приводятся в виде открытых списков. Ни один европейский, арабский или китайский словарь не ставил перед собой задачи исчерпать все, что есть в языке. Также и при выделении парадигм задача полноты ставится лишь с точки зрения охвата всех парадигматических классов (например, всех типов склонения или спряжения), а распределение слов по классам, если класс достаточно велик, не должно быть исчерпывающим. Открытость описываемой системы и ориентация на анализ ведут к тому, что для описываемых явлений необходимо или, по крайней мере, желательно текстуальное подтверждение; подаром такое место занимают иллюстративные примеры в разных традициях от европейской до японской. В то же время у Панини вовсе нет примеров, что для европейских ученых долго выглядело как недостаток. Однако если тексты — не исходная данность, а результат применения грамматики, то подтверждающие примеры не нужны и невозможны.

Порождающий характер индийских грамматик вел и к упорядочению правил, которого не требовалось при аналитическом подходе. Их упоря-

⁵ Распространение данного принципа на устные тексты не изменило его характера, однако такое распространение могло произойти лишь после длительной практики анализа письменных текстов.

дочение возникло в синхронной лингвистике лишь в XX в., по-видимому, раньше всего в морфонологии, во многом сформировавшейся под индийским влиянием. Только в индийской традиции наблюдалось стремление к простоте и краткости правил, прямо формулируемое. Это свойство наиболее явно связано с устной формой функционирования лингвистических текстов: чем правила короче и компактнее, тем легче их заучить [7, с. 144]. Если же лингвистический труд пишется, то, наоборот, его большой объем может считаться достоинством: ср. состоящую из 18 книг грамматику Ирициана и столь же пространные труды японских филологов XVIII—XIX вв. Объем исследований значительно увеличивался, в частности, из-за необходимости приводить большое количество подтверждающих примеров.

6. Охват системы языка. В традициях может быть неодинаковым охват разных ярусов языка и разных его манифестаций (письменной и устной).

Общепринято, что у многих народов не различались звуки и буквы. Действительно, в столь далеких традициях, как европейская и китайская, одинаково именовались первичная фонетическая единица и письменный знак (при совершенно разном характере письменности). Из этого, конечно, не следует, что различия между манифестациями языка не осознавались. Обычное мнение о том, что в лингвистических традициях звучание рассматривалось сквозь призму написания, верно лишь отчасти. Почти всюду, кроме Китая, фонетика развита лучше, чем грамматология. Везде существуют хотя бы примитивные классификации звуков, тогда как какие-либо классификации письменных знаков в традициях, связанных с фонетическим письмом, не распространены. В Европе были лишь отдельные опыты, например, в XVII в. у Б. Буонматтеи [14, с. 328], об исследованиях такого рода у арабов и индийцев нам не известно, японская традиция помимо сведений, заимствованных из Китая, применяла лишь сопоставление начертаний знаков каны с иероглифами, что позволило выяснить, от каких иероглифов эти знаки произошли. По-видимому, знаки алфавитного письма функционируют в сознании как единое целое и выделение их дифференциальных признаков, теоретически возможное, не имеет практического смысла. Недаром эта проблема не привлекала большого внимания лингвистов. Иное дело — дифференциальные признаки фонем, до какой-то степени имеющие психолингвистическую реальность.

Другая ситуация лишь в китайской традиции, единственной, основанной на идеографической письменности. Как указывает С. Е. Яхонтов, до II—III в. н. э. «китайских лексикографов и комментаторов интересовали только значение и написание иероглифов, но не произношение слов» [25, с. 99]. Уже у Сю Шэня (I в. н. э.) законченный характер приобрели классификация иероглифов и выделение их составных частей. Очевидно, что сложность структуры китайских иероглифов требует умения членить их на части и составлять их из этих частей. Соответствующее учение в готовом виде вошло и в японскую традицию.

Рассмотрение устного языка сквозь призму письменного проявляется в ряде традиций (европейская, арабская, японская) на другом уровне: фиксировались чисто орфографические различия, не связанные с произношением, но обычно игнорировались те произносительные различия, которые не отражались на письме. Безусловно, письменный текст имел здесь наибольшую значимость.

Фонетика имела в каждой из рассматриваемых традиций, но имела разную степень развития. Больше всего ей уделялось внимания в индийской и арабской традициях, где она имела наибольшее практическое зна-

чение: там и там надо было сохранять и преподавать каноническое произношение. Каждой из традиций были присущи свои особенности: в индийской классификация звуков («Шива-сутры») отделена от всего остального, в арабской же традиции фонетика объединялась с морфологией. Европейская традиция, в которой чаще всего задача обучения произносительной норме не ставилась, намного уступала этим двум в детальности описания звуков, их уровень был превзойден в Европе не ранее конца XIX в. Недостаточно развитой была фонетика и в Китае и Японии, где, вероятно, сказывался характер письменности. Фонетические изыскания в этих странах, развивавшиеся в разное время и независимо друг от друга, были направлены на выяснение фонетических сходств и различий, существовавших во время создания престижных памятников. Сами же фонетические свойства (кроме, может быть, тонов в Китае) не представляли для китайских и японских филологов особого интереса.

Степень развития грамматики в традициях также неодинакова. Здесь явно прослеживается связь со строем языка. Большинство рассматриваемых традиций связано с языками, имевшими богатую морфологию. Сама морфология могла пониматься в разных традициях по-разному, но всегда требовала подробной фиксации. Поэтому в разных и независимых друг от друга традициях грамматика может занимать центральное место. В Европе термин «грамматика», первоначально понимавшийся как изучение языка вообще, именно поэтому приобрел современное значение. Остальные разделы описания начиная со времен александрийцев имели подчиненный характер. Столь же важна роль грамматики у арабов и индийцев. Японская традиция может выделяться особо именно потому, что в ней в XVIII—XIX вв. самостоятельно сформировалась грамматика. Принципиально иное положение в китайской традиции. Грамматика здесь до знакомства с западной наукой не была особой дисциплиной. Грамматические явления описывались принципиально так же, как лексические: имелись специальные словарные статьи для «пустых слов» (грамматических элементов) или даже особые словари. Такой подход знаком и другим традициям: так описывались многие грамматические элементы в Японии, предлоги, союзы, частицы, артикли в Европе (даже в составе грамматик самый традиционный способ их описания — перечисление списком с толкованием значений, т. е. словарный способ). Однако нигде больше так не описывалась вся грамматика. Тут мы видим пример такого расхождения традиций, которое не может быть объяснено ничем, кроме особенностей древнекитайского языка, бедного морфологией (а по мнению ряда лингвистов, вовсе лишенного ее).

Неравноценное место занимают в традициях и исследования лексики. Исключительно велика роль словарей в Китае. Большое число иероглифов, превосходившее возможности человеческой памяти, требовало создания иероглифических словарей, а идеографический характер письменности требовал толкования иероглифов. Поэтому большие по объему словари появились там уже в III в. до н.э., а к рубежу новой эры они обязательно включали в себя толкования. Словари были в центре внимания во все последующее века. Китайские способы описания лексики перешли и в Японию, где и в период формирования национальной традиции словари продолжали составляться в китайском духе. Оригинальные свойства японской лексикографии стали проявляться, пожалуй, уже тогда, когда там начали создаваться словари европейского типа [26]. Из народов, применявших фонетическое письмо, наиболее разработанную лексику имели арабы (а также иранцы); есть даже мнение о том,

что именно лексикология была ведущим аспектом в арабской науке [27, с. 42]. Возможно, это было связано с ролью, которую играло толкование Корана в арабской культуре. Хотя при подходе, принятом у Панини, создание словаря не требуется, другие ответвления индийской традиции уделяли немалое внимание лексикографии. Европейская же традиция здесь долго отставала, грамматики появились раньше, чем словари. Преобладало описание лексики в филологических целях, составлялись глоссы, т. е. объяснения непонятных слов в памятниках; идея же словаря как описания всей лексической системы языка появилась в Европе лишь в новое время.

Особое место во всех традициях занимала семантика. Она привлекала внимание прежде всего в двух связанных между собой аспектах. Во-первых, это этимология в указанном выше смысле, т. е. выявление правильного, неиспорченного облика слов и выяснение помогающих найти такой облик связей между словами. Этимологизирование во всех традициях поразительно сходно. Во-вторых, это нахождение причинных связей в процессе именования, выявление природных свойств предмета или явления, которые потребовали использования тех или иных звуков для их обозначения. Такие исследования, вероятно, бывшие одним из стимулов развития фонетики, предполагали представление о своем языке как о единственном, достойном изучения. Семантика такого рода хорошо известна по диалогу Платона «Кратил», диалог показывает также, что не все с ней соглашались. Ту же направленность имеет и гораздо более изощренная методика Ибн Джинни, который изучал так называемую большую деривацию, пытаясь выявить семантические связи между словами, где независимо от порядка имеются те же корневые согласные; он основывался на том, что исконную связь с понятиями имеют не столько звуки, сколько их комбинации [13, с. 252—253]. Японские же этимологи пытались найти исконное значение у каждой моры. Каждый конкретный подход имел особенности, связанные, в частности, со строем своего языка, но едва ли не все традиции считали, что имена даны вещам не случайно и что познавая звучание слов, можно познать свойства того, что ими обозначено. Такие исследования, иногда именуемые «большой семантикой», дополнялись «малой семантикой»: изучением синонимии, перифразирования, отношений в словообразовательном гнезде (ср. «малую деривацию» у Ибн Джинни, где в отличие от «большой деривации» выявлялись связи между однокоренными словами). Позднее в лингвистической науке «малая семантика» развивалась в рамках лексикологии, а «большая семантика» (исключая анализ ономатопозитической лексики) была отвергнута как ненаучная или переосмыслена как этимология в современном значении, хотя традиционная этимология существовала в Европе еще в первой половине XIX в., а в Японии дожила почти до наших дней.

Мы рассмотрели в основном сходства и различия пяти традиций в отношении наиболее общих свойств языка. Традиции могут сравниваться и в более конкретном плане, связанном с их подходом к отдельным ярусам языка. Например, в китайской традиции первичной фонетической единицей является слог, в японской — мора, в арабской — согласный и долгий гласный звук, в европейской и индийской — звук (единица, соотносимая с фонемой). Первичной грамматической единицей в европейской и арабской традициях является словоформа, в индийской — в значительной степени корень, в китайской — слогоморфема, в японской — единица, близкая к основе слова. Во всех традициях можно говорить о систе-

мах частей речи, но классификации не во всем совпадают. Такие сопоставления могут быть полезными как для целей типологии, так и для создания психологически адекватных языковых моделей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Current trends in linguistics. V. 13. The Hague; Paris, 1975.
2. История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
3. История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981.
4. История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
5. Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975.
6. Bursell-Hall J. L. The Middle Ages // Current trends in linguistics. V. 13 The Hague; Paris, 1975.
7. Robins R. H. A Short History of Linguistics. Bloomington; London, 1968.
8. Robins R. H. Ancient and medieval grammatical theory in Europe with particular reference to modern linguistic doctrine. L., 1951.
9. Кузьменко Ю. К. Средневековые исламские грамматические трактаты // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
10. Джафар А. Из истории применения сравнительно-исторического метода к изучению тюркских языков // Материалы Первого всесоюзного совещания востоковедов. Ташкент, 1959.
11. Засадкевич Н. Мелетий Смотрицкий как филолог. Одесса, 1883.
12. Ларин Б. А. Русская грамматика Мудольфа 1696 года. Л., 1937.
13. Mehiri A. Les théories grammaticales d'Ibn Jinnî. Tunis, 1973.
14. Brekle H. E. The Seventeenth Century // Current trends in linguistics. V. 13. The Hague; Paris, 1975.
15. Staal J. F. Sanskrit philosophy of language // Current trends in Linguistics. V. 5. The Hague; Paris, 1969.
16. Катенина Т. Е., Рудой В. И. Лингвистические знания в древней Индии // История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
17. Токиэда Мотоки. Основы японского языкознания // Языкознание в Японии. М., 1983.
18. Aarsleff H. The Eighteenth century, including Leibnitz // Current trends in linguistics. V. 13. The Hague; Paris, 1975.
19. Nattori Shiro. Descriptive Linguistics in Japan // Current trends in linguistics. V. 2. The Hague; Paris, 1967.
20. Гроцкий И. М. Очерки из истории латинского языка. М.; Л., 1953.
21. Ахмедович В. Г. Арабское языкознание средних веков // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981.
22. Бокадорова Н. Ю. Французская лингвистическая традиция XVIII — начала XIX века. Структура знания о языке. М., 1987.
23. Пешковский А. М. Объективная и нормативная точки зрения на язык // РЯШ. 1923. № 1.
24. Димри Д. П. Индийская и русская филологическая традиция: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1973.
25. Яхонтов С. Е. История языкознания в Китае (I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.) // История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
26. Алпатов В. М. О специфике японских словарей // Язык и культура. Новое в японской филологии. М., 1987.
27. Звегинцев В. А. История арабского языкознания. М., 1958.

© 1990 г.

КРИВОНОСОВ А. Т.

К ИНТЕГРАЦИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛОГИКИ

(На материале причинно-следственных конструкций
русского языка)

1. Логика изучает формы мысли (понятия, суждения, умозаключения), выраженные в языке любой науки. Следовательно, эти формы мысли доступны представителям любой науки не иначе, как только в формах языка. Например, в физике логик изучает язык физики (т. е. язык естественный и язык символов) с точки зрения того, как выражены те или иные формы мысли в языке физики, на котором сформулированы физические законы. Логик изучает в языкознании также не теорию языка, не формы глаголов, не парадигмы, а язык данной науки — язык языкознания (т. е. язык естественный и язык символов) с точки зрения того, как в языке языкознания выражаются формы мысли. По отношению к физике логика стоит «после» языка физики, являясь, таким образом, логическим метаязыком языка физики. По отношению к языкознанию логика стоит также «после» языка языкознания, являясь, таким образом, логическим метаязыком языка языкознания. Отсюда ясно, что логика для физики то же, что и для языкознания. В этом смысле, и только в этом смысле, по справедливому замечанию А. А. Потебни, «языкознание, и в частности грамматика, ничуть не ближе к логике, чем какая-либо из прочих наук» [1]¹.

Но А. А. Потебня ошибался, отрицая наличие корреляций и зависимостей между структурой мысли и грамматическим строем языка. Если логические категории входят в язык языкознания как его неизбежный логический ингредиент, а язык языкознания и объект языкознания — это одно и то же, то, естественно, логика также есть неизбежный логический ингредиент, или логический метаязык, естественного языка как объекта языкознания. Значит, логика как наука о формах и связях мыслей *ab ovo* заложена в соответствующих формах естественного языка как объекта языкознания, чего мы не наблюдаем в объекте физики. С этой точки зрения логика, следовательно, ближе к языкознанию, чем к любой другой науке (в том числе и физике), на один шаг. Логика представлена в физике один раз — в ее языке (в учебниках, монографиях, статьях), а в языкознании логика представлена два раза — в его языке (в учебниках, монографиях, статьях) и в его объекте (в романах, повестях, рассказах, в живой речи), причем наиболее интересной областью исследования для логики является именно объект языкознания — живой естественный язык, текст как объект двух смежных наук. «Психологисты», таким обра-

¹ Эту же мысль, но в иной форме и в иной связи выразил В. И. Ленин: «всякая наука есть прикладная логика» [2, с. 183].

зом, как верно заметил М. Н. Правдин, пытаюсь освободиться от логики в языкознании, «выплеснули вместе с водой и ребенка» [3].

Первоначально проблема логики возникла как попытка ответить на два вопроса: во-первых, каким требованиям должно удовлетворять человеческое мышление, отражающее реальную действительность, чтобы его результаты соответствовали этой реальной действительности; во-вторых, в чем состоит источник принудительной силы рассуждений. Таким образом, процесс познания объективного мира с самого начала по необходимости включал в себя процесс рассуждения, облакаемого в форму естественного языка [4]. Поэтому неудивительно, что логика обязана своим происхождением естественному, в данном случае древнегреческому, языку Аристотеля. Затем логика, проделав многовековой путь развития, усилиями многих выдающихся логиков и математиков превратилась в разветвленную самостоятельную науку, обслуживающую математику и математический анализ. И только в самые последние десятилетия логика вновь обратилась к языку, к своей первооснове. «Как логика, так и лингвистика стоят сейчас перед качественно новым этапом, когда им ... необходимо достигнуть такого целостного (разрядка паша. — К. А.) представления о языке, которое создало бы основу для решения актуальных практических (и теоретических, добавим мы. — К. А.) задач» [5].

II. Логико-грамматическому анализу в настоящей статье подвергнуты причинно-следственные конструкции в русском языке в следующей последовательности: за исходный пункт анализа берется логическая форма умозаключения, в частности соответствующий модус умозаключения; для каждой такой логической формы находятся все причинно-следственные синтаксические конструкции, отвечающие правилам построения данной логической формы.

Чтобы не эксплицировать всю сложную и громоздкую процедуру логического анализа причинно-следственных конструкций, ограничимся здесь лишь кратким анализом трех причинно-следственных конструкций из устной разговорной речи. Этих трех типов сверхфразовых единств достаточно, чтобы результаты логического анализа перенести на все причинно-следственные конструкции русского языка, выражающие простые категорические умозаключения²:

а) [Юбиляр, получая авторучку с золотым пером, говорит]: «У тебя, видно, много таких авторучек. *Поэтому ты часто публикуешь статьи в журналах.*

б) [Из разговора в вагоне метро у выхода на очередной остановке]: «Куда же вы спешите? Водь здесь все выходят!».

в) [Из разговора с мостным жителем на проселочной дороге]: «Там *нельзя* проехать. Там *нет* дороги».

² В статье приняты следующие обозначения: (А) — общеутвердительное суждение, (Е) — общеотрицательное суждение (все единичные суждения в логическом анализе приравниваются к общим суждениям). Соответствующие суждения силлогизма — большая посылка, меньшая посылка, заключение — обозначаются цифрами в скобках: (1), (2), (3). Последовательность этих цифр обозначает последовательность суждений в умозаключении, выраженном соответствующей конструкцией русского языка. Опущенное суждение в энтимеме (энтимема — сокращенное умозаключение с одним или двумя опущенными суждениями) заключается в квадратные скобки. Знак → обозначает перевод предложения с естественного языка на язык силлогистики. Все формальные логические маркеры умозаключений (союзы, предлоги и др.), а также отрицания, влияющие на качество суждения, даются курсивом. Вводятся символы (латинские буквы) для частей речи, которые понадобятся ниже при описании некоторых синтаксических структур, выражающих умозаключения: А — прилагательное, Z — числительное, D — наречие, N — существительное, V — глагол.

Все три сверхфразовых единства выражают сокращенные логические умозаключения (энтимемы) с опущенной большей посылкой³. В первом сверхфразовом единстве оба предложения принадлежат к суждениям типа (А), причем первое предложение репрезентирует (2) меньшую посылку, второе предложение — (3) заключение силлогизма. Если меньшая посылка и заключение представлены суждениями типа (А), то и большая посылка, восстановленная по правилам первой фигуры первого модуса, должна быть выражена суждением типа (А). Восстановив большую посылку, строим умозаключение: (1) [Все люди, у которых много авторучек с золотым пером, часто публикуют статьи в журналах (А)]. (2) У него много авторучек с золотым пером (А). (3) Он часто публикует статьи в журналах (А). Если все три суждения силлогизма представлены общеутвердительными суждениями (А, А, А), то умозаключение построено по правилам модуса *Barbara*. Первое сверхфразовое единство, таким образом, есть энтимема (сокращенное умозаключение) модуса *Barbara* с опущенной большей посылкой с последовательностью суждений в энтимеме (2)—(3).

Во втором сверхфразовом единстве первое предложение, репрезентирующее (3) заключение, принадлежит к суждениям типа (Е): риторический вопрос без отрицания выражает общеотрицательное суждение («Вы не должны лезть»). Второе предложение, репрезентирующее (2) меньшую посылку, принадлежит к суждениям типа (А). Если меньшая посылка представлена суждением типа (А), а заключение — суждением типа (Е), то большая посылка должна быть суждением типа (Е). Восстановив отсутствующую большую посылку по правилам первой фигуры второго модуса, строим умозаключение: (1) [На остановке, где все выходят, не следует спешить (Е)]. (2) Здесь остановка, где все выходят (А). (3) Здесь не следует спешить (Е). Если все три суждения силлогизма представлены суждениями (Е, А, Е), то умозаключение построено по правилам модуса *Celarent*. Второе сверхфразовое единство, таким образом, есть энтимема модуса *Celarent* с опущенной большей посылкой с последовательностью суждений в энтимеме (3)—(2).

В третьем сверхфразовом единстве первое предложение, репрезентирующее (3) заключение, и второе предложение, репрезентирующее (2) меньшую посылку, принадлежат к суждениям типа (Е). Если меньшая посылка и заключение представлены суждениями типа (Е), то большая посылка должна быть суждением типа (А). Восстановив отсутствующую большую посылку по правилам второй фигуры второго модуса, строим умозаключение: (1) [Проехать можно только там, где есть дорога (А)]. (2) Там нет дороги (Е). (3) Там нельзя проехать (Е). Если силлогизм представлен суждениями (А, Е, Е), то умозаключение построено по правилам модуса *Camestres*. Третье сверхфразовое единство выражает, таким образом, энтимему модуса *Camestres* с опущенной большей посылкой и с последовательностью суждений в энтимеме (3)—(2).

В основу настоящей работы легли результаты анализа предложений русского языка, подавляющее большинство которых имеет формальные

³ Как известно из логики, существует равная возможность восстановить все энтимемы, превратив их как в простые категорические умозаключения, так и в условно-категорические умозаключения с квантором *если* (*modus ponens*, *modus tollens*). В данной статье принимается первый путь восстановления энтимем, так как он учитывает структуру суждений и, следовательно, структуру предложений, тогда как при анализе на уровне условно-категорических умозаключений учитываются лишь нерасчлененные суждения.

средства выражения причинно-следственных отношений. Чаще всего умозаключения, выраженные средствами русского языка, строятся по правилам простого категорического силлогизма, в частности модуса *Barbara*.

1) В причинно-следственной семантической зависимости могут находиться два предложения, графически оформленные как самостоятельные: (3) Писатель пробормотал что-то неясное. (2) Он был застигнут врасплох (К. Паустовский) → (1) [Кто застигнут врасплох, тот может бормотать нечто неясное]. (2) Он был застигнут врасплох. (3) Он пробормотал нечто неясное.

2) а) Но чаще всего умозаключения модуса *Barbara* выражены сложноподчиненными предложениями с собственно причинными союзами *так как*, *поскольку*, *ибо*, *потому что*, *оттого что*, *в связи с тем что*, *на основании того что*, *благодаря* и др. Придаточное предложение, вводимое причинным союзом, всегда репрезентирует меньшую посылку, а главное предложение — заключение силлогизма, независимо от их взаимного расположения. (3) Он говорил зычно, (2) *так как* был туговат на ухо (М. Шолохов). → (1) [Все туговаты на ухо говорят зычно]. (2) Он был туговат на ухо. (3) Он говорил зычно. Союз *потому что* выступает в трех вариантах: *потому что*; *потому, что*; *потому..., что*. Особенность сложноподчиненных предложений с союзом *потому что* — выраженные этим предложением эпитимемы имеют только последовательность суждений (3) — (2): (3) Машины засветили фары, (2) *потому что* в лесу уже стемнело (Г. Николаева).

Как известно, причина и следствие — философские категории, отображающие одну из форм всеобщей связи и взаимодействия явлений. Однако в формах естественного языка реальная причина часто выдается за следствие, а реальное следствие выдается за причину: говорящий (пишущий) «перепоручивает» их, ставя «телегу впереди лошади». Например, мы знаем: когда пуля попадает в плечо, то рука опускается. Отсюда причинно-следственная зависимость: (3) Рука опустилась, (2) *потому что* в плечо попала пуля. А вот как эта ситуация описана М. Лермонтовым: (3) *Верно*, пуля попала в плечо, (2) *потому что* он вдруг опустил руку. М. Лермонтов следствие преобразовал в причину, а причину — в следствие: во втором предложении реальное следствие выступает в роли причины, по причине языковой, семантической, т. е. в сущности — логической. Вот это умозаключение: (1) [Опускает руку тот, кому пуля попадает в плечо]. (2) Он опустил руку. (3) Следовательно, пуля попала ему в плечо. В сложноподчиненных предложениях, в которых описываемая ими реальная причина и реальное следствие меняются ролями благодаря союзу *потому что*, в главном предложении почти всегда употребляются модальные слова (*верно*, *вероятно*, *по-видимому*, *кажется*, *стало быть* и др.) как средство выражения неуверенности говорящего в реальности причины. Ср. также: (3) *Вероятно*, я упал в обморок, (2) *потому что* не закрычал (А. Пушкин).

Первая часть причинного союза *потому что* может переходить в главное предложение, стоять в середине главного предложения и даже в его начале, усиливая причинную зависимость действия, выраженного в данном предложении, от действия, выраженного в придаточном: (3) Я это *потому* пишу, (2) *Что* уж давно я не грешу (А. Пушкин); (3) *Потому-то* и убыток вам, (2) *что* мертвые (Н. Гоголь). «Степень логической зависимости» главного от придаточного в сложноподчиненных предложениях с раздельным союзом *потому..., что* (*оттого..., что*) значительно сильнее, чем в предложениях с нераздельным союзом, так как «языковые»

и «логические» причина и следствие совпадают с реальной причиной и следствием. Поэтому в таких предложениях невозможно употребление модальных слов: предложение (3) *Вероятно*, я упал в обморок, (2) *потому что* не закричал (А. Пушкин) нельзя представить как *(3) *Потому, вероятно*, я упал в обморок, (2) *что* не закричал. Союз *оттого что* имеет также несколько вариантов употребления: *оттого что*; *оттого, что*; *оттого...*, *что*. (3) Цветы, (2) *оттого что* их только что полили, (3) издавали влажный раздражающий запах (А. Чехов). Ср. также: (3) Первая их ссора произошла *оттого*, (2) *что* Левин поехал на новый хутор и пробыл полчаса более... (Л. Толстой); (3) Акулина *оттого* в реку бросилась, (2) *что* ее полюбовник обманул (И. Тургенев).

б) Умозаключения модуса Варбага выражены сложноподчиненными предложениями, построенными по модели «так (такой, до того, до такой степени) + А (D, Z, N, V), что (как будто, точно)». Семантическое значение данной синтаксической конструкции: в главном предложении, всегда предшествующем придаточному, указывается такая степень качества (количества, меры, состояния, действия, предмета), которая достаточна для совершения действия, выраженного придаточным предложением с *что*. В связи с этим главное предложение со словосочетанием «так + А» всегда выражает меньшую посылку силлогизма, а придаточное с союзом *что* — заключение силлогизма. Модель «так + D, что»: (2) Он шел *так близко* от воды, (3) *что* казалось, сейчас волна его схватит и унесет (М. Лермонтов). Модель «до того + А, что»: (2) Вода в ручье была *до того холодна*, (3) *что* даже жеребцы пили ее маленькими редкими глотками (М. Шолохов). В предложениях модели «так (до того) + V, что» сказуемые выражены такими глаголами, семантическое значение которых допускает определенную степень этого состояния или действия: (2) У всех женщин руки *до того мерзли*, (3) *что* трескалась кожа (М. Горький). Возможна перестановка усилительной частицы *так* и глагола-сказуемого: (2) *...крикнула* Даша *так*, (3) *что* было слышно через четыре комнаты (А. Толстой). Модель «такой (-ая, -ое) + N, что» имеет множество вариантов, в зависимости от лексического наполнения этой модели и от порядка следования ее элементов: (2) Щукарь ощутил *такой голод*, (3) *что* беззубый рот его сразу наполнился слюной (М. Шолохов). Та же модель с обратной последовательностью ее членов «N + такой, что»: (2) Авдотью *страх* разобрал *такой*, (3) *что* колени у ней задрожали (И. Тургенев). Модель «чем + А₁ в сравнительной степени..., тем + А₂ в сравнительной степени»: (2) *Чем скорее* догорал огонь, (3) *тем виднее* становилась лунная ночь (А. Чехов). Иногда на одну и ту же синтаксическую форму, в зависимости от того, как мы «домысливаем» энтимему, накладываются две логические структуры одного и того же умозаключения. Происходит интерференция двух логических структур одной и той же энтимемы: (2)—(3) и (3)—(2): Ай, Моська! Знать она *сильна, что* лает на Слона (И. Крылов). Если допустить, что в главном предложении опущен интенсификатор *так (так сильна)*, то главное предложение — это меньшая посылка силлогизма; в этом случае последовательность суждений в энтимеме (2)—(3): (1) [Все сильные лают на Слона]. (2) Моська сильна. (3) Следовательно, Моська лает на Слона. Если допустить, что в придаточном предложении опущена часть причинного союза *потому (потому что)*, то в этом случае главное предложение выражает заключение силлогизма и перед нами энтимема с последовательностью суждений (3)—(2): (1) [Все лающие на Слона сильны]. (2) Моська лает на Слона. (3) Следовательно, Моська сильна.

в) Умозаключения модуса Barbara, выраженные сложноподчиненными предложениями с придаточным уступительным или условным (80 вариантов) и построенные по модели «если (коли, ежели, раз, поскольку)..., то (значит, стало быть, тогда, в том случае, в таком случае, при условии, на случай)», всегда выражают логические энтимемы с последовательностью суждений (2)—(3). Однако этими предложениями выражаются не только простые категорические силлогизмы, к которым относится и рассматриваемый здесь модус Barbara, но и условно-категорические силлогизмы (modus ponens, modus tollens) (см. примеч. 3). Различительным признаком двух типов умозаключений с «если... то» служит временная форма глагола-сказуемого. Все временные формы сказуемого, отсылающие действие, выраженное глаголом, в «прошлое» или «настоящее», т. е. когда это действие мыслится как реальное (совершившееся или совершающееся), свидетельствуют о том, что умозаключение построено как простой категорический силлогизм. Все временные формы сказуемого, отсылающие действие, выраженное глаголом, в «будущее», т. е. когда это действие мыслится как гипотетическое, свидетельствуют о том, что данные умозаключения построены как условно-категорические силлогизмы (они здесь не рассматриваются). (2) *Если* есть город, в котором ты родился, (3) *то* почему не вернуться? (П. Проскурин). Вместо «если» возможно множество других вариантов: (2) *Ежели* льдина была слишком большая, (3) он придерживал ее багром (М. Алексеев); (2) *Когда* ты в самом деле желаешь мне добра, (3) *так* отпусти меня в Оренбург» (А. Пушкин); Я подумал: (2) *раз* я плаваю, (3) я это использую (А. Фадеев); (2) *Когда* скоро завертелось одно колесо, (3) *то* приведет в движение все части сложного механизма (Г. Коновалов).

3) Умозаключения выражаются сложносочиненными предложениями с следственными союзами *потому, потому, следовательно, вследствие (чего, сего, этого), почему, стало быть, так что, таким образом, оттого, от этого, тем самым, значит* и др. Так как простое предложение, вводимое указанными сочинительными союзами, всегда выступает в логической функции заключения силлогизма, то энтимема представлена только последовательностью суждений (2)—(3). Союз *потому*: (2) Была среда, день постный, (3) *потому* бабушке подали постный борщ и лецца с кашей (А. Чехов). Союз *следовательно*: (2) Зависть — сестра соревнования, (3) *следовательно*, из хорошего рода (А. Пушкин). Союз *вследствие чего*: (2) Волчица была слабого здоровья, (3) *вследствие* чего вздрагивала от малейшего шума (А. Чехов). Союз *так что*: (2) Снег выпал в два аршина, (3) *так что* лошадь тонула в нем (Д. Мамин-Сибиряк). Союз *почему*: (2) Его не было дома, (3) *почему* я и оставил записку (А. Пушкин). Умозаключение может быть выражено сложносочиненными предложениями с союзом *и* или бессоюзными сложносочиненными предложениями. Последние объединяются различными знаками препинания, служащими отражением семантических причинно-следственных отношений между предложениями. Союз *и*: (2) Зима была снежная, (3) и все ждали сильного половодья (Д. Мамин-Сибиряк). Простые предложения объединены, например, двоеточием: (3) Я отдернул руку: (2) из самой середины цветка с яростным жужжанием вылетела пчела (Л. Толстой).

4) а) Простое предложение состоит из двух частей: из предикативного ядра, выступающего в функции заключения (подлежащее и сказуемое), и из инфинитивной группы (вводится союзом *чтобы*), выступающей в функции меньшей посылки: (3) Советская власть напрягла все усилия, (2) *чтобы* овладеть анархией (А. Толстой) → (1) [Кто хочет овладеть анар-

хией, тот напрягает усилия]. (2) Советская власть хочет овладеть анархией. (3) Она напрягает усилия.

б) Обособленный оборот в виде деепричастия несовершенного вида в функции меньшей посылки: (2) *Стыдясь* своей лжи, (3) он ерзал в седле (А. Фадеев). Деепричастный оборот совершенного вида в функции заключения: (2) Тяжелая весть облетела полки, (3) *нагнав* на всех уныние (Д. Фурманов); в функции меньшей посылки: (3) Пантелей Прокофьевич ушел, (2) *почувствовав* себя лишним (М. Шолохов).

в) Простое предложение с обособленным приложением, представленным субстантивным или адъективным оборотом. Субстантивный оборот, выражающий логическое основание: (2) *Человек партии*, (3) я признаю только суд моей партии (М. Горький). Адъективный оборот, со значением логического основания: (2) *Довольный* произведенным впечатлением, (3) Жиров пустился в подробности (А. Толстой). Умозаклучения могут также выражаться обособленными определениями, выраженными страдательными причастиями (*потрясенная* известием; *утомленная* двухдневным кутежом).

г) Простые предложения с предлогами: предложно-субстантивное сочетание всегда выступает в функции свернутой меньшей посылки. Среди всех предлогов, образующих семантически неразложимое предложно-субстантивное сочетание со значением логической причины, предлог *от* наиболее распространен. Он сочетается с существительными абстрактной семантики со значением чувства, физического, морального, волевого состояния человека, черт характера лиц, действий и явлений природы (*от боли, от волнения, от злобы, от холода, от удара, от тифа, от бега, от жары*). (2) *От жажды* (3) распухали и лопались губы (А. Толстой) → → (1) [*У всех, кто страдает жаждой, лопаются губы*]. (2) Они страдали жаждой. (3) *У них лопались губы*. Ср. также: Сильвио встал, (3) побледнел (2) *от злости...* (А. Пушкин). Следующие предлоги в своем семантическом значении в сочетании с существительными указывают на логическую причину: *из-за, судя по, ввиду, вследствие, благодаря, в силу, в связи, в результате, по причине, от причины, по случаю, по поводу* и др. Предлог *из-за*: (3)... плакала она (2) *из-за зависти...* (А. Чехов) → (1) [*Некоторые завидующие плачут*]. (2) Она завидовала. (3) Она плакала. Логические умозаклучения могут быть выражены также простыми предложениями с предлогами, не имеющими в своем семантическом значении указания на причину: *при, за, без, по, ради, под, с, со, в, на, через, из* и др. Основанием причинно-следственных отношений в таком простом предложении служит семантическая связь двух членов предложения, семантическое значение одного из которых служит причиной, а другого — следствием. (2) *За* поздним вечером (3) придется тебе у меня переночевать (Л. Леонов) → (1) [*Поздний гость остается ночевать*]. (2) Он сидел до позднего вечера. (3) Он остается ночевать. Ср. также: (3) Ошибся я (2) *по простоте* моей (М. Горький).

д) Для выражения умозаклучения не требуется с необходимостью ни сложного предложения, ни связи простых предложений, ни простого предложения с предлогом. Логическое умозаклучение можно выразить и в простом предложении при помощи второстепенных членов предложения с соответствующим семантическим значением. В роли логической причины выступают прилагательные в синтаксической функции определения: (2) *Больные* ноги бедной старухи (3) с трудом послевали за Семеном (М. Горький) → (1) [*Больные ноги с трудом ходят*]. (2) У нее *больные* ноги. (3) Она с трудом ходит.

Умозаключения по модусу Celarent и Camestres выражены в основном теми же формальными языковыми средствами, что и умозаключения по модусу Barbara, с одной лишь, но существеннейшей разницей — в них наличествуют явные или скрытые отрицания. В энтимемах модуса Celarent отрицание содержится в заключении: (3) ...она, видно, *не* очень разборчива, (2) *ибо* с тех пор отвечала на его поклон самой милой улыбкой (М. Лермонтов) → (1) [Кто на поклон отвечает всем улыбкой, тот *не* очень разборчив]. (2) Она на поклон отвечала улыбкой. (3) Она *не* очень разборчива. В энтимемах модуса Camestres отрицания содержатся и в меньшей посылке, и в заключении: (3) Она, очевидно, *не* спала, (2) потому что *не* слышно было ее дыхания (Л. Толстой) → (1) [Спит тот, чье дыхание слышно]. (2) Ее дыхания *не* слышно. (3) Она *не* спала. Однако умозаключения по модусу Celarent и Camestres могут быть выражены также специфическими структурными построениями русского языка, которые не характерны для модуса Barbara. Например, инфинитивная группа с усилительной конструкцией «слишком + А (D), чтобы», первая часть которой служит логическим основанием (меньшей посылкой), а инфинитивная группа с «чтобы» — заключением силлогизма, выражает умозаключение по модусу Celarent. Эта синтаксическая конструкция всегда имплицитно отрицает в инфинитивной группе (в заключении): (2) Но мы слишком дорого заплатили за вторую мировую войну, (3) *чтобы* позволить безнаказанно развязать третью (Н. Грибачев) → (1) [Все, кто дорого заплатил за войну, тот *не* позволит развязать новую]. (2) Мы дорого заплатили за войну. (3) Мы *не* позволим развязать новую войну. Если же в предикативном ядре, репрезентирующем меньшую посылку, стоит отрицание, то аналогичное простое предложение с инфинитивной группой выражает умозаключение по модусу Camestres. Наличие отрицания в предикативном ядре автоматически влияет на качество суждения, выраженного инфинитивной группой, поэтому инфинитивная группа получает статус общеотрицательного суждения: (2) ... Мы еще *не* так богаты, (3) *чтобы* пить дурное вино (А. Герцен) → (1) [Дурное вино пьют богатые]. (2) Мы *не* богаты. (3) Мы *не* пьем дурное вино.

Способность некоторых простых предложений с предлогами выражать умозаключения одновременно по правилам двух модусов — Barbara и Celarent — основана на том, что некоторые словосочетания, хотя и не имеют в своем составе отрицательных элементов, содержат в себе скрытое отрицание. Это такие словосочетания, как «объявлять собрание закрытым» = «*не* проводить далее собрание»; «болота пересохли» = «*нет* болот»; «пропала вся прелесть» = «*нет* прелести»; «забыл предложить» = «*не* предложил»; «отложил поездку» = «*не* поехал»; «освободили от всякой службы» = «*не* служил»; «довольно унижаться» = «*не* надо унижаться» и др. Некоторые предложения могут выражать умозаключения, построенные одновременно по правилам модусов Barbara и Camestres. Это такие сложноподчиненные предложения, в которых главное и придаточное предложения содержат члены предложения, выражающие одновременно и утверждение (поскольку нет явного отрицания), и скрытое отрицание: (3) Сейчас пикировщики бьют по пустому месту, (2) *так как* «катуши» уже давно переменили позиции (А. Первенцев). Модус Barbara: (1) [Покинутые «катушами» позиции являются пустым местом для противника]. (2) «Катуши» покинули свои позиции. (3) Противник бил по пустому месту. Модус Camestres: 1) [Противник поражает «катуши» на известных для него позициях]. (2) «Катюш» *нет* на известных позициях. (3) Противник *не* поражает их. Наконец, на материале русского языка

обнаружены умозаключения, которые построены одновременно по правилам модусов *Celarent* и *Camestres*: в придаточном предложении, репрезентирующем меньшую посылку, словосочетание «патроны были вынуты» означает «патронов *не* было». (3) Выстрела *не* произошло, (2) *потому что* кем-то для чего-то патроны из нагана были вынуты (А. Толстой). Модус *Celarent*: (1) [Наган с вынутыми патронами *не* стреляет]. (2) Патроны были вынуты. (3) Наган *не* выстрелил. Модус *Camestres*: (1) [Все наганы стреляют, в которых есть патроны]. (2) В этом нагане патронов *не* было. (3) Наган *не* выстрелил.

III. Рассмотренный материал позволяет сделать некоторые выводы. Анализ показал, что синтаксические конструкции русского языка, выражающие умозаключения, оказались настолько разнообразными (по сравнению, например, с немецким, английским и французским языками), что объем статьи заставил нас ограничиться описанием лишь отдельных, наиболее частотных синтаксических конструкций русского языка. Однако выводы здесь даются с учетом всего исследованного корпуса синтаксических построений русского языка (1000 умозаключений), отразивших модусы *Barbara*, *Celarent* *Camestres* и их сочетания.

1) Естественный язык (текст, написанный на естественном языке) насквозь пронизан логическими умозаключениями⁴, без которых невозможно никакое движение мысли. Они находят свое выражение в самых разнообразных языковых формах⁵. В современной формальной логике выведено 19 правильных простых категорических силлогизмов, из которых три силлогизма (модусы *Barbara*, *Celarent*, *Camestres*) и их сочетания оказались приложимыми к русскому языку в рассматриваемом здесь корпусе синтаксических причинно-следственных конструкций. Однако в обследованном корпусе синтаксических построений русского языка умозаключения всех модусов выражаются только в виде энтимем (с опущенной большей посылкой), выраженных 1) сочетаниями двух простых предложений, 2) сложноподчиненными, 3) сложносочиненными и 4) простыми предложениями самых различных лексико-синтаксических конструкций. Более того, русский язык располагает однозначными логическими маркерами, указывающими, независимо от семантического значения двух сочетающихся предложений (*resp.* членов предложения), во-первых, на принадлежность данных языковых построений к энтимемам, во-вторых, на принадлежность данных энтимем к определенным модусам (*Barbara*, *Celarent* или *Camestres*), в-третьих, на логическую функцию каждой части сложного предложения или каждого члена простого предложения (меньшая посылка или заключение).

а) В сложноподчиненном предложении придаточное, вводимое причинными союзами *так как*, *потому что*, *оттого что* и др., всегда репрезентирует меньшую посылку силлогизма, независимо от модуса (главное предложение, следовательно, репрезентирует заключение силлогизма). В сложноподчиненном предложении с придаточным определительным «так + А...», «что» главное предложение с «так + А» всегда выступает в функции меньшей посылки, а придаточное предложение с «что» —

⁴ Ср.: «...умозаключение сопровождает человека и в обыденных обстоятельствах и притом, буквально на каждом шагу» (разрядка наша. — К. А.) [6].

⁵ Это далеко не случайно. В. И. Ленин, конспектируя книгу Л. Фейербаха «Лекции о сущности религии», выписал следующее место из этой книги: «Именно то, что человек называет целесообразностью природы и как таковую постигает, есть в действительности не что иное, как единство мира, гармония причин и следствий, вообще та же самая связь (разрядка наша. — К. А.), в которой все в природе существует и действует» [2, с. 51].

в функции заключения силлогизма. В сложносочиненном предложении второе предложение, вводимое следственными союзами *следовательно, поэтому, значит, стало быть* и др., всегда репрезентирует заключение силлогизма (следовательно, второе из двух предложений репрезентирует меньшую посылку силлогизма).

б) Простые предложения с причастными и деепричастными оборотами, инфинитивными группами, с предложно-субстантивными сочетаниями (*от жары, из-за болезни*), будучи развернутыми в субъектно-предикатные суждения (пропозиции), могут выражать логические силлогизмы: это происходит тогда, когда указанные средства поддержаны соответствующим концептуальным (семантическим) значением двух семантически сочетающихся предложений или членов предложения.

в) Простые предложения (без причастных и деепричастных оборотов, инфинитивных групп и предлогов), выражая логические умозаключения на основе семантического значения отдельных членов предложения, выступают как факультативный структурный тип предложения для выражения логического умозаключения.

В естественном (русском) языке, таким образом, обнаружены три типа средств выражения логических умозаключений: а) формальные (однозначные) средства, которые независимо от семантического значения предложения всегда выражают логические умозаключения (причинные и следственные союзы, усилительный союз «так + А + что»), б) полужформальные средства, взаимодействующие с семантическим значением предложений (предлоги, причастные и деепричастные обороты), в) концептуальные (семантические) средства: семантическое значение двух сочетающихся предложений (*гезр. членов предложения*)⁶. Таким образом, русский язык располагает многими сотнями лексико-грамматических способов (по количеству причинных, следственных и других союзов, предлогов, типов обособленных оборотов, инфинитивных групп и других формальных, полужформальных и семантических средств) для выражения логических умозаключений. А наличие или отсутствие отрицательных формантов, кроме того, сигнализирует также о принадлежности умозаключений к определенному структурному типу силлогизмов, т. е. к определенному модусу. Следовательно, в естественном (русском) языке в виде трех указанных типов языковых средств, а также в явных и скрытых отрицаниях мы видим систему формальных логических маркеров или интегрированных в языке алгоритмы распознавания логических силлогизмов соответствующих фигур и модусов.

⁶ О роли семантического значения двух сочетающихся членов предложения в конститутировании логического умозаключения можно судить, например, по следующим двум парам предложений, одно из которых (первое) не выражает умозаключения, а аналогичное по синтаксической структуре второе предложение, но с частично измененным лексическим наполнением, выражает логическое умозаключение: «Яков Лукнич, одетый во все черное, стоял молча. — Яков Лукнич, взволнованный известием, стоял молча»; «Он побегал, подпрыгивая». — «Он побегал, испугавшись». Иногда же способность предложения выражать логическое умозаключение в большей степени зависит, напротив, от синтаксической структуры предложения. Неособобленное определение, выраженное прилагательным, слабее выражает причинные отношения, чем обособленное определение, ср.: «Взволнованный инженер долго не мог начать речь». — «Взволнованный, инженер долго не мог начать речь». Еще более контрастное различие мы наблюдаем между предложениями с неособобленным и обособленным определением, выраженным существительным: «Учитель Громов хорошо разбирается в психологии детей» (нет указания на причину) — «Учитель, Громов хорошо разбирается в психологии детей» (есть указание на причину).

2) Отмеченные три типа языковых средств конституирования логических силлогизмов характеризуются степенью их четкости в выражении логических силлогизмов от наиболее сильной степени к наиболее слабой (можно говорить о шкале превращения семантического значения в логическую форму мысли). Например: 1) В сильную жару болота пересыхают. Стояла сильная жара. *Поэтому* все болота пересохли (логически полный и, следовательно, наиболее сильный вариант) = 2) *Оттого* болота пересохли, что стояла сильная жара = 3) *Так как* стояла сильная жара, то все болота пересохли = 4) Стояла сильная жара, *поэтому* все болота пересохли = 5) *Благодаря* сильной жаре все болота пересохли = 6) *От* сильной жары все болота пересохли = 7) Сильная жара высушила все болота⁷. Так как все эти синтаксические построения объединены общим свойством выражать один и тот же логический силлогизм, то все они семантически и, следовательно, логически синонимичны, хотя как таковые в синтаксисе и тем более в логике никогда не рассматривались.

3) Формальной логике известны только противоположные полюсы суждений по качеству: утвердительные и отрицательные. В естественном же языке между двумя этими противоположными полюсами находится целая шкала переходных семантических значений, приближающихся то к утверждению, то к отрицанию. Если семантическое значение данного предложения нельзя (можно) назвать ни (и) утвердительным, ни (и) отрицательным, то такое предложение, в силу отсутствия в логике суждений «неопределенного» качества, одновременно выражает и общеутвердительное, и общеотрицательное суждение. Вследствие этого такие умозаключения строятся по правилам двух противоположных модусов. Умозаключение, выраженное предложением (2) «Было так темно, (3) что Варя с трудом различала дорогу» (А. Фадеев), относится одновременно к двум модусам — *Barbara* и *Celarent* (т. е. «Варя различала дорогу» и «Варя не различала дорогу»). Ср. также: (3) Сосна, (2) как дерево смолистое, (3) с трудом поддается гниению (С. Т. Аксаков); (2) Он, как человек с очень добрым сердцем, (3) сердился редко... (Л. Толстой).

4) Исследование причинно-следственных конструкций русского языка вскрывает теснейшую связь между грамматикой и логикой. В данном случае мы имеем дело с некоторым интегрированным сплавом логического и семантико-грамматического, т. е. с «логическими формами мышления», порожденными процессом познания и в связи с этим общечеловеческими по своей природе, и с чисто структурно-семантическими, семантико-грамматическими формами мыслей, связанными с особенностями каждого конкретного (в нашем случае — русского) языка и, следовательно, национальными по своему характеру, которые П. В. Чесноков называет «семантическими формами мысли» [7, с. 3]. Это — две стороны «единого процесса организации мысли, протекающего в сфере языкового мышления» [8, с. 62], причем универсальные общечеловеческие «логические формы мышления» невозможны без национальных «семантических форм мышления», неразрывно связанных с лексико-грамматическими формами языка. Семантические и логические

⁷ Без союзов и предлогов ситуация может допускать двойное толкование отношений причины и следствия. Бессоюзное сложносочиненное предложение: «Ребята вскрикнули: странное эхо прокатилось по лесу». Сочетание двух самостоятельных предложений: «Мне стало совестно. Я не мог закончить начатой речи» (И. Тургенев)

формы мышления необходимо строго разграничивать как две ступени абстракции: семантические формы мышления как более низкую ступень абстракции (хотя эти формы сами по себе уже очень высокой абстракции) и логические формы мышления как более высокую степень абстракции. Их неразличение приводит, с одной стороны, к отождествлению языка и логики, т. е. к известному «логицизму» (все в языке — только логическое мышление), а с другой стороны, — к отрыву языка, семантических значений предложений от логических форм мышления, т. е. к известному «психологизму» (все в языке — только семантическое мышление). Эти две формы мышления необходимо рассматривать как одну сферу вербального (языкового) мышления, в которой диалектически взаимодействуют отдельное (семантическое) и общее (логическое). В. И. Ленин пишет: «...отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. ... Уже здесь есть элементы, зачатки понятия *необходимости*, объективной связи природы etc.». И далее: «Таким образом в *любом* предложении (как здесь было показано: в сложном и простом предложениях. — К. А.) можно (и должно), как в „ячейке“ („клеточке“), вскрыть зачатки *всех* элементов диалектики, показав таким образом, что всему познанию человека вообще свойственна диалектика» [2, с. 318 — 319]. Множество лексико-грамматических форм предложений как выражение семантических форм мышления (отдельное) в конечном счете сводится к одной какой-либо логической форме, т. е. к общему (либо к модусу Barbara, либо к модусу Celarent, либо к модусу Camestres, либо к их комбинациям). Хотя каждая из лексико-грамматических форм предложений (причинно-следственных конструкций, представленных сложными и простыми предложениями) из этого множества, подводимого под одну логическую форму, безразлична для теории познания в том смысле, что не она, а ее логическая форма принимает участие в познании, тем не менее все эти лексико-грамматические формы предложений необходимы, ибо каждая из них как о т д е л ь н о е есть в то же время и о б щ е е в едином процессе языкового, вербального мышления, отражающего объективную действительность.

5) Возникает вопрос: не служит ли такое обилие языковых форм в естественном языке для выражения всего лишь одной формы мысли (например, модуса Barbara) «архитектурным излишеством», почему многочисленные формы причинно-следственных конструкций как семантические формы мысли не исчезают в языке, если формой познания и отражения действительности служат только логические формы мысли? Ответ здесь может быть только один: в естественном языке не существует логических силлогизмов в «оголенном», чистом виде, без «примеси» различных семантических наслоений, которые служат различным прагматическим целям; следовательно, различные лексико-грамматические формы нагружены различными дополнительными семантическими, стилистическими, модальными, эмоциональными, экспрессивными, волюнтаривными, текстообразующими, риторическими значениями, от которых логика отвлекается как одна из самых абстрактных наук. Следовательно, различные лексико-грамматические формы — это разные семантические формы мысли, но разные на своем уровне, именно на уровне «семантических форм мысли», на уровне естественного языка и следовательно, содержащие в себе, при наличии о б щ е й для них «логической формы мысли», р а з л и ч н ы е коннотативные наслоения, так как каждая лексико-грамматическая форма несет в

себе нечто новое, отличное от всех остальных при одном и том же логическом содержании. Естественный язык не мог бы быть полноценным средством общения между людьми, если бы он не обладал этой богатейшей возможностью выражать любой оттенок мыслей и чувств. Вся система языка в целом, в том числе все специальные грамматические категории и другие специальные языковые средства, превосходно выражают любое логическое содержание мыслей и, следовательно, с избытком покрывают все мыслительные потребности человеческого общения (см. также [9]). Каждая конкретная причинно-следственная конструкция, репрезентирующая логическое умозаключение, богаче по своему содержанию, чем «сухое» умозаключение, рассматриваемое в данном случае как сущность, закон. Логика в виде системы умозаключений отвлекается от конкретных семантических форм мысли, выстраивая ряд более высоких абстракций; она существует, однако, не иначе как в единичных предложениях⁸.

6) Причинно-следственные конструкции в русском языке как семантические формы мысли, уже будучи сами по себе абстрактными категориями, были здесь обобщены на еще более высокой ступени абстракции — на уровне логики, в виде умозаключений как логические формы мысли. Проведенный здесь анализ — это переход от конкретного (менее абстрактного) к (более) абстрактному, т. е. процесс более высокого обобщения. Мышление, как пишет В. И. Ленин, «...восходя от конкретного к абстрактному, не отходит — если оно *правильное... от истины, а подходит к ней. Абстракция материи, закона природы, абстракция стоимости и т. д., одним словом, все научные (правильные, серьезные, не вздорные) абстракции отражают природу глубже, вернее, полнее»* [2, с. 152]. Ленинское понимание отдельного и общего, конкретного и абстрактного прекрасно подтверждено развитием наук. Понятие «движение», характеризующее способ существования материи, есть обобщение различных проявлений существования материи: в неорганической природе, в живой природе, в обществе. Все эти формы развития всего сущего и нашего мышления объединены общим логическим понятием — «движение». Поэтому в том, что «семантические формы мысли», заключенные в каждом конкретном предложении, будучи обобщением чего-то более конкретного, в свою очередь могут быть обобщены как еще более высокая ступень абстракции на уровне науки логики в виде «логических форм мышления», нет ничего удивительного: это проявление свойств нашего мышления не только по отношению ко всем материальным объектам, но также и по отношению к самому себе, осуществляющихся в формах естественного языка. Следовательно, необходимо изучать язык, сложные и простые предложения (в частности причинно-следственные конструкции) как «семантические формы мысли» с точки зрения логики и теории силлогистики (как более абстрагирующей деятельности человеческого мозга) есть неизбежный процесс познания всего сущего. В этом случае мы получаем более обобщенное и, следовательно, более научное представление об объекте — естественном языке. В. И. Ленин пишет: «... уже самое простое обобщение, первое и простейшее образование *понятий (суждений, заключений, etc.)* означает познание человека все более и более глубокой *объективной* связи мира» [2, с. 161]. Таким образом, изучение естественного языка с точки

⁸ В. И. Ленин в своем конспекте «Науки логики» Гегеля отметил на полях следующее: «(Явление *богаче* закона)» [2, с. 137]. Конспектируя книгу Гегеля «Наука логики», В. И. Ленин пишет: «*Это NB: Богаче* всего *самое конкретное* и *самое субъективное»* [2, с. 212].

зрения формальной логики — это диалектико-материалистический подход к познанию объекта⁹.

7) Понимание сложных и простых предложений с причинно-следственными семантическими связями как семантических форм мышления, имеющих национальный характер, а того общего, что лежит в их основе, как логических форм мышления, имеющих интернациональный характер, позволяет перекинуть «мостик» к известной «гипотезе лингвистической относительности» Сепира—Уорфа. Без абстрактного, логического мышления, которое реализуется в логических формах, главным образом в виде умозаключений, нет процесса познания. Логические умозаключения как познающее мышление, являющееся интернациональным, — для процесса познания наиболее важная часть, интегрированная в языке. Познание мира в формах естественного языка возможно только в том случае, «...если мышление человека способно выйти за пределы содержания той или той стороны языковых единиц» (разрядка паша.— *К. А.*) [11, с. 41], т. е. за пределы семантических форм мышления. А так как логические формы мысли являются общими для всех народов, то умозаключения, добытые на материале причинно-следственных конструкций русского языка, должны быть общими для всех народов, хотя и выраженными совершенно по-разному, т. е. в различных семантических формах мысли, в зависимости от структурно-грамматических особенностей каждого национального языка. Значит, мир расчленяется не «в направлении, подсказанном нашим родным языком», т. е. не в направлении, подсказанном семантическими формами мысли, а в направлении, подсказанном логическими формами мысли, отраженными в разнообразных синонимичных синтаксических конструкциях в одном и том же языке, а также теми же логическими формами мысли, выраженными в других языках, но выраженными иначе, согласно формам каждого национального языка. Вот что пишет К. Маркс: «Так как процесс мышления сам вырастает из известных условий, сам является естественным процессом, то действительно постигающее мышление может быть лишь одним и тем же (разрядка паша.— *К. А.*). Отличаясь только по степени, в зависимости от зрелости развития, следовательно, также и от развития органа мышления» [12]. Заблуждение сторонников «гипотезы лингвистической относительности», оставшейся на протяжении многих десятилетий не более чем гипотезой, состоит в том, что взаимоотношение между языком и материальной действительностью они связывают непосредственно, как соотношение «мир» → «семантическая форма мысли» (т. е. лексико-грамматическая форма предложения), как будто эта семантическая форма мысли лишена всякой логической формы, в которой отражается реальная действительность, тогда как фактически, в полном согласии с материалистической теорией отражения, это соотношение должно иметь форму: «мир» → «семантическая форма мысли» → «логическая форма мысли». Для каждого отдельного языка не существует специфического национального «видения» мира, ибо «основным фактором, определяющим формирование языковых значений, является отражение объективной действительности в процессе познавательной деятельности человеческого мышления, имеющего логический (разрядка паша.— *К. А.*) характер» [11, с. 42—43]. Различное «видение

⁹ В этой связи невозможно умолчать о весьма странном для советского языковедения факте, что, например, книга, посвященная главной проблеме советского языковедения — «материалистическому подходу к явлениям языка» (см. [10]), до сих пор не удостоилась обстоятельного обсуждения на страницах ведущего советского теоретического журнала «Вопросы языковедения».

мира» через призму каждого национального языка предполагает одно из двух: или отсутствие единого общечеловеческого мышления (эта точка зрения восходит к «психологизму») ¹⁰, или существование различных формальных логик по количеству естественных языков. Как то, так и другое есть *absurdum in adjecto*.

8) «Логик», как известно, существует несколько: традиционная формальная логика, логика отношений, логика предикатов, модальная логика, символическая логика и др. Для целей исследования логического умозаключения и форм его выражения в естественном языке необходимо опираться лишь на одну логику — т р а д и ц и о н н у ю ф о р м а л ь н у ю л о г и к у как науку о формальном построении нашего мышления, вполне достаточную для целей лингвистического анализа «текста» с точки зрения логики. Во-первых, уже традиционная формальная логика рассматривает мысли, приемы рассуждений с формальной точки зрения, безотносительно к их конкретному содержанию, систематизирует объективные правила (знаки общности и переменные) и распространяет их на частные случаи. Эти правила позволяют в бесконечном множестве мыслей увидеть повторяющиеся формы. Во-вторых, традиционная формальная логика, в отличие от символической логики, содержательна, т. е. будучи наукой чисто формальной, она постоянно держит на прицеле некоторое общее содержание мыслей (предложений). Понятие «формальный» не означает «независимый от содержания» вообще, а лишь «независимый от единичного, частного содержания». В-третьих, традиционная формальная логика, будучи лишенной некоторых преимуществ, например, наиболее формализованной логики — символической логики как науки об исчислениях, именно в силу этого в наибольшей степени отвечает задачам анализа соотношений между умозаключениями и формами их выражения в естественном языке. Говорящий (пишущий) не строит в голове «алгебру высказываний», а пользуется в повседневной и научной практике простыми умозаключениями и их связями, что и подтвердил анализ естественного языка с точки зрения традиционной формальной логики.

В основе данной работы лежит исследование текста, написанного на естественном языке, на двух уровнях: на собственно языковом уровне и на уровне смысла, «языка смысла», т. е. на уровне аристотелевской формальной логики. Но эти уровни исследованы не изолированно, а в тесном взаимодействии как некое логико-грамматическое единство. Тем самым была сделана попытка экспериментальным путем показать некоторые стороны взаимоотношения языка и мышления.

Исследование русского языка методами традиционной формальной логики показало, что говорящий на естественном языке, постоянно выражает свои мысли в форме логических умозаключений (энтимем). В наше время, когда наблюдается все более глубокое проникновение в природу вещей и явлений, стремление исследовать «ничейную землю» на стыках наук (геохимия, геофизика, биофизика, биохимия, физическая химия; также в языкознании: математическая лингвистика, инженерная лингвистика, психолингвистика, социолингвистика), нынешнее состояние

¹⁰ Критикуя трехступенчатую теорию слова К. Балдингера и Л. Вайстербера за то, что они поставили между словом (его материальной оболочкой. — К. А.) и миром вещей «промежуточный мир идей» («реле»), т. е. мысль, мышление (это материалистическая точка зрения! — К. А.), например, М. Д. Степанова пишет, что К. Балдингер и Л. Вайстербер тем самым совершают «отрыв слов от реальной действительности» (см. [13]). Значит, теория соотношения слова и вещи (шире: языка и мира) — так надо понимать теорию М. Д. Степановой — состоит в том, что слово соотносится с миром непосредственно, минуя человеческое мышление, минуя его мозг.

разобщенности языкознания и логики нельзя назвать иначе, как научной слепотой и данью старому «психологизму», который уже более ста лет пожинает плоды своих не самых прогрессивных тенденций. Игнорировать взаимодействие формальной логики и естественного языка становится все труднее и именно в силу непосредственной связи языка и мышления¹¹. Если согласиться с А. В. Бондарко, что «языкознание становится одной из основных наук о мышлении» [15], то этой роли языкознание удостоилось в первую очередь и прежде всего благодаря тому направлению, которое А. В. Бондарко называет «универсально-понятийным», истинный смысл которого должен заключаться именно в интеграции языкознания и логики и, конкретнее — в исследовании семантических значений с точки зрения форм мысли. Но надо четко себе представлять те области языка и те области логики, где эта интеграция просто необходима, где без нее не может быть познан семантический аспект языка. А. В. Бондарко правильно пишет, что «без специальной разработки на современном уровне собственно языковых способов представления мыслительного содержания в значениях языковых единиц (разрядка наша. — К. А.) и их сочетаний в речи лингвистическая теория значения не может быть адекватной» [15]¹². И это, действительно, так, тем более, что вопрос об интеграции языкознания (т. е. значения языковых единиц) и логики (т. е. формы мысли в значениях тех же языковых единиц) уже давно решен самой природой в естественном языке как объекте языкознания и логики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958. С. 70.
2. *Ленин В. И.* Философские тетради // Полн. собр. соч. Т. 29.
3. *Правдин М. Н.* Логика и грамматика. М., 1973. С. 11—12.
4. *Ахманов А. С.* Формы мысли и законы формальной логики (К вопросу о формальной логике) // Вопросы логики. М., 1955. С. 34—35.
5. *Петров В. В.* Язык и логическая теория // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. М., 1986. С. 8.
6. *Свинцов В. И.* Логика. М., 1987. С. 190.
7. *Чесноков П. В.* Логические и семантические формы мышления как значения грамматических форм // ВЯ. 1984. № 5.
8. *Чесноков П. В.* Неогумбольдтианство // Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М., 1977.
9. *Горский Д. П., Комлев П. Г.* К вопросу о соотношении логики и грамматики // ВФ. 1953. № 6.
10. *Серебрянников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.
11. *Панфилов В. З.* Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982.
12. *Маркс К.* Письмо к Кугельману // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 32. С. 461.
13. *Степанова М. Д.* Методы синхронного анализа лексики. М., 1968. С. 64—65.
14. *Колшанский Г. В.* От предложения к тексту // Сущность, развитие и функции языка. М., 1987. С. 40.
15. *Бондарко А. В.* Семантика предела // ВЯ. 1986. № 1. С. 24.
16. *Петров В. В.* От философии языка к философии сознания // Философия, логика, язык. М., 1987. С. 6.

¹¹ Действительно, в организации текста, написанного на естественном языке, главную роль играют законы логики. «Внутренняя... организация текста, его структура, сцепление его отдельных частей, надо полагать, формируется на основе развертывания определенной мысли и складывается на базе логических связей...» (разрядка наша. — К. А.) [14].

¹² «Построение... полной модели употребления языка (разрядка наша. — К. А.) является перспективной и неотложной задачей как для психологии, логики, лингвистики, философии языка, так и для теории искусственного интеллекта, информационной технологии» [16].

© 1990 г.

ДЭЖЕ Л.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА И ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА*

Коллективную монографию «Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис» [1] мы начали читать с определенной целью: уточнить свою позицию относительно синхронной типологической характеристики. На наш взгляд, данную проблематику можно рассматривать либо конкретно, либо абстрактно. Ясно, что в данном случае речь идет о первом пути.

Книга является первым из шести томов, посвящаемых функциональному описанию русской грамматики, при котором существенным требованием считается межъязыковое сопоставление. В этом томе оно проведено довольно последовательно, хотя и своеобразно.

* От редколлегии. В современной теории и методологии языкознания функциональный подход к исследованию языковых фактов приобретает особую актуальность в связи с обращением лингвистики к изучению языка в его реальном функционировании (ср. такие направления, как теория языкового общения, когнитивная лингвистика, лингвистическая типология, прагматика, лингвистика текста, социолингвистика, психолингвистика). В этот круг идей включается и функциональная грамматика.

Функциональное направление в грамматике существует в многообразии течений и школ. Могут быть упомянуты, в частности, концепции, развивающие идеи Пражского лингвистического кружка, французский функционализм, английское направление функциональной лингвистики, функционально ориентированные теории генеративной семантики, голландская школа (С. Дик и его сотрудники). Различные направления функциональной грамматики разрабатываются лингвистами СССР (ср., в частности, труды В. Г. Гака, Г. А. Золотовой, Н. А. Слюсаревой, Ю. С. Степанова, Н. Ю. Шведовой, Д. Н. Шмелева).

В последнее время активно развивается направление, базирующееся на понятии функционально-семантического поля (ФСП). Концепция, направленная на изучение и описание системы ФСП, положена в основу шеститомного коллективного труда «Теория функциональной грамматики» (отв. ред. А. В. Бондарко, члены редколлегии: Т. В. Булыгина, Н. А. Козинцева, С. Маслов, В. М. Павлов, О. Н. Селиверстова, М. А. Шелякин; работа ведется Отделом теории грамматики и типологических исследований Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР при участии специалистов из различных учреждений).

Первая из монографий данной серии (Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987) уже вышла в свет, в 1990 г. должны быть опубликованы тома «Темпоральность. Модальность» и «Персональность. Залоговость», в 1991 г. — «Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность», в 1992 г. — «Качественность. Количественность» и «Локативность. Бытийность. Поссесивность. Обусловленность».

Редколлегия журнала «Вопросы языкознания» обратилась к ряду видных лингвистов с просьбой принять участие в обсуждении проблем функциональной грамматики в связи с выходом в свет монографии, начинающей данную серию. Журнал публикует первые отклики: Л. Дэже (ВР), В. Дресслера (Австрия) и Е. Беличовой (ЧССР).

Редколлегия приглашает специалистов в данной области продолжить дискуссию, открываемую в этом номере журнала.

Весь проект и сама книга строятся на концепции А. В. Бондарко, на теории функциональных семантических полей (ФСР), которая создавалась в течение ряда лет, пока не приобрела форму, представленную в данной работе. Ее преимуществом является продуманность и прозрачность относительно главной цели: отражения семантики, содержания, выраженно-го грамматикой и строевой лексикой, и последовательность в реализации определенного вида функциональности, которую я называю когнитивной (в широком смысле слова). Изложение теории и основное содержание книги поражают своей новизной, хотя отдельные элементы были известны тем, кто знаком с аспектуальной школой Ю. С. Маслова. Целостное представление данного круга полей заставило нас остановиться на содержании книги детальнее, чем мы думали, так как этого требовали и типологические аспекты, неотделимые от конкретного представления. Поскольку концепция А. В. Бондарко не имела типологического компонента, то использовался подход школы А. А. Холодовича. Он повлиял и на изложение отдельных проблем, и, как нам кажется на реализацию самой концепции А. В. Бондарко.

Наша статья начинается с замечаний об истории функционального подхода к языку, без чего нельзя глубоко понять проблемы современной лингвистики, далее следуют замечания по построению книги, заканчивается статья типологическими замечаниями.

1. Об истории функционального подхода к языку. При распространении многоаспектного исследования языка, выходящего за пределы традиционной и структурной грамматики, растет и интерес к прошлому лингвистики, к учениям, недостаточно учтенным до сих пор. А. В. Бондарко также проявил значительный интерес к истории лингвистической науки (см. [2, 3]) и назвал, а отчасти и проанализировал работы своих предшественников. У нас есть особая причина остановиться на этом вопросе. Дело не в том, что А. В. Бондарко лишь перечисляет или упоминает одних, а творчеством других занимается более подробно. Каждый из нас вправе решить, кто влиял на него больше и кто меньше. Но есть определенные тенденции в истории нашей науки, которые привели некоторых ученых к сходным идеям, однако они не были в состоянии дать себе отчет в том, что идут по стопам других. Эти тенденции выявляются историографией лингвистики. Кроме того, нам кажется, имелись хорошо уловимые и понятные условия для рождения идей, концепций, при которых создавалась и продолжалась в новых формах та тенденция, которая привела к функциональному подходу в сравнении языков. (В основе нижеследующего краткого обзора лежат наши статьи, которые собраны и дополнены в готовящейся к печати работе *General typology, typological characterization and comparison: past and present.*)

У колыбели общей (типологической и генеалогической, даже ареальной) компаративной лингвистики находим двух крупных лингвистов: В. Гумбольдта и Ф. Боппа, двух друзей, которые не только представляли разные направления сравнения языков, но и рассматривали язык с различных общенаучных позиций. Нас интересует концепция Гумбольдта, точнее лишь в некоторых ее аспектах: Гумбольдт с точки зрения немецкого просвещения (*Aufklärung*) и классической философии, которые на Боппа уже не влияли.

В. Гумбольдт был не только лингвистом-теоретиком, но и философом языка. Вопрос о роли языка в познании, игравший в обществе второстепенную роль, в философии занимал центральное место. Это относится не только к концепции Гумбольдта, но и к философии Гегеля [4]. Соотноше-

ние мышления и языка, их влияние на историю, на цивилизацию, на культуру занимало В. Гумбольдта как философа и как лингвиста. В его концепции существовавшая ранее логическая общая грамматика превращается в настоящую лингвистическую дисциплину [5]. Гумбольдт был и прекрасным «конкретным» лингвистом, типологом, как об этом свидетельствует его работа о двойственности и о двойственном числе, представляющая собой вводную главу большой незавершенной монографии [6]. Работа о дуализме изучает представление «содержательной» категории двойственности, выраженной центральной формой двойственного числа в разных языках мира, относящихся к разным культурам. Была еще и другая весьма характерная черта концепции Гумбольдта, на которую мы всегда налагаемся, когда он говорит о сущности языка: опора на живую речь, противопоставленную отвлеченной, вне живой речи мертвой грамматике.

Х. Штейнталь считал себя наследником, продолжателем идей Гумбольдта, на самом деле он «очистил» концепцию этого великана от «противоречий», в которых скрывалось стремление сформулировать и решить фундаментальные проблемы нашей науки, актуальные и в наши дни. С помощью психологизма эти «противоречия» были «преодолены». Сущность теории Гумбольдта сохраняли те ученые, которые старались найти свои решения в концепциях, значительно отличных от идеи Гумбольдта. К их числу относятся А. А. Потебня и Г. Габеленц. С функционально-типологической точки зрения творчество А. А. Потебни рассматривается С. Д. Кацнельсоном [5, 7]. В трудах А. А. Потебни и Г. Габеленца сохраняется идея общей компаративной лингвистики, хотя уже в форме двух дисциплин. Их соотношение реализуется по-разному у Потебни, который был историком языка, и у Габеленца, фундаментальным трудом которого является его грамматика китайского языка. Как известно, Габеленц уже сформулировал те фундаментальные вопросы, которые нашли системное изложение в творчестве Ф. де Соссюра. В лингвистической, типологической теории Габеленца центральное место занимает описание языка от формы к содержанию и от содержания к форме. Это описание осуществляется в его грамматике китайского языка [8]. В творчестве Габеленца идеи Гумбольдта конкретизируются. Такое же требование выдвигается — вслед за В. Гумбольдтом — к общей грамматике. Славный «конец века» означал предел психологизма, который превзошел и другой крупный ученый — И. А. Бодуэн де Куртенэ, другой основоположник лингвистики XX века. На его работу о количественности [9] обратил внимание и А. В. Бондарко, но она являлась лишь фрагментом, в котором отражались его общетеоретические взгляды, подобно тому, как концепция Гумбольдта проявляется в работе о двойственности. Следует отдать должное и психологизму, который включал проблему языка и мышления в «повестку дня», в программу исследования, но у Потебни, у Бодуэна де Куртенэ и Габеленца, у каждого в контексте его концепции, в центре внимания находится не соотношение психологического и языкового, а соотношение выражаемого языком и языковых средств выражения. Каждый из них изучал язык как объект типологии, не будучи типологом в узком смысле, вместе с тем они внесли большой вклад в типологию, чем лингвисты-типологи, классифицирующие языки.

Не нуждается в объяснении связь между идеями И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы, который уже мог учесть и работы О. Есперсена и Ф. Брюно. А. А. Холодович опирался на взгляды Щербы при создании своей типологической концепции, которая ставила целью точный анализ решения определенных смысловых заданий средствами разных языков.

При этом в центре стояла и определенная языковая категория: каузативность и морфологический каузатив, диатеза и пассив и т. п.

Не был типологом и О. Есперсен, но, работая над своей грандиозной грамматикой, он постоянно мыслил о фундаментальных проблемах описания не только английского языка, но и других языков и создал свою «Философию грамматики» [10] с двусторонним подходом. Для иллюстрации своих положений он пользовался в первую очередь английским языком, что сделало его метод доступным многим, в отличие от китайской грамматики Габеленца. Работа О. Есперсена, как известно, имела большое влияние на формирование взглядов И. И. Менцанинова и С. Д. Кацнельсона. Почти одновременно с публикацией О. Есперсена вышло в свет первое издание работы Ф. Брюно [11], известного знатока истории французского литературного языка. Она тоже была трудом, суммирующим искания многих лет. Учитывая деятельность этих двух ученых, мы воспользовались бы таким сравнением: в нашей науке история языка и история литературного языка являются разными дисциплинами, что соответствует их объектам. Если бы кто-нибудь попытался подробно изложить их совместно, его работа была бы диффузной. В труде Ф. Брюно изложены результаты исследования разных дисциплин о языке, к тому же их соотношение еще не выяснено (в отличие от соотношения исторической грамматики и истории литературного языка). Труд Ф. Брюно может быть по-настоящему оценен лишь после того, как он будет тщательно проанализирован и будет выделена та часть, которая относится к языкознанию в современном довольно широком его понимании. В данном отношении О. Есперсен и Ф. Брюно поступали по-разному: первый сводил свою проблематику к тематике, релевантной для лингвистики, тогда как Ф. Брюно, наоборот, расширил ее до таких пределов, куда мы не намерены последовать за ним. Заслуживая внимания «Аналитический синтаксис» О. Есперсена [12], который является — по словам автора — дополнением к его «Философии грамматики». В этой работе широкая проблематика свертывается в квазиформальное описание синтаксических отношений. Кроме того, эта работа является интереснейшим документом грамматического мышления автора в 30-е годы; здесь уже отчетливо проявляется в форме общей грамматики типология, занимая место прежнего интуитивного межъязыкового сравнения.

Таким образом, форсированным маршем мы дошли до середины нашего века. Мы сосредоточили наше внимание на тех лингвистах, в творчестве которых функциональность имеет явную направленность на познавательную функцию и через нее сочетается с функцией коммуникативной, — у всех, но не в одинаковой мере. В ходе развития уточнялась и теория, и методология описания языков. Творчество лингвистов, о которых говорилось выше, объединяет еще одна особенность: они рассматривали главный объект своего исследования не только изнутри, но и извне, часто уже потому, что изучаемый язык не был родным, и (от Габеленца до Щербы) занимались и принципами преподавания иностранных языков.

Со времени О. Есперсена и Ф. Брюно до нашей эпохи цели разработки идей грамматики нового типа, ориентированной на семантику, на содержание, изменились коренным образом. В двадцатые годы она относилась к сфере теории и методологии, тогда как в наши дни речь уже идет о создании конкретных грамматик. Нам кажется, что связующим звеном является творчество В. Матезиуса, синтез которого — его описание английского языка в сравнении с чешским с точки зрения общего языкознания [13]. Его сопоставительная характерология — это опять-таки не

труд по типологии в узком смысле слова, но связь с нею неоспорима в отношении фундаментальных принципов. В. Матезиус сохранял наследие Гумбольдта, но типология (общая грамматика), несмотря на ее значительное развитие, не могла обеспечить основу для такой характеристики языка, к которой стремились он и Есперсен. Условия для этого созревают только в наши дни вслед за бурным развитием общей типологии и формированием принципов и методов в работах В. Скалички и Э. Косериу.

В то время как в описательной лингвистике функциональные грамматики дополняют имеющиеся грамматики, ориентированные в основном на форму, в типологии определяющую роль получает подход, ориентированный на содержание, а формальная типология его дополняет. Такая тенденция едва ли меняется, ибо она соответствует объекту типологии. Переворот произошел вначале в советской типологии: в школе И. И. Мещанинова (я предпочел бы называть так содержательную, или контенсивную, типологию, ибо последнее название входит в характеристику целого подхода), а затем (в особом направлении) — и в школе А. А. Холодовича.

2. О концепции функциональной грамматики, построенной на основе семантических полей. В отличие от хода презентации теоретической части книги [1], мы начинаем со специфики подхода, а на общетеоретических вопросах остановимся лишь после того, как рассмотрим план структуры грамматики, для того, чтобы иметь о ней возможно более конкретное представление.

Специфическим понятием, отличающим подход А. В. Бондарко от всех других, в значительной мере изоморфных, является функционально-семантическое поле: «ФСП — это базирующаяся на определенной семантической категории группировка грамматических и „строевых“ лексических единиц, а также различных комбинированных (лексико-синтаксических и т. п.) средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций» [1, с. 11].

Следует подчеркнуть, что ФСП, как здесь определено, относится к описанию конкретного языка. Группировка формальных единиц: морфологических средств, синтаксических конструкций и строевой лексики мыслима лишь в одном конкретном языке. Сами эти средства, однако, поддаются типологическому, метаязыковому анализу и, вслед за тем, типологической характеристике. В универсальный семантический компонент грамматики имеет выход семантическая категория, под которой имеются в виду «...основные инвариантные категориальные признаки (семантические константы), выступающие в тех или иных вариантах в языковых значениях, выраженных различными... средствами...» [1, с. 12]. Их реализация в ФСП данного языка имеет свою специфику. ФСП и лежащая в его основе семантическая категория, на наш взгляд, относятся к концепции Бондарко к такому подходу, который мы назвали когнитивным (заимствуя этот термин у Х. Зайлера, см. ниже). Для того, чтобы выйти в речь, в коммуникацию, Бондарко вводит понятие категориальной ситуации (КС) — «это выражаемая различными средствами высказывания типовая (выступающая в том или ином варианте) содержательная структура, а) базирующаяся на определенной семантической категории и образуемая ею в данном языке ФСП; б) представляющая собой один из аспектов общей ситуации, передаваемой высказыванием, одну из его категориальных характеристик (аспектуальную, темпоральную, модальную, локативную и т. п.)» [1, с. 12]. На наш взгляд, данное понятие теоретически постулировано в весьма общем виде, и связь между общим определением и множеством прекрасно отобранных примеров остается неясной на протяжении

всей книги. Мы даже не уверены в необходимости такого общего определения. В отличие от концепций, которые имеют предложение в качестве исходной единицы, для когнитивно ориентированных грамматик выход в коммуникацию оказывается более сложным. Такой взгляд строится на том неоспоримом факте, что предложение-высказывание является основной единицей коммуникации. При этом, однако, коммуникация мыслится в весьма упрощенном виде. Из практики преподавания иностранных языков, где коммуникация проявляется конкретно, стало ясно, что для осуществления коммуникации, кроме грамматик, ориентированных на форму, необходимы грамматик, ориентированные на содержание, и они выполняют насущное требование коммуникации. В этом отношении преподавание иностранных языков по необходимости опередило описательную лингвистику. Нам не хотелось бы отождествлять эти две области, но нельзя не видеть и их связи.

Грамматика, ориентированная на выражение семантического основания, предполагает грамматику формальную, учитывающую коммуникацию в таком плане. Кроме того, первая содержит ряд полей с выходом в предложение, как видно из следующего перечня полей.

«1) ФСП с предикативным ядром; в данную группировку входят: а) комплекс полей аспектуальных и аспектуально-темпоральных отношений: аспектуальные поля, временная локализованность, таксис, темпоральность в ее связях с аспектуальностью и другими полями, относящимися к данному комплексу...; б) темпоральность, модальность, бытийность; в) комплекс полей, связывающих предикативность с субъектностью и объектностью: персональность, залоговость (активность/пассивность, возвратность, взаимность, переходность/непереходность);

2) ФСП с субъектно-объектным (предикатно-субъектным и предикатно-объектным) ядром: субъектность, объектность; коммуникативная перспектива высказывания (рассматриваемая в связи с субъектно-предикатными отношениями); к данной группировке по некоторым признакам примыкает определенность/неопределенность, характеризующаяся широким кругом связей с полями, относящимися к другим группировкам (существенны, в частности, связи с временной локализованностью/нелокализованностью и качественностью);

3) ФСП с качественно-количественным ядром: качественность, количественность, компаративность; к данной группировке примыкает посесивность, тяготеющая, с одной стороны, к атрибутивным отношениям (и с этой точки зрения отчасти связанная с качественной характеристикой субстанций), а с другой — к отношениям предикативным;

4) ФСП с обстоятельственным ядром: локативность; комплекс полей обусловленности (поля причины, цели, условия, уступки, следствия); с локативностью семантика обусловленности связана по признаку обстоятельственной характеристики предиката, но по другим признакам обусловленность, глубоко затрагивающая сферу межпредикатных отношений (и тем самым сопряженная с таксисом), и пространственная характеристика высказывания (прежде всего предиката) — это разные семантические сферы» [1, с. 31—32].

Построение запланированной грамматики близко к структуре современных грамматик. Это объясняется тем, что несмотря на разные подходы, грамматисты нашего времени следуют за традицией, которая выработала фундаментальные области исследования, соответствующие природе языка. Даже в более радикально когнитивной концепции Х. Зайлера по вышеуказанной причине рассматриваются «традиционные» проблемы

грамматики (например, [14]). Новизну следует искать не в этом. В современной грамматике особое внимание уделяется взаимоотношениям между разными компонентами грамматики, которые формулируются здесь как «полицентрические поля с целостным грамматическим ядром» (темпоральность, активность/пассивность) и особенно как «полицентрические поля с комплексным (гетерогенным) ядром», из которых в книге рассматриваются длительность и временная локализованность [1, с. 34]. Полицентрические поля преобладают в русском языке [1, с. 35], как и в любом другом, например, качественность, посессивность, выраженные в предложениях в номинативных синтагмах, сложных словах и т. п.

В центре исследования проекта Х. Зайлера стоят именно такие «дизензии», которые основываются на определенном семантическом инварианте, выраженном целым рядом типологически возможных средств, распределяющихся между двумя полюсами. Например, в дизензии посессивности такими полюсами являются предложения с полнозначным глаголом, выражающим обладание, с одной стороны, и сочетания двух существительных без грамматического оформления, с другой, и между ними находим разные конструкции, место которых определено двумя противоположными принципами [15]. Концепция Х. Зайлера представляет собой универсальную грамматику с типологическим компонентом, но она применима и к описанию конкретных языков. Мы никак не хотели бы навязывать чужой, к тому же еще очень сложный и своеобразный, подход авторам новой русской грамматики. Хотелось бы, однако, обратить внимание на дальнейший, более тщательный анализ разных форм организации полевых структур и связей между ФСП. Выявление центра и периферии и особенно разных типов ФСП в зависимости от структурирования центра означает важный шаг, но анализ методологии должен продолжаться в ходе конкретного изучения полей. Подход следует считать открытым. Ведь в ходе своего развития современные лингвистические концепции сохраняют лишь свои теоретические основания, их методика, их структура обновляются. Это верно и для проектов, которые ставят себе целью описание конкретного языка в определенный срок.

Так как речго идет о грамматике, которая составлена из компонентов (ФСП), ранее не изученных, особое значение будет иметь методика общего структурирования грамматики. Даже простой перечень полей с указаниями на их связи, данный А. В. Бондарко, показывает, что он отдает себе отчет в том, что проблема усовершенствования методики анализа полей является предварительным условием для установления принципов организации грамматики в целом. Не случайно имеет столь долгую историю, полную острой полемики, вопрос о соотношении основных компонентов грамматики традиционной и генеративной.

После того, как мы получили довольно точное представление о заплазированной грамматике, можем вернуться к общим вопросам функциональной грамматики, с изложения которых начинается теоретический раздел книги. Такая грамматика может реализоваться лишь в направлении от семантики к форме, которое имплицитно направлено от формы к семантике.

Функциональная грамматика в трактовке А. В. Бондарко нацелена на описание функций единиц строя языка (грамматических форм, синтаксических конструкций и строевой лексики) во взаимодействии с окружающей средой, которая может быть парадигматической (системной в широком смысле) или речевой (см. [1, с. 6—9]). Для нас неясно, почему на первый план в определении (которое было представлено в сжатом виде во

избежание длинных цитат) выдвигаются единицы строя языка. В конкретном описании грамматика и единицы строевой лексики служат для выражения семантики, для реализации семантических функций, как мы видели выше и увидим в дальнейшем, — соответственно сформулировано и определено ФСП. Сами единицы строя языка описаны лишь в той мере, в какой это необходимо для понимания их функционирования. Точное и системное изложение представлено лишь в такой современной стандартной грамматике, в которой структурная функция является доминирующей, а семантическая — подчиненной, но точно разработанной (как [16]). Следует отметить, что А. В. Бондарко тщательно характеризует свой подход, элементы определений выясняются в ходе изложения. Может быть, данное им определение рассчитано на контекст функциональных направлений в советском языкознании [17], но и в таком случае оно нуждается в проверке.

А. В. Бондарко с полным правом считает свой подход к грамматике как группировке ФСП применимым и к сопоставлению языков. Его замечания по методике правильны относительно первого этапа исследования, который заключается в описании группировок ФСП в одном языке при наличии «контрастивного „фона“» [3, с. 34], но на втором этапе такой фон уже не является достаточным. Речь идет о сопоставительной грамматике (в нашем понимании), которая основывается на типологической характеристике сравниваемых языков и, следовательно, требует независимого анализа языков с учетом общей типологии.

3. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Для лингвистов, не являющихся аспектологами (к их числу отношу и себя), в современной аспектологии видятся две главные тенденции.

Первая продолжает традиции славянской аспектологии, в основе которой лежало изучение вида глагола, но она изменилась коренным образом в 1970-е годы благодаря трудам Ю. С. Маслова. Как нам кажется, изменение было вызвано проблематикой межъязыкового изучения аспектуальности, распространением исследования на неславянские языки, предпосылки которого имелись и в славистике, особенно в болгаристике. Традиционная трактовка аспекта как монолитной системы не оказалась подходящей для изучения языков, в которых значительную роль играют кратность, фазовость (используем термины книги), с одной стороны, и система дейктических и релятивных временных форм, с другой (как венгерский или итальянский), несмотря на наличие в них таких черт аспектуальности, связь которых со славянской системой интуитивно чувствовалась. Сохраняя результаты давней традиции, следовало рассмотреть славянскую аспектуальность по-новому: выделить ее компоненты, с одной стороны, и установить ее место в аспектуально-темпоральных отношениях с учетом свойств предиката и через него целого предложения [18, 19]. На наш взгляд, эта фаза отражается в работе, разумеется, частично, в характеристике аспектуально-временных отношений лишь одного языка, русского.

Другая тенденция возникла из потребности анализа аспектуальных отношений в языках, в которых нет вида. Она ведет свое начало от учения Аристотеля, в котором греческие аспектуальные отношения обобщаются в форме философской системы. Ряд ученых, из которых я назвал бы в первую очередь Э. Вендлера, превратил аристотелевскую систему в лингвистическую. Последняя усовершенствовалась и начинает приобретать вид анализа, применимого к общей грамматике. При этом методе значительную роль играет характеристика предикатов и тех элементов пред-

ложения, которые сигнализируют об аспектуальности. В настоящее время для нас очевидно в первой тенденции стремление к учету тех характеристик, на которых построена вторая, а обратной связи не наблюдается (за исключением единичных, правда важных, работ). Специфика разных типов аспектуальности и темпоральности осталась менее уловимой для второй тенденции, чем для первой.

Во вводимом разделе главы «Аспектуальность» А. В. Бондарко, пользуясь определением, данным еще А. М. Пешковским, пишет: «А с п е к т у а л ь н о с т ь понимается нами как семантический категориальный признак „характер протекания и распределения действия во времени“... и вместе с тем как группировка ФСП, объединенных этим признаком» [1, с. 40]. Значит, аспектуальность рассматривается по своим компонентам, что, на наш взгляд, облегчает межъязыковое сравнение без того, чтобы терялись характерные черты русского языка. Они ясно выступают в отдельных ФСП группировки, которая «...включает следующие поля: лимитативность (поле, охватывающее разные типы отношений действия к пределу), длительность, кратность, фазовость, перфектность, поле действия (акциональность), поле состояния (статальность), поле отношения (реляционность)» [1, с. 42].

Единство аспектуальности, столь характерное для русского языка, имеющего систему видов, обеспечивается структурой комплексного поля: «Семантическим центром аспектуальности и вместе с тем центром формальных средств выражения аспектуальных отношений является глагольный предикат. С другой стороны, элементы аспектуальности могут выходить за пределы предиката, распространяясь на другие части высказывания. В особенности это касается обстоятельственных средств (*Посидели минут пять и ушли; Голоса постепенно замолкли* и т. п.). Собственно предикативная и обстоятельственная характеристики аспектуальных отношений объединяются в составе предикативного комплекса, включающего предикат (ядро комплекса) и все характеризующие его элементы высказывания» [1, с. 44].

В работе основное внимание уделяется отдельным полям, что является новизной коллективного труда. Вид как целостная категория хорошо известен, его сжатую характеристику можно найти и в [16, т. 1, с. 583—613]; все же у нас создалось впечатление, что с учетом результатов своих же исследований авторам следовало бы начертить новый «облик» русского вида. Читателям это было бы интересно, хотя авторов оправдывает то, что «...аспектуальность входит в более широкую функциональную сферу, связанную с идеей времени... Эта сфера включает аспектуальность („внутреннее время“ действия), временную локализованность (особый тип соотношения внутреннего и внешнего времени), темпоральность (внешнее время) и таксис (соотношение действий во времени)» [1, с. 42]. Без исследования темпоральности методом ФСП немислима адекватная картина аспектуальных и темпоральных отношений. Оба комплексных поля влекут за собой изучение других предикативных полей. В таких языках, как венгерский, аспектуальность пронизывает весь синтаксический строй, от оформления дополнений до актуального членения, и выходит в текст. Все же не только интересно, но и полезно останавливаться, пройдя определенный отрезок пути. Поскольку этого пока не сделано, после изучения темпоральности было бы целесообразно подвести итоги.

К сфере аспектуальности относятся поля лимитативности, длительности, кратности, фазовости и перфектности. В русском языке центральное положение занимает л и м и т а т и в н о с т ь. В центре ее семанти-

ческой структуры находится категориально-грамматическая лимитативность, а грамматическое ядро ФСП — это категория вида. На периферии семантической структуры находим противопоставление значений предельности/непредельности, а в плане выражения к числу периферийных компонентов относятся лексико-грамматические разряды предельных/непредельных глаголов и лексические обстоятельственные показатели типа *постепенно, совсем, наконец* (см. [1, 52]). Нам кажется, что семантический признак лимитативности является универсалией, то же можно предположить о лексических разрядах предельных и непредельных глаголов и о наличии обстоятельственных показателей. Ясно, что русский язык обладает таким типом аспектуальности, в котором лимитативность занимает центральное положение.

Основной формой выражения лимитативности является вид, пользующийся средствами словообразования, которые специфичны не только для выражения лимитативности, но и для выражения длительности, отчасти и фазовости. С точки зрения типологии формальных средств это означает, что русский язык относится к числу таких, в которых словообразование играет решающую роль в выражении аспектуальности, в отличие от языков, в которых аспектуальность проявляется в парадигматике в сочетании с темпоральностью. Это обеспечивает условия для самостоятельности выражения, возможность взаимосвязей разных полей аспектуальности с изменением способов словообразования в соответствии с изменениями семантического фундамента, с его перераспределением: в истории таких языков, как общеславянский или венгерский, произошел сдвиг в сторону лимитативности за счет кратности в системном выражении. При этом парадигма времен глагола имела определенную независимость.

Мы не останавливаемся на поле длительности, которое выражается обеими видовыми формами и разными средствами внешней детерминации (главным образом, обстоятельственными), потому что представить его кратко нельзя без того, чтобы не потерять всю его новизну.

Поля кратности и фазовости описаны В. С. Храковским, к разделу о фазовости примыкает характеристика начинательности и средств ее выражения в разных языках (автор В. П. Недялков).

В соответствии с подходом школы А. А. Холодовича и с учетом результатов исследований структурного направления в изучении аспектуальности В. С. Храковский исходит из того, что простые глагольные предложения (как языковые единицы и как высказывания), например, *Яблоко упало на землю*, «...соотносятся с множеством конкретных, т. е. индивидуальных, денотативных ситуаций и с одной абстрактной сигнификативной ситуацией... Конкретная ситуация... относится к сфере семантики речевого акта, а абстрактная ситуация — к сфере семантики языка. Участниками конкретной ситуации являются реальные предметы действительности, участниками абстрактной ситуации — обобщенные представления о предметах... которые соотносятся с ролями субъекта, объекта, адресата, инструмента и т. д.» [1, с. 125]. Можно согласиться с таким пониманием ситуации, но о нем трудно судить в таком обобщенном изложении.

Что касается изучения аспекта, то по сравнению с взглядами А. В. Бондарко наблюдается перенос акцента на пропозицию: «...естественным объектом аспектологического анализа является не просто действие или глагольный предикат, а целиком вся пропозиция или ситуация, выражаемая в глагольном предложении» [1, с. 125]. Зная процесс формирования концепции А. В. Бондарко и подхода школы А. А. Холодовича, следует

констатировать, что такое различие в акцентах естественно, даже полезно. На соотношении двух концепций мы должны остановиться, потому что речь идет не только о взглядах участников одного проекта: это соотношение имеет более общий характер.

Исследования А. В. Бондарко начались с анализа морфологических категорий, в особенности вида, и от него приближались к проблематике синтаксиса в ходе общего развития школы Ю. С. Маслова и развития своей концепции. Языковое содержание в морфологии отражается иначе, чем в синтаксисе, с изучения которого брала свое начало школа Холодовича, рассматривая грамматику (в центре которой находится синтаксис) как решение смысловых задач. Общей чертой обеих концепций была ориентация на содержание, которое толковалось по-разному, различия остаются и при трактовке вопросов русского языка, несмотря на стремление к сближению. Однако описание целой системы одного конкретного языка не бывает методологически единым, разногласие может быть скрытым или открытым, мы предпочитаем последнее. Хотя нельзя обойти молчанием разногласие в подходах, было бы крупной ошибкой не видеть фундаментального согласия, которого авторы достигли в трактовке функциональной грамматики и вопросов русского языка.

Кратность можно отнести к количественной аспектуальности, при изучении которой кроме лексических значений глаголов, аспектуально релевантных обстоятельств и видо-временного значения глагольной формы следует учесть и денотативный статус актантов (см. [1, с. 126]), который связан с конкретными ситуациями. «Семантический признак кратности ситуаций реализуется как совокупность двух сопряженных значений: однократности и неоднократности. Одно из этих значений присоединяется к значению предикативных, главным образом глагольных лексем» [1, с. 126], при этом В. С. Храковский подчеркивает, что значение данного признака относится и к ситуации, выражаемой в предложении. К универсальным компонентам относятся семантические классы глаголов и слова, а также словосочетания, выражающие кратность [1, с. 126—127]. В отличие от хорошо известного явления лимитативности, кратность нуждается в конкретизации. В. С. Храковский предлагает исчисление неоднократности, строящееся на двух признаках: I — повторяющиеся ситуации занимают (а) один период, (б) разные периоды времени, II — набор актантов (а) тождествен, (б) не тождествен. Из четырех логических возможностей в русском языке реализуются три: (1) мультипликативный (собирательный) тип, локализованный во времени (Iа, IIа): *Больной кашлял всю ночь*, (2) дистрибутивный (собирательный) тип, локализованный во времени (Iа, IIб): *Лисица перетаскала соседских цыплят*; (3) итеративный (дискретный) тип, не локализованный во времени (Iб, IIа): *Больной кашляет каждую ночь*. Примеры оправдывают и определение кратности, и ее типизацию. Автор считает свою классификацию универсальной. На наш взгляд, ее можно считать универсальной в том смысле, что она содержит минимум факторов, который представлен и в языке, выражающем кратность ограниченным набором формальных средств. Исчисление нуждается в проверке на материале языков, располагающих системой суффиксов кратности и элементами лимитативной аспектуальности. Таким языком является венгерский.

По аспектуальной теории Ю. С. Маслова, фазовость, фазовая детерминация предполагает выделение одной из фаз (начальной, средней или конечной) в протекании действия или состояния. Вероятно, лишь начальная фаза имеет такое самостоятельное аспектуальное значе-

ние, которое выражается чаще других и разными формальными средствами (см. [1, с. 153]). Глаголы со значениями «начинать», «переставать», «продолжать» эксплицитно выражают фазовые значения. Каждое из них может сочетаться с предикатами, обозначающими действия, которые локализируются во времени и по своей природе могут прерываться и возобновляться (см. [1, с. 155]). Русский язык имеет ряд лексико-грамматических средств, обозначающих начало действия (приставки: *за-, по-, взо- и воз-, раз-* и конфиксы *раз — ся, за — ся*: например, *заскрипеть, полететь* и т. п.). Они хорошо известны, то же самое можно сказать и о разных глаголах, обозначающих начало действия. Из тщательного учета грамматических и лексических средств известно, что грамматико-лексические средства выражения прекращения действия более ограничены. Продолжение может быть выражено лишь глаголами (*не переставать, продолжать, остаться/оставаться*). Судя по анализу фазовости в русском языке, проведенному В. С. Храковским, да и по сведениям о разных языках, типологически плодотворным является прежде всего изучение начинательности и средств ее выражения. Такое предположение оправдывается межъязыковым сравнением В. П. Цедялкова, вскрывающим богатую проблематику начинательности.

В последнем разделе главы об аспектуальности рассматривается *п е р ф е к т н о с т ь*. Определение Ю. С. Маслова мы процитируем почти целиком, ибо оно связывает два комплексных поля: аспектуальность и темпоральность и вместе с тем два вида связи этих полей: в одном доминирует аспектуальность, в другом — темпоральность (имея в виду прототипические построения): «Перфектность — семантическая категория в рамках аспектуальности, характеризующаяся своеобразной временной двойственностью, соединением в одной предикативной (или свернуто-предикативной) единице двух так или иначе связанных между собой временных планов — предшествующего и последующего. Связь между этими двумя планами является причинно-следственной в самом широком смысле слова» [1, с. 195].

«Входя в сферу аспектуальности, перфектность своеобразно пересекается с дейктической темпоральностью: более поздний временной план в составе двупланового „перфектного единства“ так или иначе ориентирован в потоке времени. Этот план либо включает *hic et nunc* говорящего — и тогда мы имеем с о б с т в е н н о - п е р ф е к т н о е значение в одном из его вариантов, либо же опирается на какую-то иную „точку отсчета“ — и тогда мы говорим о т е м п о р а л ь н о с м е щ е н н ы х перфектных значениях, например о плюсквамперфектном» [1, с. 195].

В сфере предиката специализированным средством обеих разновидностей является шахматовский перфект: *Стол накрыт* (объектная диатеза), *Он влюблен* (субъектная диатеза), *Здесь накурено* (безличная). Такие конструкции составляют центр ФСП, а нецентральными, но эсплицитными Ю. С. Маслов считает такие, как: *Всеми оставленный, он продолжает идти своим путем* и *Сидел нахмурившись* (с причастиями или деепричастиями).

Отдельная глава посвящена *в р е м е н н о й л о к а л и з о в а н н о с т и*, которая стоит особняком не только в русской грамматике, но и в других языках: она обычно не имеет специальных форм выражения, хотя имеет определенную соотношенность с видом или с системой времен. В русском языке: «НСВ легко сочетается с обоими признаками (т. е. локализованностью и нелокализованностью. — Д. Л.), выявляя нейтральное отношение к их различию... СВ... обнаруживает тенденцию к сочетаемости

преимущественно с признаком [Локализованности]» [1, с. 227]. Было бы интересно рассмотреть отношение данного поля к разным видо-временным системам для более точного понимания не только этого ФСП, но и соотношения аспектуальности и темпоральности.

Значительное место занимает глава, посвященная таксису, который обычно не бывает представлен в грамматиках русского языка, поскольку таксисные отношения выходят за пределы простого предложения, входя в сферу предложения, осложненного причастиями и деепричастиями, и вступая в соотношения двух предложений, связанных общностью субъекта, а также соотносенностью вида и времени. Для типологов совместный анализ такого типа является естественным, что не уменьшает повизну исследования таксиса в русском языке: «Единство, образуемое разнородными языковыми средствами данного языка, объединенными семантикой временных отношений между действиями-компонентами полипредикативных комплексов в рамках целостного периода времени, представляет собой функционально-семантическое поле таксиса» [1, с. 238].

В определении А. В. Бондарко говорится о времени, которое, однако, понимается широко, т. е. трактуется как семантическая основа категориий вида и времени. При изучении таксиса применяется столь же полный учет формальных средств, как и при описании других ФСП. В отношениях зависимого таксиса различаются основное и второстепенное действия: *Войдя в комнату, Сергей сразу же зажег свет*, что отсутствует при независимом таксисе: *Сергей вошел в комнату и сразу же зажег свет* или *Когда Сергей вошел в комнату, он сразу же зажег свет*.

Детальный анализ обеих разновидностей таксиса, проведенный С. М. Полянским, Т. Г. Акимовой и Н. А. Козинцевой, завершается заключительными замечаниями А. В. Бондарко. Речь идет о том, что в русском языке «...чаще всего для целей общения оказывается необходимым и достаточным выражение неполной, нестрогой одновременности или разновременности. Во многих же случаях различие одновременности/разновременности вообще в речи не актуализируется, и значение таксиса сводится к общей совмещенности предикатов в едином периоде времени» [1, 295]. Как и следовало ожидать, в русском языке в поле таксиса отражается специфика отражения времени в широком смысле, «...которая заключается в сопряженности собственно временных соотношений с аспектуальными признаками и тесно связанными с ними признаками локализованности/нелокализованности ситуаций во времени. Аспектуальные признаки характеризуют не только каждое действие в отдельности, но и их сочетания в пределах полипредикативного комплекса» [1, с. 295].

Весьма обширное поле таксиса не дает возможности для формулировки типологических гипотез или межъязыкового анализа средств выражения анализируемой семантики, как это было сделано в области кратности и фазовости, зато находим сжатую характеристику зависимого таксиса в нивхском языке, в котором деепричастия пронизывают весь строй языка. По мнению В. П. Недалкова и Т. А. Отаиной, сопоставление русского с нивхским показывает, что в последнем дифференцированно выражены те смысловые отношения, которые в русском видны лишь из контекста. Это соответствует характеристике русского языка, данной А. В. Бондарко. На наш взгляд, нивхский более дифференцированно передает отношения зависимого таксиса, для выражения которого он имеет свои средства (деепричастия), употребляющиеся без ограничений, свойственных русскому языку.

Особого внимания заслуживает шкала выражения зависимого таксиса, предложенная авторами: «По признаку развития форм зависимого таксиса крайние точки (полюсы) в этой шкале непрерывности занимают, с одной стороны, языки, в которых специальные формы зависимого таксиса полностью отсутствуют, и, с другой стороны, — языки, в которых все глагольные формы в предложении, кроме независимого сказуемого, являются деепричастными. Существует, видимо, еще и третий тип языков — нейтральные к признаку зависимого таксиса (сюда, возможно, относятся языки типа вьетнамского и йоруба, где основная форма глагола может без изменения использоваться и как опорная, и как второстепенное сказуемое. Языком, приближающимся к первому типу, является арабский; языками, в разной мере приближающимися ко второму типу, — нивхский, хопи, эскимосский, алеутский, корейский, японский...» [1, с. 300].

4. Замечания о типологии и о типологической характеристике. Так как в коллективной работе отдельные поля подвергались и типологическому анализу, здесь следует лишь сформулировать методологическое обобщение и сделать дальнейшие замечания.

Основной вопрос всей статьи заключается в анализе отношения функциональной грамматики данного типа к общей типологии и типологической характеристике. Авторы-типологи не могли работать по всем правилам мастерства, их руки связывали многие неизбежные факторы (неразработанность отдельных полей, рамки одного языка и др.), но результаты позволяют нам сделать основной вывод: функциональные грамматики, в том числе и грамматика русского языка, «поддаются» типологической характеристике, основанной на общей типологии в том виде, как она представлена в подходе школы Холодовича. Имея представление о последней (см. [20]), мы и не сомневались в этом, но мы не могли знать, является ли достаточным фундаментальный изоморфизм подходов А. В. Бондарко, с одной стороны, и школы Холодовича, с другой, для создания коллективного труда. Для школы Холодовича задание описать русскую грамматику в данном плане означало бы «вызов» и привело бы, на наш взгляд, к принципиально новому расширению характерного для этой школы подхода.

Как нам кажется, в современной типологии новые разыскания расположены на определенной шкале. На одном полюсе в центре исследования оказывается отражение когнитивной функции — такой подход представлен в концепции Х. Зайлера и в работах Кёльнского проекта. На другом полюсе находится подход Т. Хоппера и С. Томпсон, который ориентирован на коммуникацию (на контекст и ситуацию), и, выходя в грамматику текста, последовательно изучает употребление или невозможность употребления грамматических форм в таком плане. Речь не идет о том, что основные функции языка не были бы учтены, но очень детальное и последовательное прослеживание одной из функций по необходимости делает такое же представление другой недостаточным. То, что сказано о типологии, может быть отнесено и к описанию конкретных языков, их типологической характеристике. Подход А. В. Бондарко ближе к когнитивному полюсу, тогда как направление школы Холодовича — к коммуникативному, но в последней школе уже вначале были заложены возможности ее расширения в формулировке «универсальных смысловых заданий».

Результаты типологических исследований показывают, что основной формой типологии является универсальная грамматика, которая становится более общей и гибкой. Это отнюдь не уменьшает значимости изу-

чения типов, которое оказалось подходящим методом для установления связей разных подсистем и для обобщения такого характера.

Типологические разыскания, ориентированные на форму, естественно дополняют те исследования, которые прослеживают выражение функций. В такой комплексной области, как изучение аспектуальности — темпоральности (к которой можем добавить еще модальность), наиболее осуществимой процедурой является та, которая начинается с изучения частных систем методом от содержания к форме, как представлено выше или в работе Б. Комри [21]. Нельзя не учитывать, что такие поля в чистом виде не наблюдаются в языках, поэтому исследование, ориентированное на их совместное выражение в разных языках, существенно дополняет первый подход. Из-за сложности проблематики, требующей предварительного теоретического обоснования, таких исследований весьма мало (см. работу О. Даля [22]).

Типологическая характеристика, ориентированная на форму, но учитывающая и содержание, семантику, являлась доминантной, пожалуй, исключительной возможностью для данного вида исследования. К числу таких характеристик относится и наша краткая характеристика русской грамматики [23], принципы которой установлены с учетом подхода школы Холодовича. Такая характеристика может быть расширена в направлении, представленном в рассматриваемой книге. При этом, однако, следует учесть важнейший фактор: характеристика не может довольствоваться тем, что она относит подсистемы языка к разным типологиям (к типам, частям универсальной грамматики), она должна определить своеобразие языка, которое значительно больше суммы типологических сведений. Так понимали цели типологической характеристики ученые от В. Гумбольдта до В. Скалички и Э. Косериу.

На наш взгляд, характерной особенностью последних двух десятилетий является многоаспектное представление языка, что до определенной степени существовало и раньше, но, осуществляясь все полнее, стало нормой. Оно соответствует природе языка и грамматики и реализуется в исследовательской программе (термин Лакатоса) нашей науки (см. [24]). Немыслима доминантная парадигма с одноаспектным подходом. Так как существует основной изоморфизм между синхронным и диахронным описанием отдельных языков, с одной стороны, и общеконпаративной грамматикой, — с другой, указанная тенденция все ярче отражается и в типологии. Тем самым цели типологической характеристики осложняются, зато она сможет вскрыть новые, еще неведомые аспекты языка и вернее представить языковую систему.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1984.
2. Бондарко А. В. Функциональная грамматика. Л., 1984.
3. Бондарко А. В. Из истории разработки концепций языкового содержания в отечественном языкознании XIX века (К. С. Аксаков, А. А. Потебня, В. П. Сланский) // Грамматические концепции языкознания XIX века. Л., 1985. С. 79—123.
4. Kelemen F. A népszóllem a nyelv géniusza. Törtenelem, közösség, nyelv, összefüggése a klasszikus német filozófiában. Bp., 1985.
5. Кацнельсон С. Д. История типологических учений // Грамматические концепции в языкознании XIX века. М., 1985. С. 6—58.
6. Humboldt W. Über den Dualis // Humboldt W. Werke. / Hrsg. von Leitzmann A. Bd VI.1. B., 1907. S. 4—30.
7. Кацнельсон С. Д. Теоретико-грамматическая концепция А. А. Потебни // Грамматические концепции в языкознании XIX века. Л., 1985. С. 59—78.

8. Gabelentz G. Die Sprachwissenschaft. Leipzig, 1891
9. Бодуэн де Куртэне И. А. Количественность в языковом мышлении // Бодуэн де Куртэне И. А. Избр. труды по общему языковедению. М., 1963. С. 312—323.
10. Jespersen O. The philosophy of grammar. L., 1924
11. Brunot F. La pensée et la langue. Méthode, principes et plan d'une théorie nouvelle du language appliquée au français. 3-me éd. revue P., 1953.
12. Jespersen O. Analytic syntax. [N.Y.], 1937. | 1969].
13. Mathesius V. A functional analysis of present day English on a general linguistic basis. Prague, 1975.
14. Seiler H. Possession as an operational dimension of language. Tübingen, 1983.
15. Seiler H. Apprehension. Language, object, and order Pt III: The Universal dimension of apprehension. Tübingen, 1986.
16. Русская грамматика. I—II. М., 1980.
17. Проблемы функциональной грамматики. М., 1985
18. Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
19. Маслов Ю. С. Очерки по аспектологии. Л., 1984
20. Даже Л. Универсальная грамматика и школа А. А. Холодoviча // ВЯ. 1987. № 5.
21. Comrie B. Tense. Cambridge, 1985.
22. Dahl Ö. Tense and aspect systems. Oxford, 1985.
23. Даже Л. Типологическая характеристика русской грамматики в сопоставлении с венгерской. Будапешт, 1984.
24. Dezsö L. Studies in syntactic typology and contrastive grammar. Budapest; The Hague, 1982. P. 213.

© 1990 г.

ДРЕССЛЕР В. У.

ПРОТИВ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ ТЕРМИНА «ФУНКЦИЯ» В «ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ» ГРАММАТИКАХ

«Функция» и «функционализм» — часто употребляемые, но неоднозначные термины, используемые в лингвистических дискуссиях, а также в теоретических и эмпирических штудиях. О том, что это имеет место также и в Советском Союзе, свидетельствуют работы Звегинцева и Маслова [1, 2], а также новая книга «Теория функциональной грамматики» [3]. Для термина необходимо, однако, — по меньшей мере в рамках одной дисциплины и в пределах одного исследовательского контекста — однозначная дефиниция или по крайней мере однозначное употребление, в идеале даже одно-однозначность [«*Einivozität/biuniqueness* (см. [4])]. Этой однозначности или даже одно-однозначности термина «функция», однако, не существует даже в рамках одной функциональной школы и тем более не соблюдается при спорах между лингвистическими школами.

В настоящей статье я хотел бы лишь внести посильный вклад в уточнение терминов, т. е. в снятие их неоднозначности. При этом я не имею возможности остановиться на особенностях использования соответствующих терминов в теориях всех возможных функциональных школ (см. [5—9]); однако я хотел бы, с одной стороны, коснуться нового коллективного труда по функциональной грамматике [3], а — с другой стороны, обсудить основные положения двух среднеевропейских направлений функционализма.

В большинстве функциональных направлений термин «функция» употребляется в смысле коммуникативного содержания, причем часто понятие «грамматическая функция» практически используется как си-

ноним термина «грамматическое значение». Так, например, А. В. Бондарко [3, с. 17 и сл.] различает потенциальную и результирующую функции, что очень напоминает структуралистические разграничения между «valeur» (соответственно «signifié») на уровне потенциальной языковой системы (сосюрровское «langue»), с одной стороны, и актуальным значением на уровне реализации (сосюрровское «parole») — с другой.

Бондарко [3, с. 22 и сл.] осознает эту проблему и выступает против уравнивания семантической функции и значения определенной формы, причем выдвигает следующие аргументы.

1) Термин «функция» (но не «грамматическое значение») означает функционирование в рамках языковой системы или в данных контекстах. Против этого, однако, следует возразить, что значение подразделяется на основное и контекстуальное и что даже системное (потенциальное) значение формы не является чем-то статическим, а может рассматриваться только в связи (в оппозиции, или контрасте, если использовать структуралистическую аргументацию) с другими формами системы языка, в особенности соответствующей подсистемы, исследуемой в парадигматическом и синтагматическом аспектах.

2) Функция относится (очевидно, в отличие от значения) также к различным коммуникативным сферам языка. На это следует возразить, что и значение должно быть дифференцировано подобным же образом, если учитывать коммуникативную функцию языка, а также, подобно Л. Ельмслеву, Э. Косериу и др., включать в качестве связующего члена между уровнями «langue» и «parole» промежуточный уровень нормы. Дело в том, что для всех коммуникативных сфер существуют нормативные реализации грамматических (и других) значений потенциальной системы.

3) В отличие от функции значение является составной частью понятия знака. Против этого положения у меня два основных возражения:

а) Подобное разграничение базируется на слишком узкой и совершенно устаревшей в семиотике теории знака. Так, например, знаковая теория Пирса [10, 6, 11, 12] абсолютно функционалистична и оперирует, наряду с элементами знака «signans» — «signatum» (на которые, употребляя другую терминологию, ссылается Бондарко), важным, но, к сожалению, часто игнорируемым понятием «интерпретант» (Interpretant), которое как раз и содержит тот коммуникативный эффект, который Бондарко хочет вложить в понятие «функция».

б) Даже если бы понятие функции не входило бы в (слишком простое, приблизительно соответствующее сосюрровскому) понятие знака, то возник бы вопрос: каково место функции в системе? Другими словами, если значение конституируется семиотически, то каким образом конституируется функция? Это, конечно, было бы возможно в рамках кибернетической теории систем (ср. [13, 14, 7]).

Отсюда вытекает мой первый вывод: понятие функции в том виде, в каком оно употребляется у А. В. Бондарко [3], является избыточным, т. к. оно слишком мало отличается от понятия значения, а второстепенные значения или коннотации, связанные с термином «функция», точнее могут быть выражены уже существующими определениями понятия значения. С другой стороны, существует семиотическое понятие «интерпретант», которое в гораздо более полной степени может удовлетворить существующие потребности номинации, возникающие у лингвистов, занимающихся функциональной теорией. Если же все же настаивать на сохранении понятия функции, то его следует отграничить от других (см. ниже) понятий функции, таких, например, как «грамматическая функция»

вложить в него такое содержание (например, на основе теории систем Парсона), чтобы действительно имело смысл, наряду с понятием «грамматическое значение», еще дополнительно употреблять понятие «грамматическая функция». При этом следовало бы избегать сверххарактеризующих (так сказать, избыточно-тавтологических) понятий, таких, например, как употребляемые у Бондарко термины «семантическая функция», «семантически-функциональный / функционально-семантический», или дать им четкое определение, которое позволяло бы отличать их как от понятия «семантический», так и от понятия «функциональный».

Наряду с только что обсуждаемыми способами употребления в советской лингвистике и в родственных дисциплинах (например, в нейропсихологии [15]) существуют — как и везде — такие термины, как «коммуникативная функция», «предикативная функция», «имплативная функция». Эти понятия функций должны быть отграничены от обсужденных выше понятий, т. к. они — естественно, на различном иерархическом уровне — относятся к сфере таких выражений, как «инструментальная функция языка».

Понятие функции в модели УНИТНН (= универсалии и типологии) Кёльнской школы (под руководством Зайлера) ограничено этой когнитивной областью и требует объяснения 116—181. Здесь функции и операции приводятся в соответствие друг с другом в гораздо более систематическом порядке, чем это имеет место в модели «means-ends» Пражской школы. Так, например, этикетировочная функция (labelling function), близкая к номинативной функции в советской лингвистике, противопоставляется дескриптивной функции. Если, например, сравнивать такие операции, как образование относительных придаточных предложений — с одной стороны, и композиция и деривация — с другой, то следует отметить, что относительные придаточные предложения могут выполнять дескриптивную функцию оптимальным образом, а деривация — минимальным; при этикетировочной же функции имеет место как раз противоположное, причем композиция в обоих случаях занимает как бы промежуточное положение. Отношение между операциями и функциями следует четко отграничивать от отношения между формой и значением, т. к. относительное придаточное предложение не обладает значением «дескрипции», а прилагательное «дескриптивный» означает в термине «дескриптивное относительное придаточное предложение» совершенно не то, что в понятии «дескриптивная функция» [последнее относится к операциям как средству образования относительных придаточных предложений, необходимых для коммуникации (т. е. к высшей коммуникативной функции языка)].

Вместо того чтобы далее характеризовать теорию Зайлера, я теперь хотел бы обратиться к семиотически представленным мной теориям естественности [19, 20], в особенности естественной фонологии [21], естественной морфологии [21—23] и аналогичной лингвистике текста [24, 25, 23].

По мнению специалистов в области теории естественности, функциональная научная теория уместна не только в тех отраслях языкознания, которые вообще не могут быть обработаны без учета коммуникативного аспекта (например, в лингвистике текста [26] и при исследовании фонетических стратегий [27, 28]), но и по необходимости также и в фонологии, т. к. она строится именно на фонетике как основе для объяснений. Другими словами, фонология является структурным средством, служащим фонетическим стратегиям в рамках системы. Кроме того, следует учитывать, что язык является социальным феноменом, в связи с чем функцио-

нальные объяснения — подобно тому, как это имеет место в функциональной или кибернетической теории систем [13, 14, 29] — являются необходимыми.

В научной теории понятие функции тесно связано с соответствующим понятием в телеологии ([30, 31], ср. термин «цель» у Бондарко [31]). Функциональное объяснение на основе научной теории можно осуществить двумя способами.

1) На основе чисто телеологического или, лучше, телеономического описания и объяснения (ср. аристотелевское *causa finalis*). Речь идет о целенаправленной, намеренной операции ([30, 31]), ср. термин «цель» у Бондарко). Такая языковая операция используется, конечно, при построении стратегии действия (*Performanzstrategien*), стратегий текста, социолингвистических, стилистических и риторических стратегий. Субъектом целенаправленного языкового действия является не только индивид и его совокупная деятельность, но и языковая общность, поскольку она закрепляет в своих языковых нормах средства для достижения целей, осуществляет их кодификацию, перекодирование или вовсе отбрасывает (т. е. акцептирует или отвергает соответствующие нормативные инновации). Особенно показательным, хотя и экстремальным примером являются терминологические группы, заново кодирующие (при учете национальных и интернациональных норм) совершенно ясные и однозначные морфологические неологизмы в терминологических целях (т. е. выполняющие в соответствии с критериями естественности этикетизирующую и дескриптивную функции). Последние, однако, часто не находят признания — по различным причинам — у специалистов, пользующихся терминологией.

2) Другая функциональная схема имеет место, когда нельзя допустить наличие сознательного действия, т. е. если средство (*Mittel/means*) или операция X имеют функцию F в рамках системы S [30—32].

Так, например, возвращаясь к модели Зайлера в связи с моей собственной, следует отметить, что операции композиции в рамках грамматических средств того или иного языка обладают номинативной функцией (этикетизирующая функция в рамках словообразовательной функции обогащения лексикона) и описательной функцией (дескриптивная функция в рамках словообразовательной функции лексической мотивации). Функции русских композитов типа *луноход* нельзя, таким образом, отождествить ни с их значениями, ни со значением этого типа композиции, ни с их парадигматическими и синтагматическими отношениями и реализациями. Они реализуются в продуктивном обогащении русской лексики, обеспечивая экономичный тип номинации и создание в достаточной степени «говорящих имен» (хотя, конечно, с точки зрения системы было бы вполне возможным назвать космонавтов или что-либо другое словом *луноход*).

Отношения между формой и функцией могут иметь различный характер [33].

1) Свойства формы или, точнее, операции совместимы исключительно с ее функцией: так, по-видимому, все альтернативные возможности обозначения лунного транспортного средства (лунохода) в русском языке сами по себе вполне допустимы.

2) Операция может обладать такими свойствами, которые дают возможность выполнять функцию лучше, проще, быстрее, надежнее или с меньшими затратами, — так, по всей видимости, слово *луноход* выполнило функцию номинации экономичнее, чем его конкуренты — сложные словосочетания.

3) Свойство операции определяется ее функцией, т. к. в противном случае операция не могла бы выполнять функцию; последнее возможно в языке только в сложных ситуациях (см. примеры из диахронной фонологии [34]).

В диахронии функция может угаснуть (*vestigial function*). Типичным примером является угасание фонологических функций у фонологических правил при их морфологизации [19, с. 269]. В качестве компенсации правило приобретает морфологические функции, которые вначале возникают случайно, однако в диахронии получают большее значение (см. о правилах палатализации в польском языке [19, с. 182]).

Использование какой-либо операции, имеющей функцию X, естественно, вовсе не означает, что посредством этой операции действительно будет достигнута цель X [31, с. 73 и сл.]. Так, например, текстовая стратегия лжи является непрозрачной операцией, поскольку выраженное высказывание почти не имеет прагматической и семантической транспарентности. Лжец применяет подобную текстовую стратегию, поскольку он надеется, что непрозрачность означающего (*Signans*) в достаточной степени скрывает настоящее означаемое (*Signatum*). Однако отсюда отнюдь не следует, что обманутый в конечном итоге не осознает правду и, таким образом, не расстраивает намерения лжеца.

Функциональные объяснения, однако, никогда не могут быть такими же строгими, как дедуктивно-номологические, т. к. каждая операция может иметь много функций [30; 32, с. 71 и сл.; 33, с. 162; 34, с. 34], а каждая функция в парадигматике и синтагматике может осуществляться посредством многих операций (множественные стратегии, или редундантность). Кроме того, в большинстве функциональных систем существуют диалектические конфликты функций, для разрешения которых должны быть найдены соответствующие критерии [19, гл. 10; 35—36].

Я не могу здесь более подробно останавливаться на дальнейших проблемах функционального объяснения (см. [19, с. 262—279]). Однако я все же хотел бы кратко очертить иерархию функций в рамках естественной модели.

1) На высшем уровне находятся две основные функции языка (в качестве *faculté de langage*), а именно коммуникативная и когнитивная (или познавательная). Если рассматривать инструментальный характер языка в качестве его основной функции, следует отвести этой функции более высокий иерархический уровень, т. к. в этом случае инструментальную функцию можно было бы подразделить на коммуникативную и когнитивную, т. е. важнейшие орудия человеческого языка. От рассмотрения второстепенных (побочных) функций мы здесь ради упрощения отказываемся.

2) На втором уровне следуют основные функции отдельных компонентов языка:

2а) Согласно естественной фонологии, здесь речь идет о двух основных фонологических функциях, цель которых — сделать язык произносимым и воспринимаемым [37, 38].

2б) Главные функции морфологии — это функции морфосемантической и морфотактической мотивации и, кроме того, для флективной морфологии — синтаксическая функция, дающая возможность «снабжать» синтаксис флективными формами, а для словообразования — лексическая функция обогащения лексикона.

2в) Из функций синтаксиса я хотел бы, поскольку еще не существует разработанной естественной модели синтаксиса, назвать здесь только функцию предикации.

2г) В качестве основных функций текстового компонента можно было бы назвать семь составляющих нормативов текстуальности по Богранде и Дресслеру [24]. Несомненно, что текстосемантическая и текстопрагматическая когерентность важнее, чем текстосинтаксическая когезия, т. к. когезия может быть выведена из когерентности с помощью семиотического параметра диаграмматичности; другими словами, если текст является когерентным, то — исходя из причин универсальной тенденции к диаграмматичности между означаемым (Signatum) и означающим (Signans) — гораздо естественнее предположить, что он когезивен, чем допустить противоположное.

3) На следующей ступени находятся сочетания функций друг с другом и с семиотическими параметрами. Для иллюстрации я хотел бы расположить в определенном порядке уже названные выше примеры:

Дескриптивная функция композиции, относительное предложение и т.п. выводятся из функций морфосемантической мотивации (2б) и предикации (2в).

— Эtiquетирующая (номинативная) функция композиции вытекает из функции обогащения лексикона (2б).

— О когезивной функции см. 2г.

— Морфонологические правила часто обладают основной функцией избыточного показателя (коиндексикализации) морфологической категории (последний выводится из синтаксической функции морфологии) и фонологической функцией облегчения произносимости [часто представленной только спорадически: см. 2а].

— Замена непрозрачного композита прозрачным (в морфосемантическом и/или морфотактическом отношении) композитом имеет функцию повышения транспарентности, т. е. ее основная цель — повысить степень семиотических параметров морфосемантической или морфотактической транспарентности. При этом вновь существует диаграмматическое соотношение между морфосемантической и морфотактической транспарентностью [21]

4) На еще более низкой иерархической ступени находятся реализуемые в отдельном языке функции в рамках соответствующих специфических языковых субсистем. Здесь мы находимся на уровне, предложенном Вурцелем [39], — «системная адекватность/системная конгруэнтность».

Как мною уже было показано [21], в естественных теориях можно исходить из совокупности пяти уровней: 1) языковые универсалии/универсальная теория маркированности; 2) языковой тип/типологическая адекватность; 3) специфическая языковая компетентность/адекватность системы; 4) языковые нормы/социолингвистическая адекватность; 5) перформантность/психолингвистическая адекватность. В соответствии с этим приведенная выше иерархия функций может быть далее уточнена (см. [19, гл. 10]).

Перечисленные основные функции и семиотические параметры универсальной теории маркированности [иконичность с подпараметрами диаграмматичности, транспарентность, индексикализация (одно)однозначность] не могут рассматриваться как хаотическое нагромождение спекулятивных предположений, заданных ad hoc. В значительной степени они являются взаимозависимыми членами одной постоянной модели, т. е. реально существуют лишь немногие не зависящие друг от друга аксиомы.

Кроме того, следует учитывать своеобразие функционалистских моделей, которое становится особенно очевидным в рамках естественных моделей. В противоположность генеративной грамматике и классичес-

ким: структуралистическим школам, функциональное объяснение не замыкается ни в рамках системы языка, ни в рамках универсалий человеческого языка. Лингвистические универсалии строятся на этой теории (естественно, не полностью — в смысле философского редукционизма). Речь идет об указанных семиотических параметрах, которые действуют также и вне языка: их действительность может быть проверена эмпирически, в частности, в области оптической перцепции (ср., например, параметр транспарентности в [40]).

Другие универсальные лингвистические предпочтения вытекают из физических, нейробиологических, психических, социальных [особенностей] человека, о чем свидетельствуют многие примеры в названных выше естественнотеоретических работах. В этой связи и в [3] определенные основные положения, которые можно сравнить с постулатами естественной теории. Так, например, когда В. С. Храковский на с. 124 говорит о «кратности», он подчеркивает, что здесь речь идет о фундаментальной философской категории. Это означает в общем виде, что универсальные грамматические категории имеют когнитивную основу. Когда мы рассматриваем подробно освещенные в [3] и др. категории аспектуальности, то ясно, что во многих языках вербальный аспект относится к синтаксису и/или морфологии, а различные виды — к словообразованию (деривационной морфологии), причем вербальный характер является уделом лексической семантики. Тем не менее можно говорить о когнитивном измерении аспектуальности, причем — исходя из указанных выше причин теории моделирования — я предпочитаю понятие «когнитивное измерение» неоднозначному и неопределенному термину «функционально-семантическое поле» [3]. В этой связи я должен указать, кроме естественных теорий, также и на такие направления языкознания, как «когнитивная лингвистика», или «когнитивная перспектива» (см., например [41]). Что касается столь важного для [3] словообразования, то необходимо указать на [42], первую монографию о когнитивных основах словообразовательной морфологии в рамках «когнитивной лингвистики».

Я надеюсь, что эта эскизная статья — вместе с приведенной ниже отсылочной литературой — смогла показать, что: 1) термины «функция», «функциональный» и т. п. в большинстве функциональных грамматик используются слишком неоднозначно и неопределенно, 2) возможны более точные, иерархически расчлененные функционалистские модели и 3) эти модели обладают большей разъясняющей силой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Звегинцев В. А. Функция и цель в лингвистической теории // Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. М., 1977.
2. Маслов Ю. С. О типологии чередований // Знаковый строй языка / Под ред. Аванесова Р. И. и др. М., 1979.
3. Теория функциональной грамматики / Под ред. Бондарко А. В. Л., 1987.
4. Wüster E. Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. Wien, 1979.
5. Mulder J. W. G., Hervey Z. The strategy of linguistics: papers on the theory and methodology of axiomatic functionalism. Edinburgh, 1980.
6. Hervey S. Semiotic perspectives. L., 1982.
7. Ronneberger-Sibold E. Sprachverwendung — Sprachsystem: Ökonomie und Wandel. Tübingen, 1980.
8. Papers of the paraession on functionalism / Ed. by Grossmann R. E. et al. Chicago, 1975.
9. Coseriu E. Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft. Tübingen, 1988.
10. Peirce Ch. S. Collected papers / Ed. by Hartshorne C. and Weiss P. Cambridge (Mass.), 1965.

11. *Eco U.* Semiotics and the philosophy of language. Bloomington, 1984.
12. *Shapiro M.* The sense of grammar: language as semiotic. Bloomington, 1983.
13. *Luhmann N.* Zweckbegriff und Systemrationalität. Frankfurt am Main, 1973.
14. *Schweizer H.* Sprache und Systemtheorie. Tübingen, 1979.
15. *Лурия А. П.* Основные проблемы нейролингвистики. М., 1975.
16. Language universals / Ed. by Seiler H. Tübingen, 1978.
17. *Seiler H.* The Cologne project on language universals // Seiler H. Language universals, Tübingen, 1978.
18. van den Boom H. Zum Verhältnis von Logik und Linguistik in Bezug auf UNITYP-Grundätze // Arbeiten Kölner Univer. alien-Projekt. 1983. 52.
19. *Dressler W.* Morphology. Ann Arbor, 1985.
20. *Dressler W.* Semiotische Grundlagen einer Theorie der Natürlichen Phonologie und Morphologie // Semiotica Austriaca / Ed. Bernard J. Wien, 1987.
21. *Дресслер В.* Об объяснительной силе естественной морфологии // ВЯ. 1986. № 5.
22. *Dressler W., Mayerthaler W., Panagl O., Wurzel W.* Leitmotifs in natural morphology. Amsterdam, 1987.
23. *Dressler W. Barbaresi M.* Marked and unmarked discourse // Societas Linguistica Europaea Meeting. Ohrid, 1986.
24. *Beaugrande R. de, Dressler W.* Einführung in die Textlinguistik. Tübingen, 1981.
25. *Dressler W., Barbaresi M.* Elements of morphopragmatics. Duisburg, 1987.
26. *Givón T.* On understanding grammar. N. Y., 1979.
27. *Lindblom B.* On the teleological nature of speech processes // Speech communication. 1983. 2.
28. *Ohala J.* The phonological aim justifies any means // PICL. 1983, 13.
29. Kommunikationstheoretische Grundlagen des Sprachwandels / Hrg. von Lüdtke H. B., 1980.
30. *Woodfield A.* Teleology. L., 1976.
31. *Wright L.* Teleological explanations: an etiological analysis of goals and functions. Berkeley, 1976.
32. *van Parijs Ph.* Evolutionary explanation in the social sciences: an emerging paradigm. L., 1981.
33. *Sanders G. A.* Functional constraints on grammar // Studies for J. Greenberg. I / Ed. by Juilland A. Saratoga, 1977. P. 133.
34. *Campbell L., Ringen J.* Teleology and the explanation of sound change // Phonologica. 1980.
35. *Wurzel W. U.* Sprachsystem und Dialektik // Z. für Phonetik und Kommunikationswissenschaften. 1980. 33.
36. *Wurzel W. U.* Dialektischer Determinismus und Sprachsystem // Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1981. 29.
37. *Donegan P., Stampe D.* The study of natural phonology // Current approaches to phonological theory // Ed. by Dinnsen D. Bloomington, 1979.
38. *Dressler W.* Explaining natural phonology // Phonology yearbook. 1984. 1.
39. *Wurzel W. U.* Flexionsmorphologie und Natürlichkeit. B., 1984.
40. *Koj L.* The principle of transparency and semantic antinomies // Semiotics in Poland / Ed. by Telc J. Dordrecht, 1979.
41. *Langacker R. W.* The Cognitive perspective. Duisburg. 1988.
42. *Szymanek B.* Categories and categorization in morphology. Lublin, 1988.

Перевела с немецкого *Денисова О.*

© 1990 г.

БЕЛИЧОВА Е.

О ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ

Вслед за завершением системно-функционального описания русского языка в виде монументальной академической Русской грамматики под ред. Н. Ю. Шведовой (М., 1980) и этапом необходимых подготовительных работ, заключавшихся в первую очередь в выяснении перспектив функционально-семантического подхода к описанию языка, т. е. оптимальных методов и возможностей фактического их применения, перед нами пред-

стает новое, широко задуманное системное описание категорий функциональной грамматики. В недавно вышедшей коллективной монографии по этой проблематике поставлена исключительно трудоемкая, но несомненно заслуживающая признания задача — предпринять в последующих выпусках описание фактов современного русского языка (в некоторых разделах — в сопоставлении с другими языками) не на основе отдельных уровней со свойственным им системным упорядочением, а на основе анализа функционально-семантических полей (ФСП), пересекающих разные уровни. Описание базируется на некоторых содержательных категориях общего характера, раскрываемых в их частных значениях и связанных с ними языковых средствах. Эти категории находят отражение на разных уровнях, в рамках которых выражение данного содержания занимает неодинаковое положение с точки зрения системной упорядоченности языковых средств. Частные значения, базирующиеся на определенной категории, соприкасаются с другими частными значениями, связанными с другими содержательными категориями.

Безусловно, трудно провести границы между отдельными ФСП за пределами их собственного центра, со свойственными ему примарными средствами, специализированными для выражения данного содержания. Языковые средства, отражающие закрепленные за ними первичные (парадигматические) значения, выполняют, как правило, также вторичные функции. Таким образом, различаются функции центральные и периферийные, причем степень центральности/периферийности у них неодинакова. Вследствие этого средства и обслуживаемые ими области, оказывающиеся не центральными в рамках двух (или более) ФСП, можно интерпретировать по-разному.

В известной степени неопределенность границ между ФСП находит отражение также в запланированном содержании подготавливаемых к печати монографий, назначением которых является системное описание фактов русского языка на основе ФСП. В частности, в настоящем томе содержится описание аспектuality, временной локализованности и таксиса, тогда как темпоральность вместе с модальностью и бытийностью должна войти во второй том. Для включения того или иного ФСП в тот или иной том серии монографий решающее значение с точки зрения авторов имеет характер центра (центров) ФСП и его упорядочение. Совершенно очевидно, что если речь идет о функциональной грамматике, то описание ФСП не может пройти мимо грамматического ядра отдельных ФСП, в первую очередь морфологического, вследствие флективного характера русского языка. Это свойство, несомненно, отразилось в том, что в одном и том же томе предполагается объединить описание ФСП темпоральности и ФСП модальности, так как можно постулировать наличие в русском языке комплексной категории времени и наклонения. Возможность реализации временных значений регулируется (блокируется) наличием того или иного члена категории наклонения. Комплекс проблем, связанных с временной локализованностью, объединен в одном томе с аспектuality и таксисом, который также представляет собой область, тесно связанную с темпоральностью. Из сказанного вытекает, что темпоральность как одно из основных ФСП на самом деле не будет представлена как иерархически упорядоченное целое, так как проблематика ФСП темпоральности, не затрагивающая отношения темпорально-модальные, так или иначе подчинена анализу ФСП аспектuality, т. е. описанию функционирования форм совершенного/несовершенного видов (СВ, НСВ). Но ФСП темпоральности следовало бы представить как темпо-

ральную локализацию в самом широком смысле слова, центром которой является локализация по отношению к моменту речи, в русском языке обязательная в рамках индикатива и блокированная в рамках кондиционала (в других славянских языках, например, в чешском или словацком, с этой точки зрения дифференцирована также область кондиционала, хотя в этой области противопоставление времен отчасти факультативно), но тем не менее имплицитированная в контексте. На это ядро наслаивается темпоральная локализация в виде упорядоченности внутренне темпорально локализованных предикатов, т. е. упорядоченности на временной оси как разновидностей содержания, наличие которых параллельно/не параллельно, причем указанную упорядоченность можно оформить еще как локализацию в собственном смысле слова, т. е. как обрамление так или иначе темпорально локализованного содержания другим темпорально локализованным содержанием в виде придаточных предложений времени. Они эксплицитно сигнализируют темпоральную локализацию посредством соединительного средства, одновременно указывающего на снятие первичной функции придаточного предложения. В случае других разновидностей придаточных предложений (например, каузальных) темпоральная локализация в указанном смысле слова не представлена, хотя временная упорядоченность может быть для данного отношения релевантной, т. е. она подразумевается (например, в случае каузальной связи — см. с. 277). Сюда же относится также область номинализированных конструкций, сближающихся по своему функционированию с обстоятельствами времени — внешней локализацией в собственном смысле слова, например, *в бытность мою учителем/в субботу*. Соотношение частной системы локализации в виде придаточных предложений времени и локализации в виде обстоятельства времени ждет в этой связи своего описания.

Понятия «функциональная грамматика», «функциональное описание языка» и т. п., конечно, не являются в языкознании новыми и в рамках отдельных языковых/национальных обществ имеют свою традицию, так или иначе сказывающуюся на подходе к комплексному описанию языка. Но независимо от различий в национальной традиции, в функционально ориентированном описании (в явном виде, например, при сопоставительном изучении языков) находят отражение методологические приемы, основывающиеся на различении первичных/вторичных функций языковых средств, равно как и первичного/вторичного характера средств, закрепленных за отдельными коммуникативными задачами. Сочетание первичных/вторичных функций средств с первичной/вторичной реализацией функций в наиболее отчетливой форме сказывается при описании синтаксического уровня, в рамках которого реализуются также первичные/вторичные функции лексических средств. Нередко отдельные синтаксические категории и значения соотносятся с рядом лексических средств и синтаксических конструкций, находящихся в отношении синонимии (см., например, описания побудительных предложений, а также разновидностей обстоятельственных значений). Тем не менее в существующих исследованиях не всегда в должной мере учитываются функциональные различия между «синонимичными» средствами (независимо от того, связаны ли эти различия с семантической спецификацией отдельных средств или же с ограничениями формального характера, накладываемыми на употребление средств). В рамках морфологического уровня функциональный подход проявляется обычно лишь в регистрации и характеристике первичных и вторичных функций членов морфологических парадигм, в то время как подход от функций к средствам применения не находит.

Авторы рассматриваемой монографии избрали другой подход. Анализ избранных ими ФСП учитывает все достижения «традиционной» функциональной грамматики, однако он является более глубоким, отчасти благодаря возможностям, предоставляемым авторам формой монографического описания частной проблематики, а не ограниченного объемом комплексного представления основывающейся на понятии ФСП грамматики как целого. Изложение отдельных теоретических проблем в данном случае является подробным, с использованием богатого материала текстов XX и XIX вв. Анализ учитывает все релевантные для данного ФСП аспекты. Показателен в этом отношении анализ ФСП аспектуальности, представленной в монографии как комплекс ФСП, связанных категориальным признаком «характер протекания и распределения действия во времени», т. е. ФСП лимитативности, длительности, кратности, фазовости и перфектности. При их анализе учитывается также их связь с ФСП акциональности, статальности и реляционности, т. е. с основной семантической классификацией глагольных предикатов. Анализируются отношения между ФСП в рамках данной группировки, как более тесные, так и более отдаленные. Выгоднее было бы в данном случае работать с сочетаемостью/несочетаемостью семантических признаков, характерных для разных ФСП (см. с. 43).

Не будем подробно анализировать все содержание монографии, а ограничимся лишь отдельными соображениями. Они возможны отчасти потому, что авторы старались в ходе анализа установить максимально точные условия функционирования отдельных лексических средств, что, конечно, в ряде случаев затруднительно ввиду известной потенциальности, связанной с различиями между тем или другим идиолектом/идиолектами и, таким образом, с некоторой субъективностью интерпретации, которая иногда может иметь лишь относительный характер. Некоторой субъективности не лишены и наши заметки.

В рамках аспектуальности максимальное внимание концентрируется на описании ФСП лимитативности и на анализе семантики предела: внутреннего/внешнего, реального/потенциального, эксплицитного/имплицитного, абсолютного/относительного. Ограниченность/неограниченность действия пределом, направленность действия на предел (результат)/его достижение и другие лимитативные отношения описаны всесторонне, но хотелось бы отметить относительный характер некоторых формулировок. Например, утверждается, что в случае, преднамеренного действия достигнутый результат становится характеристикой того объекта, на который направлено действие, в то время как в случае непреднамеренного действия его результат характеризует субъект указанного действия (с. 58). Однако если речь идет о транзитивных глаголах, непреднамеренный характер действия которых нельзя исключить, результат может затрагивать объект действия, см.: *испачкать что чем, облить кого чем, замарать что и т. п.* (непреднамеренно), т. е. «вызвать факт, что объект X перешел из состояния P в состояние Q».

Основополагающее значение для ФСП аспектуальности имеет проблематика ограниченности/неограниченности действия пределом и направленности/отсутствия направленности действия на предел. Внутренняя дифференциация указанных отношений в рамках ФСП лимитативности закреплена в первую очередь за способами действия (СД). Учитывается также характер самого предела, представленного, например, как общее завершение действия в виде результата или же с указанием различных аспектов результативности в виде количественной, качественной, фазовой

или другой модификации, принимаются во внимание и различия между глаголами, связанные с отсутствием направленности на предел.

Можно согласиться с авторами, что любой глагол СВ является предельным, в то время как среди глаголов НСВ к предельным можно отнести лишь те, которые образуют видовые пары с глаголами СВ. Остальные глаголы НСВ являются в основном непредельными. Среди «видовых» языков (в частности — языков славянских) здесь налицо значительные расхождения. К сожалению, они остались в монографии незатронутыми, хотя, например, ФСП таксиса описано на фоне подробного сопоставления с указанным ФСП в нивхском языке. Дело в первую очередь в том, как широко представлено в том или ином языке образование видовых пар, в частности, вторичных глаголов НСВ, соотносенных с глаголами СВ, что в свою очередь вызвано широтой контекстов, где можно/нельзя употребить глаголы СВ. См., например, парадигматически регулярное образование вторичных глаголов НСВ в болгарском языке (в отличие, например, от чешского, для которого характерны ограничения, накладываемые на образование вторичных глаголов НСВ). Русский язык во многих отношениях близок к болгарскому. Активизация вторичных глаголов НСВ вызвана отчасти запретом на употребление глаголов СВ при обозначении узуальных действий. Но давление, оказываемое на употребление глаголов НСВ, не настолько сильно, чтобы сделать употребление глаголов НСВ в таких контекстах единственно возможным, по крайней мере в сфере форм настоящего времени. В чешском языке, как известно, формы СВ используются свободно и периферийны скорее вторичные глаголы НСВ (часто чешский язык в таких случаях довольствуется первичными глаголами НСВ, абсолютно беспризнаковыми с точки зрения «предельного» характера). И русский язык не избегает употребления глаголов СВ, если узуальность сигнализируется эксплицитно каким-либо лексическим средством и демонстрируется на наглядном примере в виде последовательности действий. Зато жесткие ограничения связаны в русском, как и в болгарском (но не в чешском) с контекстом настоящего исторического или же драматического (сценического, репортажного и т. п.), т. е. с представлением последовательности действий в процессе их реализации. В то время как в одних славянских языках при обозначении единичных действий в контексте настоящего исторического/сценического формы СВ вполне нормальны, т. е. действия могут быть представлены в их завершенности, русский и болгарский языки в данных условиях не допускают формы настоящего времени СВ (исключения вроде *Как закричит!* периферийны).

С указанными ограничениями связана активизация вторичных глаголов НСВ. В приводимом ниже примере мы имеем дело с эксплицитным выражением действий в процессе их реализации, и таким образом можно представить любое однократное действие, т. е. можно выдвинуть на передний план именно процесс реализации: *X отбивает у Y мяч, подбрасывает его Z и тот метким ударом забивает гол в ворота противника*. Указанное представление моментальных действий протекающими на глазах у автора при помощи вторичных глаголов НСВ переносится в область узуальных действий, становясь разновидностью стилизации в виде наглядной процессуальности, с указанием направленности действий на достижение их границы. В ряде случаев там, где в монографии у вторичных глаголов НСВ отмечается только узуальное значение, следовало бы отметить также употребление в рамках настоящего сценического и т. п. См., например, тотальный СД глаголов *избить/избивать* (с. 77), чрезмерно норма-

тивный СД глаголов *переплатить/переплачивать, пересолить/пересаливать* (с. 78) и др.

Признаки, оказывающие влияние на одновидовость предельных глаголов, не имеют абсолютного характера. Если глагол *поскользнуться* отнесен к одновидовым на основании того, что выражает непредвиденность наступления результата действия (с. 72), то такое же непредвиденное наступление предела выражает глагол *стоткнуться*, отнесенный к результативно-тотивному способу действий (СД), тем не менее это не сказывается отрицательно на образовании глагола НСВ *стоткаться*, то же относится и к другим глаголам указанного СД (с. 74). Очевидно также, что границы между отдельными СД иногда не совсем четки. Ср. результативно-тотивное значение глаголов *прийти/приходить* и процессуально-результативное значение глаголов *возвратиться/возвращаться*, а также зыбкие границы между тотальным (приставка *вы-*, с. 77) и качественно-результативным СД (приставка *вы-*, с. 78), между чрезмерно-продолжительным (*за-*) или же чрезмерно-нормативным СД (*пере-*, с. 78) и чрезмерно-длительным (*за-*) и сверхнормативно-длительным СД (*пере-*, с. 81). Можно выразить сомнение по поводу того, характерно ли для глаголов типа *засидеться, заиграться, замечтаться* и т. п. «чрезмерное проявление длительности или интенсивности» (с. 81). В подобных случаях на передний план скорее всего выступает такое «углубление» в действии, которое препятствует своевременному его завершению (см. *заболтаться с кем*, т. е. «провести некоторое время за лишним разговором»). Среди специально-результативных СД недостает вторичных глаголов НСВ: *наварить — наваривать, надбить — надаивать, настричь — настригать, наестся — наедаться* и т. п. (кумулятивный СД *накосить, настирать, наделать* и т. п. отнесен на с. 75 к одновидовым).

Функционирование видов тесно связано с ФСД длительности, выступающей в разновидностях: длительности протяженной, замкнутой (результативной) и длительности сохранения результата, во взаимодействии с темпоральностью и количественностью. Отдельные СД в той или иной мере обусловлены длительностью, т. е. они ее выражают (эксплицитно/имплицитно) или же исключают. В случае эксплицитной длительности целесообразно учитывать, какие семантические признаки доминируют. Например, при делимитативном СД эксплицитный характер имеет не длительность (с. 105), а скорее количественность в собственном смысле слова: *пройтись, вздремнуть, передохнуть* можно *часа два*, но также *немного, чуточку* и т. п. Даже в случаях типа *погулять, поголодать* и т. п. длительность лишь имплицитно, хотя можно указать ее меру: ср. *гулять/погулять часа два* и *гулять/ *погулять весь день. Часа два* при СВ оказывается в одном парадигматическом ряду с *едоволь, немного*, в то время как в сочетании с НСВ *часа два* входит в парадигматический ряд с *весь день* и т. п. Можно задаться вопросом, следует ли различие в сочетаемости и в парадигматических связях отмеченных обстоятельств интерпретировать так, что при НСВ в обстоятельстве актуализируется признак динамичности, в то время как в сочетании с СВ перед нами лишь статическая разновидность протяженной длительности (с. 113). Разновидностью процессуально-динамического обстоятельства в русском языке можно считать *в течение чего*, но также и *за два года* и т. п. — не значит ли это, что ограниченный таким образом отрезок времени целиком заполнен действием?

Нет сомнения, что обстоятельства, связанные с выражением длительности сохранения результата, т. е. *на неделю, надолго* и т. п., сочетаются главным образом с глаголами СВ, в то время как глаголы НСВ выступают

там, где речь идет о действиях узуальных, где представлено настоящее историческое, сценическое и т. п. Но есть и контексты типа *Завтра я уезжаю на два месяца в Москву; Совещание прерывается на 15 минут; Приглашаю тебя на завтра на дачу* и др., а также *На следующий день он на целый месяц отправлялся в горы* и т. п. Отчасти мы имеем дело с глаголами НСВ в контексте, указывающем на перспективный характер действия, отчасти же в контексте с перформативным употреблением НСВ.

Можно согласиться с тем, что обстоятельства времени выражают различную темпоральность, например, *три дня/третий день*. Разница между *три дня* и *третий день* заключается не в их темпоральной (не)характеризованности (с. 116), а в подчеркнутой процессуальной динамичности и в импликации не достигнутого (но ожидаемого) предела, ср.: *Три дня ревели буря* и *Третий день редела буря*. Это различие четко представлено в сфере прошедшего времени, в то время как в настоящем времени оно снято: *Три дня его жду/Третий день его жду*. Отсутствие ожидаемого достижения предела акцентирует наличие частицы *уже*: *Уже три дня его жду* (см. сочетание *уже* с перфектом в случае *Форточка открыта уже очень долго*, с. 199). Славянские языки, по-видимому, отличаются друг от друга широтой употребления признаков типа *третий день* и неспецифицированного *три дня*. Ср. в чешском: *Už tři dny ho čekám/uz třetí den ho čekám* с господствующим *tři dny* и периферийным *třetí den*. По-видимому, аналогично положение в болгарском и в сербохорватском.

К темпорально характеризованным обстоятельствам длительности следовало бы отнести разновидность *всю субботу — весь день, весь январь — весь месяц*. В отличие от обстоятельств *весь день, весь месяц* и т. п., связанных лишь с указанием на продолжительность, и в отличие от обстоятельств *в субботу, в январе* и т. п., связанных лишь с указанием на время, обстоятельства *всю субботу* или же *весь январь, весь прошлый год* и т. п. содержат оба значения: *всю субботу* = «в субботу, причем весь день»/ «весь день, причем в субботу». См. подобное же комплексное значение сочетаний *за субботу, на субботу* и т. п.

Подробно проанализировано в монографии ФСП кратности. Интересно, что областью, в рамках которой славянские языки четко дифференцируются, является область итеративной кратности (неоднократности), в то время как, например, область мультипликативной неоднократности с этой точки зрения не дифференцируется, а область дистрибутивной неоднократности связана в основном с различиями в приставках (русск. *по/пере-*, чеш. *po-*). В рамках дистрибутивной неоднократности было бы целесообразно различать дистрибутивность эксплицитную (*перемыть всю посуду, повытаскивать все вещи* и т. п.) от дистрибутивности, имплицитруемой в контексте (*разлететься. слететься* и т. п.), когда на передний план выступают другие значения приставок.

Среди обстоятельств неоднократности можно разграничивать такие разновидности, как «сколько раз», «в который раз» и «как часто». Разновидность *второй (третий...)* раз указывает на конкретное/единичное действие и его место в последовательности других действий сходного характера, в то время как *два (три...)* раза указывает не на конкретное действие, а на множество однородных действий и неоднократность здесь суммирована. Разновидность «в который раз» не исключает актуальное настоящее НСВ, т. е. наблюдаемость действия в процессе его реализации, в отличие от разновидности «сколько раз».

Кратность как внутреннее свойство действия и кратность как свойство ситуации существенным образом отличаются друг от друга и свободно со-

четаются друг с другом. В примере *Алексей и Никола* ... *время от времени вскрикивали «ну-ну»* (с. 138) мы имеем дело не с «многоактным глаголом», а с повторяющейся ситуацией (ср. в чеш. обычное *Občas vykřikli* и т. п.).

Установить контекстуальные запреты, например, на сочетание обстоятельства длительности с дистрибутивными глаголами, несомненно, очень трудно. Тот факт, что существует возможность сочетания *За короткое время/за час/ за неделю лисица перетаскала соседских цыплят*, но вряд ли возможно *За длительное время лисица перетаскала всех цыплят* (с. 139). свидетельствует о том, что здесь помимо некоторые пресуппозиции, с которыми нужно считаться. Приведенный выше пример становится приемлемым, как только добавляется частица *только/лишь* (*Только за длительное время лисица перетаскала всех цыплят* — по видимому, цыплят было очень много) или же модифицируется объект (*За длительное время лисица перетаскала всего половину цыплят*)

Трудно согласиться с тем, что «... в принципе индивидуальных представителей совокупного плана/сирконстанта должно быть не меньше трех» (с. 142), так как молно сказать *Я сразу увидел все три самолета*, но не *все два самолета*. Дистрибутивные глаголы в собственном смысле слова сочетаются, по-видимому, только с указанием на полный охват всего множества, но без указания точного количества: можно *перечитать все книги в библиотеке*, но если речь идет о количестве 10 книг, то сочетается *все десять книг* связано, как правило, с *прочитать*. В этом контексте *все десять (все три ...)* входит в парадигматический ряд не с *все два/две*, а с *оба/обе*, т. е. *оба/обе* «все два/две», а сочетания *три* и выше передают указанное значение аналитически, при помощи *все*.

Итеративная (дискретная) неоднократность связана с политемпоральностью, но не с тождественностью актантов (с. 144, 152) — этот признак является для итеративных глаголов нерелевантным: *Мальчик каждое лето ездит к бабушке* не исключает, что он ездит поочередно к двум бабушкам. В случае *Я каждое лето провожу на море море* представляет не определенное более точно множество, частей которого касаются отдельные конкретные, индивидуализированные ситуации. Не исключено, конечно, что актанты/сирконстанты некоторых ситуаций тождественны.

Важную роль в выражении итеративного значения играют обстоятельства, входящие в ФСП кратности. В монографии выделяются обстоятельства цикличности (*Я вставал в четыре часа утра...; В этом каюте Елена ездила в театр вечером*), обстоятельства интервала (*иногда, часто*) и обстоятельства usualности (*обыкновенно, всегда*). С точки зрения сигнализации неоднократности обстоятельства типа *в четыре часа, вечером* и т. п. являются абсолютно беспризнаковыми, данный признак для них нерелевантен. Зато он выступает на передний план в случаях типа *по вечерам, вечерами, по субботам* и т. п. Противопоставление *вечером — вечерами/по вечерам*, характерное для русского языка в отличие, например, от чешского, в некоторой степени возмещает отсутствие в русском языке продуктивно-го СД, представленного в глаголах *сигнать, хаживать*.

Детально описано в монографии ФСП фазовости. Следует уточнить, что не только *переставать* и *продолжать* могут быть интерпретированы посредством глагола *начинать* как более элементарного (*переставать* = «начинать не», *продолжать* = «не начинать не», с. 153), но также и *начинать* можно интерпретировать посредством *переставать* или же *продолжать*, т. е. *начинать* и *переставать* образуют диалектическое единство: *переставать* = «начинать не», *начинать* = «переставать не». Логической импликацией *начинать* является отсутствие ситуации, завершение (не-

переход к завершению) которой связано с *начинать*, в то время как *переставать* подразумевает наличие ситуации, предел (достижение предела) которой сигнализирует *переставать*. С этой точки зрения *продолжать* равно как «не начинать не», так и «не переставать».

Интересны наблюдения над синтаксическими запретами-ограничениями, накладываемыми на фазовые глаголы с начинательным значением, например, редкое употребление императива глаголов с *за-* (с. 159). Повидимому, такого же рода ограничения связаны с употреблением начинательных глаголов с *по-*. Объяснить это явление можно, если учесть, что императив НСВ имплицитно подразумевает переход от «переставать не-Х → начинать Х» — особое указание на начало действия оказывается избыточным. Конфикс *раз — ся*, связываемый с интенсивностью, превышающей норму (с. 161), скорее указывает на переход в состояние, связанное с достижением такой степени интенсивности данного действия, которая для него характерна.

Сложный вопрос представляют собой контекстуальные значения *стану* + инф., т. е. осложнение начинательного значения значениями модальными в случае негации или же утрата начинательного значения. Так, в высказывании *Цымбал достал... плитку шоколада..., подал девушке. Она не стала отказать ся, отломала две дольки...* (с. 166) «модальность» значения заключается в несовпадении ожидания («станет отказываться/откажется») с действительностью (*не стала отказываться*, наряду с возможным *не отказалась*). Такое же несовпадение налицо в случае значения «перестать»: *Семенов не стал более разговари в а т ь. Несчастный отошел в сторону* (с. 178) — ожидание: «станет еще/ снова разговаривать». Ср. в чешском в обоих случаях простой глагол с отрицательной частицей: *Divka neodmítla, Semen ov už/|víc nic neřík al.*

Весьма затруднительно в целом ряде случаев установить точные условия употребления той или другой формы, ее сочетаемости с лексическими средствами. Можно, например, согласиться с тем, что при выражении статально-перфектного значения наблюдается следующая закономерность: причастия страдательного залога типа *закрыт, уволен, построен* и т. п. сочетаются с обстоятельствами временной протяженности (*целую ночь, два дня, долго* и т. п.) в тех случаях, когда они обозначают преходящие, легко сменяемые состояния, но если состояние необратимо, то такая сочетаемость исключена: **Он убит два дня, а следствие еще не началось* (с. 199). Вместе с тем вопрос кажется еще более сложным. Например, чешски можно сказать *Už dva dny je/máme prase zabité, a hosté, nejdou* «Два дня уже у нас кабан зарезан, а гостей все нет», но не *Už dva dny je N zabité a vyšetřování ještě nezačalo*, т. е. *zabitý (utopený, zastře lený...)*, соотношенное с человеком, в статальном значении не употребляется, за исключением контекстов, где констатируется просто смерть в результате какого-либо действия. См. возможное *Už dlouho je kniha napsaná, stať odeslaná do redakce* и т. п. В русском языке в данном случае эквивалентом чешского *dlouho* является *давно*: *Давно уже книга написана* и т. п. Аналогично соотношение чеш. *Už dva dny je kniha napsaná* и русск. *Уже два дня как книга написана*.

Можно указать на относительный характер формулировки о том, что в рамках ФСП временной локализованности СВ «обнаруживает тенденцию к сочетаемости преимущественно с признаком Л», особенно в формах прошедшего времени: **Он часто ошибся* (с. 227) — ср. свободное употребление СВ в западнославянских языках, за исключением польского. Гла-

голы со значением мультипликативной неоднократности, в том числе *покрикивать*, не исключают временную локализованность (с. 228) — см. характеристику мультипликативной неоднократности как монотемпоральной на с. 133 и сл. Не исключают в принципе временную локализованность глаголы вроде *ротозействовать*, *лукавить* и др. с оценочно-характеризующим значением (с. 228) — см. возможное *Не ротозействуйте и пишите!* (учитель — в школе); *Что это он вчера лукавил и...?* и т. п.

Раздел о ФСП таксиса содержит целый ряд детальных наблюдений, затрагивающих семантику и структуру ФСП, а также средства, реализующие разновидности зависимого/независимого таксиса. Главное внимание уделяется функционированию деепричастий, а также соотношению предикатов в рамках сложного предложения. В стороне остались номинализованные конструкции с отглагольными существительными, а также причастия. Встает вопрос, где проходит граница между зависимым и независимым таксисом. С морфологической точки зрения, конечно, к зависимому таксису придется отнести лишь деепричастия или же причастия, а отношения в рамках сложного предложения описывать как независимый таксис. Но зависимость/независимость действий в виде одновременности/разновременности находит эксплицитное выражение также в форме придаточных предложений временных (в отличие, например, от каузальных и т. п., лишь имплицитно указавшие отношения; в монографии они стоят в одном ряду с придаточными временными, см. с. 275 и сл.), причем для ряда языков (в том числе славянских) придаточные предложения времени, наряду с конструкциями с отглагольными существительными, являются средством основным.

Отдельные формулировки кажутся слишком категорическими — см., например, интерпретируемое в рамках разновременности *Все весело разговаривали, когда вдруг раздался выстрел* (с. 244); действие можно интерпретировать как прерванное в своем естественном протекании, но можно себе представить и продолжение: *В зал вбежал хозяин, но никто не обратил на него внимания...*, т. е. перед нами одновременность, аналогичная, например, *Гуляли мы по лесу, когда вдруг она спросила*, т. е. «когда (вдруг) она спросила, мы как раз гуляли по лесу», а также «когда раздался выстрел, все как раз весело разговаривали» и т. п. На фоне не завершенного пределом действия реализуется предельное — однократное — действие. См. на с. 276 отмеченную в рамках таксиса «одновременность процесса и целостного факта», например, *Он спокойно выздоравливал, когда неожиданно позвонили из больницы и сказали...*

В некотором уточнении нуждается понятие временной обусловленности в рамках таксисных ситуаций, включающих элементы семантики обусловленности (с. 267 и сл.). Речь идет об «обусловленности объективного времени совершения основного действия временем осуществления второстепенного» (там же). Такое соотношение можно обнаружить в случае *Рассматривая могилы на кладбище, натолкнулся я на почерневшую урну*, т. е. тот факт, что я натолкнулся на урну, объективно связан с рассматриванием могил, но связь между действиями в высказываниях *Будучи учеником восьмого класса, я написал статью; Любовь я предчувствовал еще зимой, выходящая после скарлатины; Засыпая, Сваагер думал о неожиданном появлении книжки* и т. п. лишена объективного основания, точно так же, как в высказывании *Я постоял некоторое время на дороге, смутно предаваясь чувству...*, отнесенном к таксисным ситуациям без семантики обусловленности (см. с. 258 и сл.), равно как и *Производя в уме сложное арифметическое действие, я вычислил...* (с. 260), где, наобо-

фот, можно было бы говорить о временной обусловленности. Дело, по-видимому, в том, что в тех случаях, когда на передний план выступают временные связи в собственном смысле слова, «обусловленность» не является для данных отношений релевантной, хотя ее импликация в том или другом случае не исключена, т. е. на переднем плане в данном случае находится лишь временная локализованность одного действия посредством другого. Эксплицитный характер она имеет только там, где можно говорить о внутренней зависимости, т. е. о каузальности в широком смысле.

Можно уточнить наблюдение, что в случае сложносочиненных предложений с противительными союзами типа *но, а, же* значение следования действий во времени блокируется (с. 280) — ср. возможное *Я ему предложил зайти туда, а/но он отказался; Я же напоминал тебе об этом, а/но ты забыл* и т. п.

В свете сказанного представляется, что монография является не только началом очень тонкого описания русского языка, но способна также стать надежной основой для сопоставительного изучения языков, в том числе славянских, на материале которых теория ФСП получила бы, несомненно, плодотворное применение и принципиально обогатила бы наши представления о сходстве и дифференциации их систем.

© 1990 г.

ОРЕЛ В. Э., СТОЛБОВА О. В.

К РЕКОНСТРУКЦИИ ПРААФРАЗИЙСКОГО ВОКАЛИЗМА

Настоящая работа представляет собой 3-ю и 4-ю части исследования, цель которого — реконструкция афразийской системы гласных (начало работы см. [1]). Авторы признательны И. М. Дьяконову, критика которого способствовала разработке рассматриваемых ниже проблем, А. Г. Беловой за консультации по арабскому языку, а также В. А. Дыбо, С. А. Старостину и Ю. А. Хелимскому, ознакомившимся с первоначальным вариантом части 3.

3. Семитско-чадские соответствия в области глагола

В системе семитского глагола практически все огласовки форм непосредственно обусловлены грамматическим значением и, тем самым, непригодны для целей нашего исследования. В южносемитском (арабском) имеется, однако, одно существенное исключение: в целом немотивированными являются огласовки 2 го слога в арабском имперфекте (где возможны *-a-*, *-i-*, *-u-*, выбор которых, видимо, не зависит прямо от семантики и морфонологии глагольной основы; особым случаем следует считать лишь корни с *-w-*, *y*, при которых почти регулярно встречается огласовка *-u-*, *-i-*) и огласовки некоторых масдаров (см. [2, с. 101])¹. При этом нерелевантными оказываются масдары, приобретшие значительную вторичную продуктивность (типа *qatl-*, *qutl-* и т. п.). Ниже мы приводим список релевантных с точки зрения вокализма масдаров в принятой нумерации (по [3, с. 67–70]):

2 <i>qitl-</i>	13 <i>qitl at</i>	22 <i>qitl-ay-</i>	32 <i>qitl-ān-</i>
3 <i>qutl-</i>	12 <i>qutl at</i>	23 <i>qutl-ay-</i>	31 <i>qutl-ān-</i>
4 <i>qatal-</i>	14 <i>qatal at</i>		33 <i>qatal-ān-</i>
5 <i>qital-</i>			
6 <i>qatal-</i>	16 <i>qatal at</i>		
7 <i>qatil-</i>	15 <i>qatil at</i>		
8 <i>qatāl-</i>	17 <i>qatal-at</i>		
9 <i>qatāl-</i>	18 <i>qatal-at</i>		
10 <i>qitāl-</i>	19 <i>qital-at</i>		
24 <i>qatūl-</i>			
25 <i>qatīl-</i>	28 <i>qatil-at-</i>		
45 <i>qittīl-</i>			

¹ Согласно точке зрения, принятой со времен Средневековья, названные формы мотивируются грамматико-семантическими характеристиками корня. Такую трактовку (типологически вполне допустимую), как представляется, невозможно ни окончательно доказать, ни полностью опровергнуть. В настоящем разделе мы намеренно отвлекаемся от возможности семантической мотивации и рассматриваем глагольные огласовки только в их фонетическом и морфонологическом аспектах.

Для сопоставления южносемитского материала с чадским существенно то обстоятельство, что для чадского (в рамках реконструкции по группам чадских языков) оказывается возможным восстановление утраченных гласных 2-го слога, в отличие от [4], где реконструируется только гласный 1-го слога. Ниже, с целью экономии места, мы приводим только таблицы соответствий вокализма 1-го и 2-го слогов в чадских языках. Как можно видеть, гласный 2-го отразился в исторически засвидетельствованных формах как «умлаут» корневого гласного.

Как показывает материал, в западночадском действует ограничение на сочетаемость гласных 1-го и 2-го слогов: в корне не допускается наличие одновременно двух дифтонгов, т. е. старых гласных среднего подъема. Аналогичное ограничение можно со значительно меньшей уверенностью предположить и для центрально- и восточночадского, где, однако, картина существенно осложнена предполагаемыми вторичными регрессивными ассимиляциями.

Ниже мы намерены показать, что в трехгласных корнях арабский гласный имперфекта соответствует чадской огласовке 2-го слога, в то время как 1-й гласный арабского масдара соответствует чадской огласовке

Западночадский ²

3-чад	Хауса	Ангас	Болева	Варджи	Зар	Рон	Нгизим
и — а	с	а ¹	а ²	с	а ³	а ⁴	с/ə
и — и	а	и ⁵	а ⁶	и	(и)	о ⁷	а/ə
а — wa	(и)а	а	(w)и ⁸	а — wa	(w)а	и	а
а — и	а	и	а	и	а	а ⁹	а
а — ya	а	ya ¹⁰	(y)а ¹¹	а	а	ya ¹²	—
wa — а ¹³	а	(w)а	а	а	wa/wu	а ¹⁴	а
wa — и	(w)а ¹⁵	(w)а	и	а	(w)а	wa ¹⁶	а
wa — и	а	(w)а	и	и/е	и	и	а
и — а	и ¹⁷	(w)а — а ¹⁸	а	и	и	а ¹⁹	а/ə
и — ич	и — а	иа	(о)	и	(w)и	о	—
и — и	и ²⁰	и	и	и	и	и ²¹	—
и — и	—	—	и	и	—	(и)	—
и — ya	и	ya	и ²²	и	и	ya ²³	а
' — а	'	и	(а)	—	(а)	(и)	(а)
' — а(С)	и	а ²⁴	а ²⁴	а ²⁴	—	а ²⁴	ə
' — wa	и	и	а	а	и	(wi)	—
' — и	и	и	и	и ²⁵	и	и	—
и — и	(ə)	и ²⁶	и	и	и	—	ə
и — ya	и	—	—	а	—	—	ə/i
ya — а	(y)а	y(а)	ya	—	е	ya	а
ya — и	ya	ya	а	и	е	(ya)	а
ya — и	(а)	—	и	и	—	ya	а

Комментарии. 1) Сочетание *а'а —> *ауа —> е. В корнях с 3-м губным CaCaP —> CaCaW —> CaCu-. 2) При эмфатическом согласном здесь и далее *а —> тангале е. 3) При губном *а —> о/и. 4) При губном и эмфатическом *а —> о. 5) При среднем *у в языке ангас — и. 6) В тангале — и. 7) В ша — а. 8) В тангале — и, перед *у — о. 9) При среднем *у в фьер — о. 10) При среднем ларингале в 1-м слоге сура ya. 11) После ларингала — и. 12) Кулере yo. 13) При среднем *w — хауса ə, ангас, болева, варджи и. 14) В кулере — wo, в дафо-бутура и фьер после эмфатического — о. 15) После велярных спорадически wa дает ə. 16) После велярных wa —> а, в остальных случаях и. 17) Перед w и ларингалами и — ə. 18) Сочетание *и'а —> *иуа —> е. 19) Сочетание *и'а —> и. 20) Перед w < f имеем ə. 21) Дафо-бутура ə. 22) В нгамо а. 23) Сочетание *и'уа —> (y)и. 24) При среднем *w а —> wa. 25) Перед *w и —> и. 26) В ангас и/и.

² Списки западночадских языков см. в [4].

(1 — тера, гаанда, габин, бога, 2 — бура, килба, марги и др., 3 — хиги, фали и др., 4 — мандара, гудуф, накатца (?) и др., 5 — гисига, мунджук, муктеле и др., 6 — даба, 7 — сукур, 8 — бата, пзанги, фали мучелла и др., 9 — логоне, будума, 10 — музгум, 11 — гидар, 12 — ламе, маса, банана, мосмо.)

Ц чад	1	2	3	4	5	7	9	10	12
a — a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
a — u	(u)	a	a ¹	a ¹	a ¹	u ¹	a	—	—
a — wa	—	u ⁵	a/u ⁶	u ¹	a ¹	u	a	—	—
a — i	i	i	—	(a)	a/i ⁸	—	a/e ⁹	i ¹⁰	—
a — ya	e	—	(a)	—	—	—	(e)	a ¹⁰	—
wa — a	—	(wa)	a/u ¹¹	(u)	a	a	(a)	o/a ¹⁰	(o)
wa — u	wa ¹²	u	(w)u ¹¹	u ¹¹	a ¹	—	(w)u	—	u
wa — i	wa ² /e	(w)u	(wi)	—	wa/i ¹⁶	—	u/wi ¹⁶	wa	—
u — a	a	u	u ¹⁸	u ¹⁸	u	u	u	u	o/u ¹⁹
u — w	u ⁰	u	a/u ¹¹	a/u ¹	a/u ²¹	u	a/u ²²	—	—
u — u	u	(w)u	u	a	u	—	(w)u	u	u
u — i	i ²³	i/u ²⁴	u	u	—	u	i ²⁵	—	—
u — ya	e ²⁰	—	(u)	—	—	—	—	—	(u)
i — a	—	(a)	—	—	—	—	(i)	—	—
i — wa	i	(w)u	—	u/i ¹	—	i	—	—	—
i — u	—	u	i/u	—	u/i ²⁸	—	u/i ²⁹	—	—
i — ya	i ³⁰	—	i/u ¹	(i)	a ³¹	—	—	—	—
ya — a	—	—	—	—	—	—	—	a/e ³¹	e
ya — u	—	(u)	e/a	—	—	—	e ³²	e ³³	—
ya — i	e/a	e/i	i	—	—	—	—	—	(a)

Комментарии. Дни центральночадского реконструкция менее надежна из-за редукции гласного 1-го слога. 1) Рефлексы только в капсика и хиги гье. 2) В мандара, глауда, зегвана. 3) Рефлексы только в аига, при гуоном > o. 4) В гуду — a. 5) В мбара — o. 6) В хиги балла, хиги гье — u, в фали-кирия — a. 7) В глауда — a/u. 8) В накатца — (w)/a. 9) В мунджук, балда — i, в гисига, мофу — a. 9) В пзанги, гуду — e, в фали-джиливу, бата — a. 10) Рефлексы только в будума. 11) В хиги-вафа — a, в капсика — u. 12) В хона, габин — o. 13) *wi* — после губного или велярного. 14) В мандара, глауда — u, и зегвана — a, в накатца — wo. 15) В балда — wi, в гисига, мофу — wa. 16) В бата, фали-джиливу — wi, в гуду, фали мучелла — u. 17) При среднем *w* в хиги балла — a. 18) В накатца — o. 19) В ламе — u, в мосмо, пезе — o. 20) В габин — o. 21) В мофу — a, в балда — o. 22) В фали-джиливу — a, в фали-мучелла — u. 23) В бата, фали-джиливу — i. 24) В бура, чибак — u, в марги — i, в бура — i перед лафитиком. 25) В гуду — u. 26) В хона — a. 27) В мандара, зегвана — u, и глауда — i. 28) В гисига, мунджук — u, в балда — i. 29) В фали-джиливу — i, в фали мучелла, батама — u. 30) В хона — ye после². 31) В логоне — e, в будума — a. 32) Рефлексы только в гуду и батама. 33) В логоне — e/a.

1-го слога. Что касается 2-го слога двусложных масдаров, то он непоказателен, за исключением масдаров 10, 19, в которых 2-й гласный, видимо, отражает старое состояние, в то время как гласный имперфекта является инновацией.

А. Гласные в арабском имперфекте и их чадские соответствия

Араб. a — чад. *a (< a.-a. *a)

1. Араб. *šim* «быть ненасытным», -a-, 17 [5, с. 870]³ — з.-чад. *Vt-

³ Источником информации относительно арабских огласовок нам служили [5] и [6]. Следует отметить, что эти авторитетные словари вторичны по отношению к арабской лексикографической традиции и далеко не полностью отражают многообразие арабских грамматических форм. Будучи не в состоянии извлечь соответствующую информацию из арабских толковых словарей во всей ее полноте, авторы были вынуждены ограничиться указанными справочниками.

(1 — сомрай, 2 — тумак, 3 — ндам, 4 — нанчере, 5 — доле, 6 — габри, 7 — кабалэй, 8 — кера, 9 — кванг, 10 — муби, 11 — биргит, 12 — дангла, 13 — мигама, 14 — джегу, 15 — бидия, 16 — мокилко, 17 — сокоро)

В.-чад.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a — a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
a — wa	a	a	a	o	u	o	o	a ¹	a	a ²	o	o	o	o	o	o	o
a — u	u	u ³	u ³	a	u	u	a	a	o/u	o	a	o	o	a/u	—	u	a
a — i	a	i	—	a	—	—	i	o?	—	e/a	e	a	a	i	—	a ¹	a?
a — ya	ay	o	a	a	a	o/a	a	o	o	e	—	e	e	a	e	a/o	o
wa — a	wa	a ¹	wa	a	a	o?	o	a	o	o/a	a	a	o	o	—	u	o/u
wa — u	o	a	—	o	—	—	u	a	a	o	u	—	u	—	—	—	o/u
wa — i	o	—	—	—	—	—	—	wa	a	wa	—	—	—	—	—	wa	—
u — a	u/o	o	u	u	u	—	u	u	u/a	u	a	—	u/a	—	—	—	a
u — wa	u	—	u	—	u	u	wa	o	—	u/o	u	u	u/o	u/o	u	—	o
u — u	wə	u	u	u	u	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
u — i	u	u	—	u	—	—	—	u?	e	—	—	—	—	—	—	i?	—
u — ya	e?	u?	—	—	o	—	u	e	e	—	—	e	u	u	—	—	o
i — a	a	a	i	e	i	—	a	a	—	i	—	—	e	—	—	i/e	—
i — wa	o	a	—	—	o	—	—	—	u?	—	o	o	—	—	i	i	—
i — ya	i	—	—	—	—	—	—	i	e	i	—	e	e	—	e	e	—
i — u	i/u	—	—	—	—	—	—	—	e	—	—	e?	—	—	u	u	i.
ya — a	e	a	a	e/a	—	e	a	—	a?	e	—	e	—	e	—	e	—
ya — u	e	—	—	a	—	—	—	o	—	—	—	—	—	u	—	—	—
ya — i	ya	—	—	—	i/e	—	—	—	e	—	e	—	—	—	i	—	i

Комментарии. 1) В закрытом слогe $a > o$. 2) После эмфатических $a > e$
3) В закрытом слогe $u > o$. 4) После $a > o$.

«есть» (паа *ṯma*); ц.-чад. **ham*- тж. (будума *ham*, даба *həti*, мусгой *ham* «жевать»); в.-чад. **Ham*- тж. (кера *hamɛ*, сомрай *ḥm*).

2. Араб. *bʿg* «разрезать, вырывать», -а-, 1 [5, с. 37] — з.-чад. **baka(k)*- < **baka(k)*- «разрезать, раскалывать» (ангас *bak*, сура *bāk*, фьер, ша *bāk*, бокнос *bāk*).

3. Араб. *bḥr* «обрабатывать землю; разрезать ухо у верблюда», -а-, 1 [5, с. 21] — з.-чад. **bVHar*- «резать» (тангале *bḥr*, галамбу *bār*, кария, мяя, варджи, *mbar*, дири *mbara*).

4. Араб. *shn* «ломать», -а-, 1 [5, с. 314] — ц.-чад. **sanaH*- «резать» (мусгум *saʒ*).

5. Араб. *kʿr* «гнать, толкать», -а-, 1 [5, с. 698] — з.-чад. **kuHar*- «гнать» (хауса *kḏrā*).

6. Араб. диал. *ndh* «звать», -а-, 1 [5, с. 816] — ц.-чад. **nVdah*- «говорить» (мандара *ndaḥa*).

7. Араб. *zuy* «перебивать», -а-, -i-, 1 [5, с. 304] — ц.-чад. **zuyam*- «спрашивать» (логоңе *zāmā*).

8. Араб. *brʿ* «выздоровливать», -а-, 2 [5, с. 25] — з.-чад. **HVbar*- тж. (сура *bār*, ангас *bār*, чип *bar*). В чадском имеет место метатеза ларингала.

9. Араб. *nsʿ* «расти», -а-, -u-, 1, 26 [5, с. 825] — з.-чад. **ṣaH*- тж. (варджи *ṣa*, ша *ṣoḥo*).

10. Араб. *wdʿ* «класть, располагать», -а-, 1 [5, с. 929] — з.-чад. **daw*- «садиться, класть» (болева *dḏw*, карекаре *dāwī*, дера *dūwḏ*, нгизим *dāwū*).

11. Араб. *nhm* «харкать», -а-, 1, 4 [5, с. 813] — ц.-чад. **naHam*- «плевать» (бата *nāmūé*).

12. Араб. *lhs* «лизать», -а-, 1 [5, с. 744] — з.-чад. **laHas-* тж. (хауса *lāsā*).
13. Араб. *hly* «создавать», -а- [5, с. 177] — з.-чад. **lak-* «рождать» (сура *lāak*).
14. Араб. *thm* «быть испорченным (о мясе), плохо пахнуть», -а-, 4, 17 [5, с. 58] — з.-чад. **taHam-* > **l(a)ḡam-* «плохо пахнуть» (хауса *čami*, варджи *čamə*, кария *təm*, мбурку *cam*, мий *tama*).
15. Араб. *brh* «покидать», -а-, 4, 8 [5, с. 26] — з.-чад. **H[a]-bar-* «покидать, убежать» (тангале *bar*, галамбу *bār*, гера *bōr-*, варджи *var*); ц.-чад. **bar-* «бежать» (фали-джилбу *vāru*).
16. Араб. *f'l* «делать», -а-, 1, 8 [5, с. 595] — з.-чад. **paHal-* «заставлять» (тангале *peel*).
17. Араб. *dnh* «медленно идти, неси груз», -а-, 33 [5, с. 211] — в.-чад. **danaH-*/**daHan-* «следовать, уходить» (джегу *da*), мокилко *dānə*).
18. Араб. *whb, yhb* «давать», -а-, 4 [5, с. 973] — з.-чад. **hVwab-* «брать/давать в долг» (сура *hwor, hor*).
19. Араб. *ʿdd* «вцепиться зубами», а-, 1, 9, 25 [5, с. 501] — з.-чад. **wačāč-* «кусать, есть» (хауса *gɔca*, ангас, сура *al*, кулере *wod*, кирфи *āḏḏū* (далее см. [4, с. 227]).
20. Араб. *b's* «быть несчастным», а-, 3, 26 [5, с. 181] — з.-чад. **b[wa]ʿ-as-* «быть плохим» (дири *basa*, мбурку *mbasosə*, паа *basa-n*, цагу *bašī-n*).
21. Араб. *gm'* «встретить(ся)», а-, 1 [5, с. 90] — з.-чад. **gwama(H)-* тж. (хауса, *gāmi*, ангас *grom*, монгол *kwam*, болева *gom*, карекаре, баде *gam*).
22. Араб. *h!'* «идти», а-, 1, 26 [5, с. 898] — з.-чад. **hwaṭa(H)-* тж. (карекаре *ʿeeti*, тангале *wato*, перо *wat*, кпр *wād*, зем *witə*, саянчи *wət*, дафобугура *hal*); ц.-чад. **hwata* «повертываться» (маса *hota*).
23. Араб. *su'* «представлять(ся) (в мыслях)», -а-, 3, 26 [5, с. 344] — в.-чад. **swana-* «знать» (мокилко *suun*, тумак *han*); ц.-чад. **suna-* тж. (даба *sun*).
24. Араб. *ḡr* «быть очевидным, ясным; появляться» -а-, 26 [5, с. 88] — ц.-чад. **ḡār-* «показывать» (килба *ačār*), но ср. араб. *ḡhr-* «полдень».
25. Араб. *hbg* «бить палкой», -а-, 1 [5, с. 879] — з.-чад. **HVbag-* «бить» (ангас *bak*); ср. хауса *būga* тж. < **bugaH-*.
26. Араб. *hb'* «прятать, сохранять, держать», -а-, 1 [5, с. 148] — з.-чад. **hubaʿ-* «держать» (нгамо *ngar*, болева *gwəb*, бурум *kubye*, польчи *gibūn*, двот *kəbiy*).
27. Араб. *ft'* «бросать (на землю)», -а-, 1 [6, с. 2414] — з.-чад. **fuʿat-* «бросать» (сура *fwat*, болева *fatt*).
28. Араб. *bu'* «начинать», а-, 1 [6, с. 163] — з.-чад. **budaʿ-* «открывать» (хауса *būḏr*, ангас *bat, bet*, карекаре *bāḏāa*, с нерегулярностью — болева *biḏè*, нгамо *biḏa*); в. чад. **badaH-* «начинать» (муби *bāḏā*).
29. Араб. *sh'* «зарезать», а-, 1 [5, с. 313] — з.-чад. **siHaṭ-* «резать, заострять» (хауса *šitta*, болева *soll*, нгизим *səṭū*).
30. Араб. *'lq* «быть привязанным», -а-, 4 [5, с. 519] — з.-чад. **lak-* «развязывать» (дери *lake*).
- Араб. *u* — чад. **wa* ('а.-а. **o*)
31. Араб. *hgl* «бросать», -а-, 1 [5, с. 884] — з.-чад. **gwal-* тж. (тангале *kwal*, галамбу *ḡwal*, гери *ḡwat*).
32. Араб. *hgl* «ходить вирипрыжку», -а-, -и-, 1 [5, с. 105] — з.-чад. **g[wal]-* «бежать» (ша *gal*); в. чад. **gwal-* «пересекать» (мобу *ogole*).
33. Араб. *nkb* «наклонить (сосуд)», -а-, 1 [5, с. 860] — ц.-чад. **kwab-* «гнуть» (будума *kobé-hi*).

34. Араб. *'bd* «быть толстым», -а-, 4, 14 [5, с. 471] (-а- является закономерным отражением афразийских огубленных гласных после *b*; имперфект на -и- в данном случае вторичен) — ц.-чад. **bV-bwal-* «большой» (мусгум *bobolo*); в.-чад. **bV-b[wa]l-* тж. (кера *bòblò*).

35. Араб. *hml* «определять, думать», -и-, 1 [5, с. 180] — з.-чад. **Ham-wan-* «знать» (сура *tan*, атап, болева *mòni*, були *tan*).

36. Араб. *mql* «смотреть», -и-, 1 [5, с. 779] — з.-чад. **kwal-* «страстно смотреть» (хауса *kwàlkwàl*).

37. Араб. *nqr* «оскорблять», -и-, 1 [5, с. 854] — з.-чад. *hakwar-* «быть сердитым» (шаа *akwar*, сири *akur*, джимбин *kwar*).

38. Араб. *nʒr* «видеть», -и-, -а-, 4 [5, с. 839] — ц.-чад. **ʒwar-* тж. (зап. марги *ʒəwrə*).

39. Араб. *znn* «думать», -и-, 1 [5, с. 487] — з.-чад. **čamwan-* «думать, помнить» (хауса *čəmmāni*, ангас *čan*, карекаре *čwan*).

40. Араб. *thk* «давить», -и-, 1 [5, с. 56] — з.-чад. **takwa(k)-* тж. (хауса *tākà*, боккос, дафо-бутура *tuk*).

41. Араб. *qšr* «снимать кожуру, шелушить», -и-, -и-, 1 [5, с. 638] — з.-чад. **kašwar-* «скрести, снимать кожуру» (хауса *kwāsarà*).

42. Араб. *qwb* «таять», -и-, 1, 33 [5, с. 226] (-w- вторично из *⁻- перед губным гласным?) — з.-чад. **zāwab-* «лить» (дера *ʒòbè*).

43. Араб. *dr* «литься (о ливне)», -и-, -и-, 1, 26 [5, с. 193] — з.-чад. **du'war-* «лить» (хауса *dūrà*, тангале *der*, польчи *durəw*).

Араб. *u* — чад. **u* (< а.-а. **u*)

44. Араб. *hrg* «выходить, выгонять», -и-, 26 [5, с. 155] — з.-чад. **rug-* «выгонять» (хауса *rāga*, нгизим *rəgù* «переселяться»).

45. Араб. *dhk* «толочь, утрамбовывать», -и-, 1 [5, с. 205] — з.-чад. **daku-* «толочь» (хауса *dāká*, болева *dak-*, тангале *tug-*); ц.-чад. **daku-* «бить» (логоне *tku*, мбара *dāk* «трамбовать»).

46. Араб. *zqm* «глотать», -и-, 1 [5, с. 293] — з.-чад. **zVqim-* «лизать» (мбурку *n-zəqun* с ассимиляцией по начальному *n-*).

47. Араб. *mʒl* «выливаться по каплям», -и-, 1, 26 [5, с. 773] — з.-чад. **čul-* «лить» (хауса *čūlà*).

48. Араб. *nšf* «впитывать», -и-, -а-, 1 [5, с. 828] — з.-чад. **čur-* «сосать» (кирфи *šūppù*, гера *čūfù*).

49. Араб. *nḥ* «склоняться, опускаться», -и-, 1 [5, с. 811] — з.-чад. **naḥu(h)-* «падать» (ангас *gu*, тангале *uge*, *uk*, гера *gdo*, дири *ngya*, гурунтум *ga* «садиться», кулере, фьер *ḡu*, нгизим *və-gù*).

50. Араб. *dhl* «входить», -и-, 26 [5, с. 191] — з.-чад. **dyaHul-* «входить, идти» (сура *del*, монтол *del*, чип *déel*, дири *duli*, геджи, польчи *déli* «выходить»); в.-чад. **dVHul-* «входить» (леле *dòel*, джегу *dul* «приходить»).

51. Араб. *nbl* «метать (стрель)», -и-, 1 [5, с. 800] — з.-чад. **mVbul-* «выкинуть» (болева *'umbul*), ср. араб. *nabl-* «стрела».

52. Араб. *tnh* «задерживаться (в каком-либо месте), обитать», -и-, 26 [5, с. 58] — з.-чад. **tinuq-* «сидеть» (сура *tòq* «оставаться на месте», карекаре *tiḡg-*, кирфи *tiḡgù*, галамбу *tungw-*).

В нижеследующих случаях равновозможны а.-а. **u* и **ü*.

53. Араб. *hšf* «пересекать», -и-, -и-, 26 [5, с. 163] — ц.-чад. **sup-* «следовать» (гисига *sup*).

54. Араб. *hʒr* «приходить», -и-, -и-, 26 [5, с. 169] — ц.-чад. **tur-* «идти» (бура *turà*, чибак *tərà*, килба *tʒó*, банана *tur* «следовать»); в.-чад. **tVr-* «бег» (кера *təra*).

55. Араб. *gm* «быть полным», -и-, -и-, 1, 26 [5, с. 88] — з.-чад. **ga-*

tu(m)- «наполняться» (сура *kum*, *gam*, ангас *gam*, монтол *gum*, болева *got*, нгамо *ɟgata*).

Араб. *i* — чад. **u* (<а.-а. **ü*)

56. Араб. *hgn* «изгибать(ся)», -*i*-, 1 [5, с. 105] — з.-чад. **nVgin*- «гнуть» (болева *ɟgün*, карекаре *ɟgin*).

57. Араб. *htm* «ударять (по полону)», *i*, 1 [5, с. 582] — з.-чад. **tum*- «ломать» (варджи *təm*, кария *lun*, цагу *tam*, джимбин *tuma*, мбурку *tim*).

58. Араб. *'ks* «повернуть, развернуть», *i*-, 1 [5, с. 515] — в.-чад. **kus*- «поворачивать» (кабалай *kusu*).

59. Араб. *hdg* «идти, бежать неуверенной походкой», -*i*-, 1, 9 33 [5, с. 886] — ц.-чад. **dug*- «входить» (зегана *dūḡana*); в.-чад. **dug*- тж. (ндам *dūḡé*).

60. Араб. *'zq* «копать», -*i*-, 1 [5, с. 492] — з. чад. **zik*- тж. (тангале *sike*, болева *zik*- «выскрести», ангас *zik* «крышная щора»).

61. Араб. *hḡ* «парить», -*i*-, 1 [5, с. 433] — з. чад. **luḡ*- «летать» (бок-кос, дафо-бутура *luk*).

62. Араб. *'qf* «вить, плести», *i*, 1 [5, с. 512] — з. чад. **kir*- «плести» (зар *kir*); в.-чад. **kir* «шить» (тумак *kir*).

63. Араб. *'bs* «заворачивать», -*i*, 1 [5, с. 101] — в. чад. **bVHus*- «шить» (сомрай *būsā*).

64. Араб. *'nn* «разливаться (о воде)», -*i*-, 1, 4, 25 [5, с. 14] — з.-чад. **'ani*- «быть мокрым» (гала *'ani*, джимми *nā*).

65. Араб. *'fn* «портить (о мясе)», *i*, 1 [5, с. 518] — ц.-чад. **ta-fun*- «плохой» (маса *ta : funi*).

Араб. *i* — чад. **ya* (а. а. **e*)

66. Араб. *hār* «спускаться», *i*, *n*-, 1, 26 [5, с. 107] — з.-чад. **ɟyar*- «приходить» (зул *dīri*, барава *deeri*).

67. Араб. *nās* «вычерпывать воду (из колодца), прочищать колодец», -*i*-, -*u*- 1 [5, с. 862] — в. чад. **kyas*- «закапывать» (мобу *kəsi*, нгам *kési*).

68. Араб. *'ls* «обманывать», *i*, 1 [5, с. 11] — ц.-чад. **lyas*- тж. (мус-гум *leš*); в.-чад. **liyas* тж. (мобу *lase*, нгам *lasé*).

69. Араб. *hḡf* «метать, бросать», -*i*-, 1 [5, с. 154] — з.-чад. **ɟyaf*- тж. (хауса *ɟéfà*).

70. Араб. *hḡb* «оттонить, расцвочивать», -*i*-, 1 (по ср. глагол состояния *hḡb* «быть зеленым», *a*, 26) [5, с. 466] — ц.-чад. **Ṣyab*- «зеленый» (логоне *ṣébā*).

71. Араб. *'qd* «развязывать узлом», -*i*-. 1 [5, с. 511] — ц.-чад. **kyad*- «шлести» (банана *kīyedi*); в. чад. **kVd*- «развязывать» (ндам *kedé*).

72. Араб. *ngl* «оросить, метать», -*i*-, 1 [5, с. 764] — з.-чад. **gyal*- тж. (кулере *gyol*)

Араб. *i* — чад. **i* (< а.-а. **i*)

73. Араб. *'sr* «спавать, сжимать», *i*, 1 [5, с. 120], а также *sr* «выжимать виноград», -*i*-, 1 [5, с. 499] — в.-чад. **'asir*- «давить» (кабалай *sər*, дангла *assirè*).

74. Араб. *nī* «удалиться», -*i*-, 1 [5, с. 837] — в.-чад. **naHit*- «дальний» (джегу *ḡait*).

75. Араб. *hdš* «разрывать ногтями», -*i*-, 1 [5, с. 102] — з.-чад. **ḡiḥ*- «резать, сдирать кожу» (болева *diss*).

76. Араб. *hb* «падать», -*i*, *n*, 26 [5, с. 880; 7, s. v.] — з.-чад. **HVbit*- тж. (кирфи *bīto*, галамбу *bḡz*, гора *bḡd*-, болева, карекаре *bīd*-).

77. Араб. *gdr* «мочить», -*i*-, -*u*- [5, с. 620] — в.-чад. **gVdir*- тж. (дангла *gèdèrè*, мигамо *gìdirrò*).

78. Араб. *bjf* «быть легким», -i-, 1 [5, с. 170] — з.-чад. **fif*- тж. (фьер *fifyó*), в.-чад. **yaf*- тж. (сокоро *éffi*).

79. Араб. *'is* «чихать», -i-, -u-, 1, 9 [5, с. 503] — з.-чад. **Haʿis*- «чихание» (хауса *átíšáwà, átúšáwà*); ц.-чад. **Hwaʿis*- «чихать» (логоне *ḡisá, yən wotisa*, будума *wattisi*); в.-чад. **Hwaʿis*- тж. (биргит *wàddàsí*, муби *àttàšá*, мокилко *wàddisó*).

80. Араб. *nšt* «замолчать», -i-, 1 [5, с. 831] — з.-чад. **ʿit*- «тихий, молчаливый» (ангас *šit*).

81. Араб. *hqr* «презирать», -i-, 1 [5, с. 128] — з.-чад. **kir*- «быть бесстыдным» (хауса *kirí*).

82. Араб. *ʃad* «звать», -i-, 1, 25 [5, с. 576] — з.-чад. **paḏi*- «говорить» (хауса *ʃadī*, ангас *pit*, сура *pit, pet*).

От описанной выше картины отклоняются, как уже было сказано, глагольные корни с **y* и **w*. Собственно исключениями являются немногочисленные случаи, когда в семитском представлены глаголы состояния, в которых наличествует гласный имперфекта -а-, ср. пример 70.

В. Гласные в арабских масдарах и их чадские соответствия

Масдары 4, 7, 14, 17, 25, 29, 33 (<а.-а.*а)

Как показывают нижеследующие примеры, в этой группе масдаров релевантен гласный 1-го слога -а-, который имеет соответствие с чад. **a* (<а.-а.*а). Вместе с тем 2-й гласный этих масдаров никак не соотносится ни с гласным имперфекта, ни с соответствующим гласным в чадских параллелях и является, по-видимому, собственно южносемитской инновацией.

1. Араб. *df* «быть горячим», -а-, 4 [5, с. 202] — з.-чад. **daf*- «варить» (хауса *díʃà, dáhù*).

2. Араб. *mrr* «быть горьким», -u-, -а-, 17 [5, с. 762] — з.-чад. **mar* «кислый» (ангас *mèr*).

3. Араб. *zmn* «болеть хронической болезнью», -а-, 4, 12 (ср. в семантическом плане IV породу *zmn* «долго длиться; находиться») [5, с. 298] — з.-чад. **zamVn*- «длиться; сидеть» (хауса *zámñà, záunà*).

4. Араб. *whg, yhg* «загореться», 1, 33 [5, с. 973] — в.-чад. **wahag*- «жарить» (тумах *wílg, kera hògé*).

5. Араб. *šrh* «быть ненасытным», -а-, 4 [5, с. 371] — в.-чад. **sar*- «глотать» (леле *sàr*).

6. Араб. *zkk* «идти», -i-, 1, 4, 25 [5, с. 294] — з.-чад. **zak*- «приходить» (хауса *zíkà, praet*).

7. Араб. *zwʿ* «уходить», -w-, 8 [5, с. 303] — з.-чад. **zaH*- «приходить» (хауса *zò, варджи, кария zai, паа, сири, мия za*).

8. Араб. *khn* «предсказывать», -а-, -u-, 17 [5, с. 811] — з.-чад. **kan*- < **kaHan*- «колдовать» (боккос *kan*).

9. Араб. *rša* «протекать», -а-, 1, 33 [5, с. 251] — з.-чад. **rVš*- «мочить» (нгизим *rèšú*); в.-чад. **ras*- тж. (мобу *rásé, нгам ràse*).

10. Араб. *dwm* «длиться, оставаться», -u-, 1, 8 [5, с. 216] — в.-чад. **da[w]am*- «жить, сидеть» (сомрай *dàm, сибине dàmà*).

11. Араб. *rdʿ* «быть испорченным, плохим», -u-, 17 [5, с. 243] — з.-чад. **radVH*- «гнить» (варджи *radə, сири rade, кария, мбурку rad-*); ц.-чад. **rwad*- < **radwaH*- «плохой» (накади *r^wada*).

12. Араб. *whl* «бояться», 4 [5, с. 975] — з.-чад. **wawal*- < **waHal*- тж. (паа *wòwál*).

13. Араб. *dnh* «медленно идти, неся груз», -а-, 33 [5, с. 211] — в.-чад. **danaH*-/**daHan*- «следовать, уходить» (джегу *da*), мокилко *dààné*).

14. Араб. *'ly* «быть высоким», -а-, 8 [5 с. 520] — з.-чад. **'al(V)y-* «вставать» (сура *yāḡal*, ангас *yal*), в.-чад. ¹ *ay(V)t-* «взбираться» (сибине ² *āyl-*, кванг *ālé-*, нгам *alé*, мобу *ale*).

15. Араб. *glb* «раздобывать», -и-, *ι*, 1, 4, [5, с. 85] — з.-чад. **gal-* [*wlab-*] «дать» (монгол *gallap*).

16. Араб. *qdy* «приказывать», -и-, 8 [5, с. 646] — з.-чад. **kayîç-* «решать» (хауса *kîçà*).

17. Араб. *šrr* «кричать», -и-, 1, 25 [5, с. 406] — з.-чад. **šar-* «говорить» (болева *sor-*, тангале *seer*).

18. Араб. *drr* «бежать (о лошади)», *ι*, 25 [5, с. 194] — ц.-чад. **dar-* «бежать» (тера *dará*).

19. Араб. *dgg* «медленно идти», -и-, 25, 33 [5, с. 190] — з.-чад. **da-* [*HVg-*] «быстро идти» (хауса *dáḡa*), в.-чад. **dag-* «заблудиться» (мокилко *dágg-iyá*).

20. Араб. *sff* «лететь (низко над землей)», -и-, 25 [5, с. 326] — ц.-чад. **saf* «прыгать» (логоне *sàf*).

21. Араб. *gš'* «переселяться», а, 1, 4, 26 [5, с. 82] — з.-чад. **gač-* «убегать» (хауса *gásà*).

22. Араб. *tyz* «вонзиться (о стреле)», *ι*, 1, 33 [5, с. 59] — з.-чад. **tayVz-* «раскалывать» (хауса *tayzè*).

23. Араб. *šdd* «кричать», -и-, -и-, 25 [5, с. 403] — з.-чад. **šad{w}a-* «говорить» (сура, ангас *sal*, чип *šét*).

Сюда же относятся примеры из раздела А: 11, 14—16, 30, 42, 82.

В двух случаях 4-му масдару соответствуют чадские корни с **wa*, поскольку гласный следует за губным и закономерно дает араб. а.

24. Араб. *fsh* «быть плохим, испорченным», -а-, 4 [5, с. 587] — з.-чад. **fwas-* «плохой» (дафо бутура *fwaš*).

25. Араб. *bll* «лечить», *ι*, 1, 4, 26 [5, с. 40] — ц.-чад. **mVbwal-* тж. (гисига *mboul*).

Масдары 3, 9 (< а. а. **o*, **u*)

26. Араб. *snh* «представляться (в мыслях)», -а- 3, 26 [5, с. 344] — в.-чад. **swana-* «знать» (мокилко *suun-*, тумак *han*); ц.-чад. **suna-* тж. (даба *sun*).

27. Араб. *bt'* «медленно идти», -и-, 3, 10, [5, с. 34] — з.-чад. **but{u}-* «бежать» (болева *butu-*, низим *bawtə* «выходить»). Ср. также аблаутный вариант данного корня с **e*, отраженный в чадском и семитском.

28. Араб. *hwr* «реветь», -и-, 9 [5, с. 182] — з.-чад. **quwar-* «кричать, звать» (хауса *kürüruwà*, ангас *gwer*, герума *kārāa-*).

Сюда же относятся примеры из раздела А: 19, 20, 79.

В двух случаях арабские масдары заставляют предполагать колебание между а.-е **u* и **u*.

29. Араб. *hdw* «гнать, заставлять идти», -и- 1, 9, 10 [5, с. 108] — з.-чад. **hid-* «убегать» (хауса *gùdù*, *gùdù* «торопиться»).

30. Араб. *qll* «уменьшаться, быть маленьким», -и-, 2, 3 [5, с. 657] — ц.-чад. **kul-* «короткий» (гуду *kùl*).

Масдары 2, 5, 10, 13, 19 (< а.-а. **e*, **i*, **ü*)

31. Араб. *rwy* «передавать (чужие слова)», -и-, 19 [5, с. 280] — ц.-чад. **Riw-* «говорить» (мунджук *liwi*).

32. Араб. *wdn*, *ydn* «мочить», 1, 10 [5, с. 931] — з.-чад. **wund-* < **wind-* «быть мокрым» (тала *wundi*); ц.-чад. **wind-* тж. (зегвана *wind-iba*).

33. Араб. *bt'* «медленно идти», -и-, 3, 10 [5, с. 34] — ц.-чад. **byat-* «приходить, возвращаться» (бока *bedi*, чибак *biti*). См. об этом корне также выше.

34. Араб. *sbb* «оскорблять», -*u*-, 1, 45 [5, с. 306] — з.-чад. **sibu*- «сердиться» (варджи *šib*-, дири *šub*-).

35. Араб. *hky* «рассказывать», -*i*-, 19 [5, с. 131] — в.-чад. **Hyakay*- «звать» (кванг è : *kē*:).

36. Араб. *bny* «строить», -*i*-, 1, 10, 13, 19, 31 [5, с. 44] — в.-чад. **byana*[H]- тж. (муби *bēni*, кванг *bāy*).

37. Араб. *šry* «купить, продать», -*i*-, 10 [5, с. 371] — з.-чад. **ē[y]ar*- «купить (для перепродажи)» (хауса *sārā*, *sīrī*).

38. Араб. *bll* «мочить», -*u*-, 1, 2 [5, с. 40] — з.-чад. **bul*- «вылить» (хауса *būlbūlā*).

39. Араб. *sr^c* «бросать», -*a*-, 1, 2 [5, с. 408] — з.-чад. **çuH[a]r*- «валить» (болева *soor*); в.-чад. **suHVr*- «падать» (кера *sūurī*).

40. Араб. *ḍrr* «быть против кого-л.», -*u*-, 1, 10 [5, с. 431] — з.-чад. **ḥir[a]*- «не подчиняться» (хауса *cīrī*, ангас *sīr*).

41. Араб. *frr* «летать», -*i*-, 1, 10 [5, с. 577] — з.-чад. **pir[a]*- тж. (хауса *fīrā*).

42. Араб. *tlw* «читать», -*u*-, 19 [5, с. 57] — з.-чад. **tilal*- «просить, кричать» (хауса *tillā*, сура *tal*, перо *tēlō*).

43. Араб. *drs* «давить», -*u*-, 1, 10 [5, с. 195] — з.-чад. **dirVc*- «придавить» (хауса *dirce*).

44. Араб. *dws* «утаптывать (землю)», -*u*-, 10 [5, с. 215] — з.-чад. **dyawas*- «толкать, бить» (ангас *tus*, геджи *desi* «ковать», боккос, дафобутура *dāš*, нгизим *dāasū*).

Как показывает вся совокупность приведенных примеров, к афразийскому состоянию могут быть возведены как «двухсогласные», так и «трехсогласные» корни. Существенной особенностью исконно «трехсогласных» корней, отличающей их от исконно «двухсогласных» (в том числе и тех, которые в семитском получают расширение за счет префиксов на **m*-, **n*- и ларингалы, а также тех, в которых старая основа вида C_1C_2 - преобразуется в $C_1C_2C_2$ -), является мотивированный характер 2-го гласного. Оказывается, что в исконно «трехсогласных» корнях⁴ в качестве 2-го гласного выступает **a* в тех случаях, когда 2-й или 3-й согласный является ларингалом. Если ларингалом является 1-й согласный корня, то 2-й слог огласуется передним гласным (**e*, **i*, **ü*). Наконец, если в «трехсогласном» корне ларингалы отсутствуют, 2-й слог содержит губной гласный. Следует также отметить, что образование семитских «трехсогласных» корней от афразийских «двухсогласных» с помощью префиксов практически не затрагивает корней с исконным **a*, что может объясняться сохранением в семитском старой тенденции не совмещать 1-го ларингала с корневым **a* 2-го слога.

4. Коптский вокализм: реконструкция и внешние соответствия

Следы старого афразийского вокализма обнаруживаются не только в семитском, чадском и кушитском (результаты исследования кушитского вокализма в этом аспекте были сообщены нами в докладе на конференции «Язык и предистория», Энн Арбор, 1988), но и в египетской ветви. Возможность реконструкции египетских гласных по ряду косвенных признаков рассматривается нами особо (предварительную публикацию результатов см. в [8]), хотя ниже мы также приводим древнеегипетский материал, часть которого релевантна для реконструкции вокализма. Основной

⁴ Речь идет только о глаголах действия.

целью данного раздела является установление афразийских истоков коптской системы гласных.

Главным источником сведений по коптскому нам послужил новый весьма полный словарь В. Вицихла [9], ценный не только как богатая коллекция коптского материала, но и как этимологический справочник. Были привлечены также материалы древнеегипетского словаря [10]. Коптские данные приводятся в транслитерации, несколько отличающейся от принятой в [11]: альфа — *a*, бета — *b*, гамма — *g*, дельда — *d*, эй — *e*, дзета — *z*, эта — *ē*, тхета — *t'*, йота — *i*, каппа — *k*, лабда — *l*, ми — *m*, ни — *n*, кси — *x*, оу — *o*, пи — *p*, ро — *r*, сима — *s*, тау — *t*, хе — *u*, фи — *p'*, хи — *k'*, пси — *ps*, о — *ō*, шаи — *š*, فاي — *f*, хаи — *h*, *h'* (в ахмимском), хори — *h*, джанджа — *t*, чима — *t'*, ти — *T*.

Поскольку в системе коптского глагола все без исключения огласовки однозначно определяются двумя факторами — грамматической формой и принадлежностью основы к одному из двух семантико-грамматических классов [11, с. 46—50], мы рассматриваем ниже только вокализм производных имен. При этом предметом исследования были те имена, которые имеют соответствия в египетском и для которых установлены афразийские параллели. Случаи редукции гласных в коптском, осложняющие общую картину, а также случаи контракции в коптском нами не рассматривались.

В коптском выделяются следующие диалекты: фаюмский (F), оксиринхский, или среднеегипетский (M), ахмимский (A), бохайрский (B), ликополитанский (L), саидский или диалект Верхнего Египта (S), а также «старокоптский» (O) и диалект «Книги притч» (P). Далее при цитировании египетских форм приняты следующие сокращения: *a* — древнее, *AE* — Древнее Царство, *LM* — Книга мертвых, *m* — среднеегипетское, *ME* — Среднее Царство, *med* — медицинские тексты, *n* — новоегипетское, *NE* — Новое Царство, *pyr* — тексты пирамид, *t* — позднее, XVIII — 18-я династия и т. п.

Ниже мы даем краткую информацию по реконструкции пракоптского состояния и фонетическим соответствиям между диалектами, включая консонантизм (см. табл. на с. 86—87).

В коптском а.-а. **a* подверглось существенным комбинаторным изменениям, однако в ряде позиций **a* отражается как пракопт. **a*.

1. Егип. *h* (*a*), *h*ꜣу (*pyr*), *hy* (*m*) «муж», пракопт. **hay* тж. (B, S *hai*) [9, с. 290] — ц.-чад. **hay*- «домашнее хозяйство» (гисига *hay*).

2. Егип. *sd* (*pyr*) «хвост», дем. *st* тж., пракопт. **say(e)t* «penis, хвост» (B, S *sat*, *sēt* «хвост», B *sēt* «penis», S *sēt*, *seet* тж.) [9, с. 197] — сем. **sayt*- «хвост» (др.-евр. *šēt*) [12, с. 877].

3. Егип. *hnm.t* (*med*) «родник», пракопт. **halme* «источник» (L *halme*) [9, с. 298] — з.-чад. **Haram*- «река» (кулере *haram*).

4. Егип. *mnyw* «пастух», дем. *mn* тж., пракопт. **mani* тж. (F, B *mani*, A, S *mane*) [9, с. 115] — а.-а. **man*- «человек, мужчина» [1]. В египетском представлено суффиксальное образование.

5. Егип. *ks* (*pyr*) «кость», дем. *ks* тж., пракопт. **kas* тж. (B, S *kas*) [9, с. 87] — а.-а. **kas*- тж. [1].

6. Егип. *kby.t* (*n*) «кружка, кувшин», пракопт. **kabi* «сосуд, кружка» (B *kabi*, *kēbi*) [9, с. 71] — сем. **kab*- «мера» (др.-евр. *qab*) [12, с. 716]; з.-чад. **kab*-/**kab*- «калебаса» (хауса *kībō*, дафо-бутура *kibā* «корзина», ша *kibá* тж.). Конечный *-y* в египетском указывает не на старую огласовку корня, а на суффикс, ввиду отсутствия палатализации начального веллярного.

Вокализм

Пракопт.	О	Р	F	М	А	В	Л	С
*а	а	а	а	а	а	а	а	а
*о	а	о	а/о	а	а/о	о/ō	а/о	о
*ō ¹	ō	ō	ō		ō/ou	ō ²	ō	ō
*и	ои		ои		ои	ои	ои/о	ои
*е	е/а	и	е	е	е	е/а	е	е/а
*ē	е	е	ē ³	ē	ē	ē/е	ē/и	ē
*і	і		і			і	і	і

Примечания. 1) После *т, *н, *ō > *и. 2) Перед -h—о. 3) Также а, і (безъясного распределения).

Особые соотношения наблюдаются в конце слова.

Пракопт.	О	Р	F	М	А	В	Л	С
*о			а		о	о	о	о
*е			∅	∅	е	∅	е	е/∅
*ē	ē/е		е	е	і/еі	ē	ē	ē
*і		е	і	е	е	і	е	е/∅

Консонантизм

Егип.	Дем.	Пракопт.	О	Р	F	М	А	В	Л	С
-------	------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Взрывные согласные и аффрикаты

p-	p-	*p ¹ -	p		p ²		p	p ³	p	p
-p-	-p-	*-p-	p		p		p	p ¹		p
b-	b-	*-b ²	b		b		b	b		b
-b-	-b-	*-b ²			b		b	b ³		b ³
f-	f-	*f-					f	f		f
-f-	-f-	*-f-	f	f	f		f	f	f	f
t-	t-	*t ² -			t		t	t ³		t
-t-	-t-	*-t-	t	t	t	t	t	t ⁴		t
d-	t-	*t-					t	t ⁵		t ⁵
-d-	-d ⁶	*-t-			t ^{7, 8}		t	t ⁷		t ⁷
t-	t-	*t ¹ -						t ³		t
-t-	-t ⁹	*-t-			(t) ¹⁰			t ^{1, 10}		t ¹⁰
d-	d ¹¹	*t-	t		t		t	t ¹²		t
-d-	-d ¹³	*-t-						t		t
h-	k ¹⁴	*k ² -	k					k ³		k
-k-	-k-	*-k-	k ²				k	k ¹⁵	k	k
k-	k ¹⁴	*k-	k				k	k ¹⁶		k
-k-	-k-	*-k-			k	k	k	k ¹⁶	k	k
g-	g-	*γ-			k	t ¹	t ²	t ¹⁷	k	t ²
-g-	-g-	*-γ-		k		t ²	t	t ¹⁷		t ²

Примечания. 1) В контакте с согласным обычно p². 2) Фонетически [v]. 3) Во 2-й позиции в двухсогласном корне оглушается, если не находится в контакте с *з и h. 4) После фрикативного — T. 5) Перед согласным — T. 6) В демотическом t/d. 7) Перед конечным *e — T. 8) После согласного — T. 9) Наряду с -t- также -t-. 10) После губного согласного в ауслaute дает ∅. 11) Перед b, m, n, y, d > t-. 12) В контакте с согласным -t²-. 13) В двухсогласных корнях и в контакте с m, n, y дем. -d- > -t- > пракопт. *-t-. 14) В контакте с l, n и z — g-. 15) В контакте с согласным — k². 16) В контакте с b, r, n — k². 17) В контакте с l, n и ларингалом — t².

s-	s-	*s-	s	s	s	s	s	s	s
-s-	-s-	*-s-	s		s	s	s		s
š-	š-	*š-			š	š	š		š
-š-	-š-	*-š-	š		š	š	š	š	š
z-	s-	*s-	s		s	s	s	s	s
-z-	-s-	*-s-			s	s	s		s
ẓ-	ẓ ₁	*ẓ ₂			ẓ	ẓ	ẓ		ẓ
ẓ̄-	ẓ̄ _{1,3}	*ẓ̄ ₂	ẓ̄		ẓ̄	ẓ̄	ẓ̄	ẓ̄	ẓ̄
i-	i ₄	*y-					i		ei
-i-		*ẓ ₂					ẓ		ẓ
h-	h-	*h-	h	h	h	h	h	h	h
-h-	-h-	*-h-	h	h	h	h	h	h	h
ḥ-	ḥ-	*ḥ-	ḥ						
ḥ̄-	ḥ̄-	*ḥ̄-	ḥ̄						
ḥ̄̄-	ḥ̄̄-	*ḥ̄̄-	ḥ̄̄						
ḥ̄̄̄-	ḥ̄̄̄-	*ḥ̄̄̄-	ḥ̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄						
ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	*ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄-	ḥ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄						

Примечания. 1) В двухогласных корнях $\dot{z} > y$. 2) Реконструируемый * \dot{z} графически отражается в анлауте как \emptyset , в инлауте — как отсутствие стяжения гласных в некоторых диалектах. 3) $\dot{z} > -y$ после a . Наряду с алейфом отмечается также \emptyset . 4) Перед пракопт. * e , * a , * o $\dot{z} > \dot{z}$. Перед пракопт. * o , * i $\dot{z} > y$. 5) $\dot{z} > k$ по диссимилляции с последующим \dot{z} . 6) После губных $\dot{z} > \dot{z}$, \dot{z} . 7) В отдельных случаях — дем. \dot{z} . 8) По диссимилляции из \dot{z} .

Сонанты

m-	m-	*m-	m	m	m	m	m	m	m
-m-	-m-	*-m-	m	m	m	m	m	m	m
n-	n-	*n-	n	n	n	n	n	n	n
-n-	-n-	*-n-	n	n	n ¹	n	n ^{1, 2}	n	n ^{1, 2}
n ₁ ³		*l-	l		l		l		l
-n ₁		*l-					l		l
-y-	-y-	*y ⁴	(i)		i		i		e(i)
w-	w-	*w-				ou	ou	ou	ou
-w-	-w ⁵	*w-			u	(o)u	ou	ou	ou
r-	r-	*r-	l		l	r	r	r	r
-r-	-r ⁶	*r-	r		l	r	r	r	r
r ₁ ⁷		*l-	l		l		l		l
-r ₁	-r ⁸	*l-	l		l	l	l	l	l

Примечания. 1) $-nr > -mr$. 2) $-nm > -m$. 3) Возможно, из ностр. * \dot{l} или * $\dot{\lambda}$? 4) * $ey > -i$. 5) После f , m $w > \emptyset$. Перед согласными $-ow > -u$. 6) Особые случаи: $nr > n$, $or > ow$, $er > ey$, $ers > eys$. 7) Из а.-а. * \dot{l} . По ассимиляции с ларингалом изменяется в \dot{z} . 8) Встречается также $-l$.

7. Егип. ph , $ph\dot{z}$ (n) «ловушка (для птиц) из дерева», дем. ph тж., пракопт. * $pa\dot{h}$ тж. (B $p'a\dot{s}$, S $pa\dot{s}$) [9, с. 166] — сем. * $pa\dot{h}$ тж. (араб. $fa\dot{h}h$ «сеть, ловушка», др.-евр. $pa\dot{h}$ «силок», араб. сир. $pa\dot{h}(h)$ тж.) [13, с. 22]. Конечный алейф в египетской форме графически отражает старое * a .

8. Егип. hh (pyr) «шея, горло», дем. hh «шея», пракопт. * $ha\dot{h}$ тж. (B $ha\dot{h}$, S $ha\dot{h}$) [9, с. 320] — з.-чад. * $\dot{q}a\dot{q}wa$ «горло, зоб» (хауса $\dot{m}a\dot{k}\dot{o}\dot{k}\dot{o}$, герка $\dot{y}ya$, богом $gway$).

9. Егип. *z (AE)* «человек», дем. *s* «лицо, особа», пракопт. **sa* тж. (*B, S sa*) [9, с. 181] — з.-чад. **za-f-* «человек» (цагу *zafu*); ц.-чад. **ʒa-* тж. (капсики *za*).

10. Егип. *bʒh (med)* «*penis*», пракопт. **bah* тж. (*S bah*) [9, с. 33] — сем. **būh-* тж. (араб. *būh*); ц.-чад. **baHu[H]-* «перед» (мбара *bóy*, будума *bahu* «вперед»). Для семитского приходится предполагать фонетически нерегулярное стяжение из **bVʷh-*.

11. Егип. *r (n)* «кашечек», пракопт. **al* тж. (*S, B al*) [40, I, с. 208] — в.-чад. **ar(r)-* «скала» (кабалай *arrà*).

12. Егип. *pʒd (med)* «колено», пракопт. **pʷate* тж. (*S pat, F pʷat*) [40, I, с. 500] — ц.-чад. **pVʷHud-* «бедро» (гаанда *fūdatà*, габин *fəḏətə*, бока *fūḏətə*); в.-чад. **paʷud-* тж. (джегу *paado*, биргит *fādi*, муби *fūdi*, *pūdi*). Ср. также галла-сом. **baʷud-* тж. (сомали *baʷdo*).

13. Егип. *kʒh (ME)* «земля», пракопт. **kahi* тж. (*S kah, B kahi*) [40, V, с. 12] — ц.-чад. **kaHi-* «песок» (муктеле *kāykāy*, мустум *káikai*). В египетском срединный алеф графически отражает **a*.

14. Егип. *km (pyr)* «черный», пракопт. **kʷame* тж. [40, V, с. 122] — ц.-чад. **ka[Hi]m-* «тьма» (будума *kaimē*), вероятно, с вторичной группой **-Hi-* (из префикса?).

15. Егип. *r (a)* «тростник, писцовое перо», дем. *ʒrw* «стебель, жниво», пракопт. **ariwi* «тростник, писцовое перо», вероятно, из формы *pl. fem.* (*A areioue, B arōoui*) [9, с. 16] — а.-а. **alVw-* «лист, листва, трава» [1].

16. Егип. *bnw.t (ME)* «вид твердого камня для строительства, жернов», пракопт. **[a]wni* «жернов» (*M oune, B euni*) [9, с. 48] с развитием группы **-bnw-* > *-wn-* — а.-а. **abun-* «камень, жернов» [1].

17. Егип. *ʹs[ʒ].t (a)* «люди, множество людей», *ʹs[ʒ].t* «множество», дем. *ʹs[ʒ].t* тж., пракопт. **ašēy* тж. (*F ašēi, B aše, L, S ašē*) [9, с. 20] — а.-а. **ac̣ir-* «друг» (ср. особенно араб. *ʹašīr-* «семья, клан, племя») [1].

18. Егип. *hfn.w (pyr)* «змея», пракопт. **hafle[n]e* «ящерица» (*B aflen, S hafleene*) [9, с. 319] — берб. **Has[i]l-* «змея, гадюка» (таулеммет *aššol*, апр *aššel*, ахаггар *āššel*). Неясен вокализм араб. *hisl-* «детеныш ящерицы» [5, с. 117], возможно, вторичный ввиду деминутивной семантики.

19. Егип. *gn (XVIII)* «круглая подставка для кувшина», пракопт. **ʹaḡon* тж. (*L atʹan, S atʹon*) [9, с. 24] — сем. **ʹaḡul-* «круг» (др.-евр. *ʹaḡōl*) [12, с. 585].

В контакте с пракопт. **w, *y, *ʹa,-a. *a* изменяется в пракопт. **o*.

20. Егип. *wnš (AE)* «волк, шакал», дем. *wnš* «волк», пракопт. **wōnš* «волк, шакал» (*F, A, B, S ouōnš*) [9, с. 235] — з.-чад. **nVčaw-* «дикая собака, волк» (сура *ñčáwe*, ангас *čewe*); ю.-куш. **incaw-* «шакал» (иракв *inčaww, pl. inčáwe*).

21. Егип. *ʒh.t* «поле», *ih.t* тж., дем. *ʒh* тж., пракопт. **yōhi* тж. (*B iohi, S eiōhe*) [9, с. 69] — з.-чад. **yah-* тж. (тангале *yúyá*).

22. Егип. *swḥ.t (pyr)* «яйцо», дем. *swḥ* тж., пракопт. **sowhi* тж. (*B souhi, S souhe*) [9, с. 202] — з.-чад. **sahw-* тж. [4, с. 180—181].

23. Егип. *mw (a)* «вода», пракопт. **mow* тж. (*F, A, L tau, B mōu, S moou*) [9, с. 126] — а.-а. **maʷil/-maʷu-* тж. [1].

24. Егип. *bʒ.t* «куст», дем. *b* тж., пракопт. **bōʷ* «дерево» (*A bou, F, B, L, S bō*) [9, с. 24] — з.-чад. **baʷu-* тж. (ангас *bau*, карекаре *ba*) [13, с. 109].

25. Егип. *ty.t (XVIII)* «знак, фигура, форма», дем. *ty* «знак», пракопт. **tʷoy* «знак, подобие» (*B tʷoi, S toi*) [9, с. 210] — сем. **taw-* «знак» (др.-евр. *tāw*) [14, с. 27].

Тот же рефлекс а.-а. *a имеет и перед стечением двух согласных в пракоптском (см. № 20, 22).

26. Егип. *mrt* (*t*) «подбородок», пракопт. **mort* «борода» (*F malt*, *S*, *B mort*) [9, с. 120] — з.-чад. **mar/-*mar-ut-* тж. (варджи *mara*, кария *mar*, сири *muri*, дири *muldu*, нгизим *māri*).

26. Егип. *hf*^c (*pyr*) «кулак», пракопт. **hōhf* < **hōʿf* «рука (*hand*)» (*S hōhf*) [9, с. 320] — з.-чад. **qafH-* «щипцы» (ангас *gāp*).

27. Егип. *sh. t* (*pyr*) «поле», дем. *sh. t* тж., пракопт. **sōhe* < **sōhhe* тж. (*P sōhe*, *S sōše*) [9, с. 203] — сем. **sah(b)* «луг» (араб. *sahh-*).

28. Егип. *hry.t* «faeces», дем. *hr.t*, *h'yr.t* тж., пракопт. **hōyri* тж. (*B hōiri*, *S hoeire*) [9, с. 292] — сахо, афар *haraa* тж., галла-сом. **har-* тж. (сомали *haar*).

29. Егип. *šd.t* (*AE*) «колодец, источник», дем. *št(y).t* «яма, источник, канал», пракопт. **šōte* < **šōtte* «ров, колодец» (*B šōT*, *S šōte*) [9, с. 272] — з.-чад. **šadd-* «помойная яма» (хауса *šaddā*).

30. Егип. *zr* (*AE*) «раз, случай», дем. *sp* тж., пракопт. **sop* < **sopp* «раз» (*B*, *S sop*) [9, с. 194] — сем. **zapp-* «время, период» (араб. *zaff-at-*); сид. **sapp-* «время, раз» (сидамо *saffe*) [45, с. 23].

В коптском а.-а. *o отражается как *ō, однако перед плавными, по-видимому, пракопт. *o > *e.

31. Егип. *sʒ* (*pyr*) «спина», пракопт. **soy* < **soʿi* тж. (*S*, *B soi*) [10, IV, с. 8] — ц.-чад. **swaH-* «зад» (гудуф *so*).

32. Егип. *dw* (*pyr*) «гора», пракопт. **tow* тж. (*S toou*, *B tōou*) [10, V, с. 541] — ц.-чад. **gwaH-* «камень» (ламе *ngwàì*, ламе-певе *gwoiʿ*, зиме *goy*, *gwòʿ*). В египетском *-w-* графически отражает *o.

33. Егип. *wt*, *it* (*a*) «ячмень», дем. *it* тж., пракопт. **yōt* тж. (*B iōt*, *S eiōt*) [9, с. 67] — з.-чад. **wanʿ-* «зерно» [4, с. 238]. Сюда же, возможно, аккад. *ʾutt-* «ячмень, зерно».

34. Егип. *tr* «время», дем. *tʒ* тж., пракопт. **teʿ* «время, сезон» (*S te*) [9, с. 208] — сем. **tur-* «ряд, черед» (др.-евр. *tor*).

35. Егип. *pr*, *pry*, *prì* (*n*) «бобы», пракопт. **pʿeli* тж. (*B pʿel*, *pʿeli*) [9, с. 244] — сем. **pūl-* тж. (араб. *fūl-* [5, с. 608], др.-евр. *pōl* [42, с. 657]).

Отражением а.-а. *u в коптском является *u.

36. Егип. *kny* (*ME*) «грудь, чрево», пракопт. **kun* тж. (*B*, *S koun-*) [9, с. 82] — з.-чад. **kun-* «живот» (нгизим, баде *kūnū*). В египетском конечный *-y*, видимо, отражает старый суффикс.

37. Егип. *kḫ.ty* (*gr*) «кора», пракопт. **kuki* тж. (*S kouke*, *B kouki*) [10, V, с. 71] — з.-чад. **ʿa-kuk-* тж. (кулере *ākʰūkʰwēg*).

38. Егип. *mʒy* (*pyr*) «лев», пракопт. **miu* тж. (*S*, *B*, *A moui*) [10, II, с. 11] — в.-чад. **miu-* тж. (тумака, ндам *miì*, сомрай *mi*, *miì*).

39. Егип. *mr* (*med*) «привязывать», пракопт. **mur* «вид плетения» (*mour*) [10, II, с. 105] — з.-чад. **mur-* «веревка» (галамбу *mūr*).

На развитие а.-а. *ū в коптском надежных примеров нет.

Рефлексом а.-а. *e в коптском является *eʿ/ē.

40. Егип. *tʒw* (*pyr*) «воздух», пракопт. **tʿēw* тж. (*S tēu*, *B tʿēou*) [10, V, с. 350] — з.-чад. **kuay-* «ветер» (паа *key*).

41. Егип. *sk* (*n*) «осленок», пракопт. **sēh* тж. (*S sēh*, *B sēh*) [10, IV, 315] — з.-чад. **syak-* «осел» (польчи *šāki*).

42. Егип. *ʿnʿn* (*pyr*) «обезьяна», дем. *ʿn* тж., пракопт. **en* тж. (*O en*, *een*, *B en*, *S ēn*, *ēne*) [9, с. 53] — з.-чад. **Hyayan-* < **Hyan-Hyan-* тж. (фьер *yāmēen*, кулере *rimen*, ша *ʿamen*).

43. Егип. *pr*^c (*NE*) «вид птицы», *pʿr.t* «куропатка», пракопт. **pēri* тж.

(*B pēri, S pēre*) [9, с. 162] — з.-чад. **pyar-* «маленькая птица» (хауса *fērū*).

Перед губным а.-а. **e* > пракопт. **i*.

44. Егип. *sm.w* «овощ», *sm* «трава» (*pyr*), дем. *sm* тж., пракопт. **sime* тж. (*B sim, sme, S sim*) [9, с. 188] — в.-чад. **syam-* «сено» (мокилко *sēmī*).

45. Егип. *nb* (*pyr*) «каждый», пракопт. **nibi* тж. (*S nim, B niben, F nibi*) [10, II, с. 234] — з.-чад. **ryab-* «все» (ша *ryap*).

Аномальное развитие а.-а. **e* наблюдается в егип. *hs* (*pyr*) «faeces», пракопт. **hos* тж. [10, III, с. 164] — з.-чад. **Hyas-* тж. [4, с. 230].

Отражением а.-а. **i* в коптском является, по-видимому, **i*.

46. Егип. *r^c* (*pyr*) «солнце», дем. *r^c* тж., пракопт. **ri¹* тж. (*O re, rē, F, M re, A ri, rei, B, L, S rē*) [9, с. 170] — з.-чад. **ri²* «солнце, облако» (геджи *ri*, боккос, дафо-бутура *ri*).

47. Егип. *ir.t* (*pyr*) «глаз», дем. *yr.t* тж., пракопт. **yiri* тж. (*L ieire*) [9, с. 66] — з.-чад. **ir-* тж. (польчи *yir*, саянчи, кир *yir*, тала *ge-ir*, фьер *yēer*, гурунтум *yerr*); ц.-чад. **ir-* тж. (ламе *irī*, месме *ir*, банана *irā*); в.-чад. **ir-* тж. (муби *ir-in*).

48. Егип. *ib.t* (*pyr*) «жажда», пракопт. **ibi* тж. (*S, A eibe, F ibi*) [10, I, с. 61] — з.-чад. **ib-* тж. (богом *yip*, кир *yip*).

Аномальное развитие наблюдается в егип. *ns* (*pyr*) «язык», пракопт. **les* тж. (*O, B, S las, F, A les*) [9, с. 99] — а.-а. **lis-* тж. [1].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Орел В. Э., Столбова О. В. К реконструкции афразийского вокализма // ВЯ, 1988. № 5.
2. Дьяконов И. М., Милитарев А. Ю., Порхомовский В. Я., Столбова О. В. Общеафразийская фонологическая система // Африканское историческое языковедение. М., 1987.
3. Гранде Б. М. Грамматические таблицы арабского литературного языка. М., 1950.
4. Столбова О. В. Сравнительно-историческая фонетика и словарь западночадских языков // Африканское историческое языковедение. М., 1987.
5. Belot J. V. Vocabulaire arabe-français. Beyrouth, 1929.
6. Lane E. W. Arabic-English lexicon. N. Y., 1865.
7. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь. Т. 1-2. М., 1965.
8. Орел В. Э., Столбова О. В. Отражение афразийских гласных в египетском // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Ч. 3. М., 1989.
9. Yucichl W. Dictionnaire étymologique de la langue copte. Leuven, 1983.
10. Erman A., Grapow H. Wörterbuch der ägyptischen Sprache. Bd I—VI. B., 1957.
11. Еланская А. И. Коптский язык. М., 1964.
12. Gesenius W. Hebräisches und aramäisches Wörterbuch über das Alte Testament. B., 1954.
13. Сравнительно-исторический словарь афразийских языков. Вып. 1 // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Ч. IV. М., 1981.
14. Сравнительно-исторический словарь афразийских языков. Вып. 2 // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Ч. III. М., 1982.
15. Сравнительно-исторический словарь афразийских языков. Вып. III // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Ч. III. М., 1986.

© 1990 г

ЧЕТВЕРУХИН А. С.

ЕГИПЕТСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДВУХ АФРАЗИЙСКИХ
ДЕЙКТИКО-РЕЛЯТИВНЫХ МОРФЕМ

Для лучшего понимания проблем, рассматриваемых в данной работе, необходимо напомнить читателю, что египетская система письма [1—5] не обладала специальными графемами для передачи гласных; письмо не было построено только по фонетическому принципу — принцип, по которому было построено египетское письмо, можно определить как смешанный фоно-идеографический; графемы, обозначающие сонанты и гортанный взрыв типа немецкого *knacklaut*, часто опускались, и, наконец, фонетическое содержание консонантов известно все еще достаточно приблизительно. Вышеуказанное сильно препятствует лингвистическому анализу решительно во всех областях египетской грамматики. Именно это обстоятельство обусловило развитие особой области египетской филологии — исследований по египетской вокализации, преследующих как чисто «утилитарные» цели, а именно расшифровку фонетического прочтения египетской словоформы — в том числе имен собственных, в первую очередь царских, имен сановников и т. д., если речь идет об историческом исследовании, имен богов, географических названий и т. п., о чем нередко возникают споры среди специалистов (один из принципов условного чтения см. [6]), — так и «теоретические» цели, т. е. объяснение принципов этой вокализации как ради последовательности в ее системе, так и ради соотнесения ее в рамках афразийской семьи языков с системами вокализации родственных языков. Подобные цели неизбежно приводят к необходимости максимально глубокого анализа египетской морфологии, представленной, как и в родственных языках, не столько внешними — а ф ф и к с н ы м и — средствами, сколько внутренними — т р а н с ф и к с н ы м и, подчиняющимися далеко еще не понятым законам, причем каждый морф трансфикса являлся, видимо, д е й к т и ч е с к и м по своему происхождению. Что же касается аффиксных морфем, то их дейктическое происхождение вне сомнений. К этому необходимо добавить, что потребности текстологии в самом широком смысле термина обусловили значительный рост интереса к египетскому синтаксису вообще, но в особенности к актуальному синтаксису. Именно на уровне логико-грамматического анализа предложения высветилась роль частиц как актуализаторов, причем оказалось необходимым начать исследование их этимологии. К тому же сравнительно давно было подмечено, что местоимения и частицы в афразийских языках по сути являются разными комбинациями одних и тех же дейктических морфем [7]. Таким образом, именно на уровне анализа частиц и местоимений проходит стык двух основных направлений исследований не только в области египетской филологии, но и афразийской лингвистики вообще. Само собой разумеется, что материал частиц и местоимений настоятельно ведет исследователя в область сравнительно-исторического языкознания — в нашем случае — в рамках афразий-

ской семьи. Поэтому египетские частицы и местоимения уже хотя бы в силу древности их письменной фиксации являются бесценным материалом, а изучение форм типа рассматриваемой ниже приобретает вполне определенный смысл.

В египетском языке III—II тыс. до н. э. наряду с другими формами вопросительного местоимения существовала также такая, которая, согласно Большому берлинскому словарю [8], имела следующие написания: (1)¹ (Тексты пирамид, Старое царство), (2) (Среднее царство), (3) (Новое царство), в том числе (4) (Девятнадцатая династия, Новое царство) [8, т. 1, с. 126; т. 3, с. 424—425], что в условной египтологической транслитерации передается как *zj*. В Среднем царстве, когда процесс конвергенции старых *s* (5) и *z* (6) завершился, форма получила также написание (7) [4, с. 407; 9, с. 211]. В Старом царстве было также краткое написание (8) *z* [10, т. 2, с. 518]. Итак, исходными написаниями можно считать краткое, т. е. (9) *z*, и полное, т. е. (10) *zjj*, если считать, вслед за Э. Эделем, что в Старом царстве каждая графема «метелка камыша» в двойном написании порознь означала *j* в отличие от более поздних периодов, когда «две метелки камыша» означали *j* в срединной и конечной позициях в противоположность «одной метелке камыша», которая в начальной и средней позициях могла передавать как *кнаклаут*, так и *йот*. Поскольку никто еще не исследовал ни этимологию этого вопросительного местоимения, ни его вокализацию, то условное пографемно-линейное чтение ориентировалось на горизонтальную расстановку знаков и принималось за *zj*, *zjj* для староегипетского и *sj* для более поздних периодов, а новоегипетская форма *isj* как окказиональная оставалась без интерпретации. Уже само наличие хотя и позднего, но наиболее полного написания с начальной «метелкой камыша» намекает на то, что форма не обязательно начиналась на *z > s*. Но даже и без намека этого позднего написания условность традиционной транслитерации *zjj* вытекает из принципа графического сочетания узкого горизонтального знака «засов» [(11) *z*] и двух узких вертикальных знаков «метелка камыша» [(12) *j*]. Вследствие вполне возможной группировки знаков не «по ходу чтения», а «ради удобства расположения», т. е. в целях экономии места, традиционное прочтение словоформы может быть подвергнуто сомнению, в особенности, если предположить, что данное горизонтальное расположение знаков восходит к более компактному вертикальному (13), развернутому потом как (14) [11, с. 77—87; 4, т. 1, с. 39—42].

Рассматриваемое местоимение имело две функции: 1) вопросительного местоимения «кто?», «что?», и 2) вопросительно-относительного местоимения «какой?», «что за?», «который?» (тоже безотносительно к категории одушевленности—неодушевленности) [10, т. 2, с. 494, 518—519; 4, с. 407; 12, с. 681]. В первой функции встречаются и другие вопросительные местоимения, но во второй — только это. Данные функции представляется возможным охарактеризовать и как: 1) дейктико-интеррогативную и 2) дейктико-релятивно-интеррогативную. В функции 1) эта форма выступает в качестве первого или второго конституента предложения (1а и 1б). В 1а это логико-грамматический предикат (рема) с факультативным постпозитивным актуализатором набора², *tr* и *pw* — последний является и формальным логико-грамматическим субъектом, но не конституентом вследствие формального характера своей функции [13, с. 97—111]. В 1б эта форма, читаемая пока что как *zjj* или *jzj*, встречается очень ред-

¹ Здесь и далее полужирные цифры в скобках означают номера фрагментов оригинальных текстов и слов, данных в сводном указателе в конце статьи.

ко в риторическом вопросе [14, с. 64—65]. В функции 2) эта форма стоит перед тем членом предложения, по отношению к которому ставится вопрос, и является вопросительным эквивалентом определения, выражаемого в старо- и среднеегипетском демонстративом ряда p', t', n' .

В эпоху Девятнадцатой династии наряду с выходящей из употребления формой zjj, jzj на не очень продолжительное время появляется графически внешне с ней не связанная форма (15). Большой берлинский словарь приводит также форму (16). Обе транслитерируются как it (где t — условное обозначение фонемы, близкой к русской, обозначаемой «ч»), и формы снабжаются значениями вопросительного местоимения «какой?», «что за?», «кто?» с пометой «часто перед последующим существительным» [8, т. 1, с. 150]. В «Новоегипетской грамматике» А. Эрман подробно останавливается на употреблении этой формы, отмечая, что «странное написание (17) встречается только в текстах, изложенных изысканным языком (in Texten gewählter Sprache)», т. е. литературных. Употребление этой формы вполне соответствует таковому предыдущей в функциях 1) и 2) [15, с. 376—377; 16, с. 36, 531, 558]. Но эта форма встречается и вне литературных текстов в значениях «какой?» и «где?» [17, с. 61]. Затем эти формы вытесняются другими и исчезают из языка.

«Странность» написания вышеуказанной «новой» формы заключается в том, что она передана особым приемом египетского письма — так называемым слоговым, или групповым, письмом, которое применялось в основном в отношении иноязычных заимствований, для передачи топонимов, этнонимов, имен иностранных богов и теофорных имен, имен собственных, но окказионально и для исконно египетских слов, имевших традицию письменной фиксации, а также для египетских слов, ранее Нового царства не употреблявшихся, либо с позабытой этимологией.

У. Ф. Олбрайт был первым, кто систематизировал материал по чтению группового письма, настаивая на том, что этот вид письма предназначался для максимально точной передачи фоновосстава словоформ. Он учел и рассматриваемую форму, установив, что ее фонетическое содержание приближается к $'i\dot{c}i$ ($i + ti$) и именно в таком составе сравнимо с ханаанейской формой, реконструируемой им как $*\dot{e} + z\dot{e}$, евр. (18) «какой?», «какой?», намекая на то, что это ханаанейское заимствование в египетский [18, с. 35, 64]. В. Хельк в целом подтвердил чтение словоформы, уточнив его как $'i_4 + \dot{s}i / = \acute{a} / = \acute{u}$ [19, с. 592 и сл.]. Следующий вопрос — реконструкция фонетического содержания $\dot{s}i$ (также $\acute{s}a, \acute{s}u$), и в первую очередь — вопрос о \dot{s} . С учетом фонетического значения группы (19) при передаче иноземных заимствований [20] и с учетом исследований по исторической фонетике египетского языка [21, с. 48; 22, с. 38—40] это мог быть полувзвонкий сибиллянт, либо полувзвонкая дорсальная аффриката. Ханаанейская форма могла здесь содержать либо звонкий ффрикатив z , либо звонкую дорсальную аффрикату dz ². Начальное еги-

² С такой реконструкцией для рубежа II—I тыс. до н. э. согласился и И. М. Дьяконов, с которым советовался автор. По мнению И. Ш. Шифмана, у которого консультировался автор, ханаанейская форма должна была иметь вид $'aj-\dot{d}i/u, 'aj-\dot{d}ih$ [ср. араб. (20)] «какой?», реже «где?». Качество этой фонемы в соответствии с нашим материалом должно было приближаться тем не менее к dz , что сближает эту реализацию с протоафразийской реконструкцией dz [23, с. 339]. Встает вопрос, свидетельство ли это архаичности именно такой реализации данной протофонемы в ханаанейском или же это результат ее вторичного, циклического, развития. Не пытаюсь судить, мы предлагаем обратиться к очень показательному в данном случае материалу арабского языка. Ср. следующее замечание Ж. Кантино, на работу которого в этой связи любезно обратила внимание автора О. Б. Фролова, а именно [24, с. 44—45]: «В современ-

петское 'i- сопоставимо с ханаанейским 'é- (<'ej- < 'aj-). В отношении реконструкции ауслота египетской словоформы рубежа II—I тыс. до н. э. можно предположить, что он был представлен либо i неопределенной долготы, либо e неопределенной долготы и окраски. Тогда египетское написание мыслимо реконструировать как 'isi, 'ise, 'itsi, 'itse (где s, ts — полузвонкие), но не только так, см. ниже. Таким образом, гипотеза У. Ф. Олбрайта, хотя и не сформулированная достаточно ясно, возможна.

И тем не менее, заимствование вопросительного местоимения в египетский язык из семитских в эпоху, когда Египет был еще могущественной державой, проводившей весьма активную внешнюю и внутреннюю политику, и где ни один чужой язык не являлся престижным вплоть до эпохи эллинизации, тем более в литературном языке Нового царства выглядит по меньшей мере странным. В то время Египет не испытывал и мощного идеологического воздействия, что имело место много позже и что привело в начале нашей эры к сильному разбавлению египетского словарного состава сначала греческой, затем — арабской лексикой, а в конце концов и к почти полному вытеснению египетского языка арабским [25, с. 8 и сл.]. Заимствование семитской лексики в египетский шло постоянно и усилилось к рубежу II—I тыс. до н. э., но не было интенсивным.

Уже само сравнение условно транслитерируемых *jzi* и *it* заставляет предположить, что это одна и та же форма, но только в разных написаниях: традиционном, типа (24), и нетрадиционном (25) и других. Сам смысл группового или силлабического письма, как показывает материал работ У. Ф. Олбрайта или В. Хелька, состоял в том, чтобы реbusным способом при помощи игры на связи идеографического значения написания корневой морфемы и ее фонетического содержания передать фонетическое значение словоформ, на которое очень трудно было намекнуть чисто «фонетическим» написанием, а применение той или иной идеограммы как таковой или в качестве детерминатива не дало бы желаемого результата либо привело бы лишь к общему отнесению данной лексемы в тот или иной круг понятий. Компоненты группового письма — это корневые морфографемы, по меткому определению Н. С. Петровского. За каждой такой морфографемой на более или менее длительный период истории в условиях господства определенной централизованной престижной письменно-языковой нормы устно было закреплено определенное фонетическое значение. Сочетание в графическом облике словоформы двух или более корневых морфографем при условии, что такое написание не могло быть понято как словосочетание или компо-

ных арабских диалектах можно постулировать следующий принцип: интердентальные спиранты сохраняются как таковые, т. е. как *t̤*, *d̤*, *ḏ̤*, в говорах кочевников или древних кочевых племен, но переходят в соответствующие окклюзивы *t*, *d*, *ḏ* в говорах оседлого населения... Новые окклюзивные денталы *t*, *d*, *ḏ*, восходящие к интердентальным спирантам, испытывают то же, что и древние окклюзивные денталы. В частности, *t* (<*t̤*) подвержено тем же изменениям, что и древнее *t*: аффрикации в *ts*, *tš*, палатализации в *ty*, спиратизации в *t̤* — в последнем случае ... может воспроизводиться первоначальная артикуляция». Ср. также материал египетского диалекта арабского языка. Так, в начале XX в. *ḏ* (21) в Египте (и в Сирии) звучал как *d*, *ds*, *z*. Престижная норма была *z*, разговорная — *d*. Но форма (22) во всех случаях уже, кажется, звучала как *dā*. Зато в срединной позиции в старой форме (23) *hāḏā* отмечается нормативное *z* (*hāzā*), противопоставляемое просторечному *ds* [26, с. 7 и сл.]. Современное пособие по египетскому диалекту намекает на соответствие *d* : -*d/z* : -*z/d*, где приоритет альтернатив определялся необходимостью устранения возникающих омонимий [27].

зит, уже сигнализировало о требовании при ее чтении особого подхода, т. е. такое слово следовало читать поморфографемно, отбрасывая конечные полугласные, ср. [28, с. 49—51]. Поэтому написание (26) является гиперкорректным написанием древних (27) и (28). Заметим, что группа (29) могла здесь передавать звонкую фонетическую реализацию фонемы *z* в интервокальной позиции после утраты *z* своего прежнего фонетического статуса фонемы в результате ее конвергенции с *s*.

Получается следующее: с одной стороны, перед нами явная фонетическая близость разных написаний одной и той же египетской словоформы, с другой — явная фонетическая близость египетской и ханаанейской лексем. Напрашивается предположение, что перед нами фонетическая близость форм, связанных общим афразийским происхождением. Не исключено, что именно под влиянием этой близости, обнаруженной самими египтянами, они стали писать свою словоформу на тот же манер, на который они писали семитские заимствования, т. е. слоговым или групповым письмом.

Как показывает даже написание еврейской формы, она двусоставная: (30). Первый компонент фонетически и функционально восходит к протоафразийской основе **zV* [29, с. 30; 30, с. 64; 31, с. 74; 32, с. 83] и реализуется (без учета количества и качества сопровождающего гласного) следующим образом: араб. *d-* (см. также выше), евр. *z-*, угар. *d-*, финик. *z-/š-*, акк. *š-*, южноаравийск. *d-*, эфиосемитские *z-*; берб. *d-*; хауса *d (a)* — «относительное союзное слово со значением „что“» [30, с. 64]. В арабском имеется и субстантивная форма: «который (того-то)» > «обладатель (того-то)», не обязательно одушевленный, т. е. *dū, dī, dā*. Наконец, отметим, что дейктическая основа **zV* реализуется и как указательно-местоименная без оттенка релятивности, например, в арабском, еврейском и некоторых других, как самостоятельно, так и в составе более сложных местоименных композитов.

Несколько сложнее с интерпретацией начального евр. *'ē-* (из *'aj-*). Для этого следует сделать весьма существенное допущение: в афразийских языках служебные морфемы первоначально (т. е. на уровне протоафразийского языкового континуума) представляли собой позиционно не связанные элементы с самостоятельным значением, которое мы определяем в общем виде как дейктическое. Выборочный материал — хронологически наиболее древний — должен позволить судить о правомерности такого допущения. Так, и в аккадском, и в египетском прослеживается рудиментарный суффикс локатива-адвербиала *-aj* [10, т. 2, с. 379—383; 33, § 113 k], а в аккадском — и вопросительное местоимение *'aj* «где?» [34, с. 220]. В аккадском морфема *'aj-* входила также в состав вопросительных местоимений *'ajikāni* и *'ajik'atam* «где?» [34, с. 220, 231—232], ср. также евр. *'ajjē* «где?» и евр. *'aj-* «где?» [35, с. 295, 484], араб. *'ajna*. На протоафразийском уровне в составе вопросительных местоимений дейктико-релятивная морфема, условно реконструируемая как **i*, в сочетании с дейктической морфемой *'a-*, приняв форму *'aj-*, приобрела значение «где?», а в составе сложных местоименных форм (см. также ниже) получила и значение общевопросительного маркера. При этом вполне возможно, что значение *'a-* следует реконструировать как «туда, там». Тогда вся форма в самостоятельном употреблении, а в ряде случаев — и как база для последующего расширения при сохранении этого значения, претерпела незначительную эволюцию от значения «там» + «которое (это)» в «где?». Вполне аналогична и реализация афразийской дейктической основы **mV*. Одновременно с этим она выступает в виде префикса к глагольным осно-

вам, субстантивируя их в сочетании с трансфиксными и суффиксными морфемами в имена действия, места действия, деятеля, подлежащего и т. д. Эта же основа выступает в качестве вопросительного местоимения, а также входит в состав местоименных композитов. Данная морфема прослеживается на обширном материале афразийских языков [10, т. 1, с. 109—110; т. 2, с. 515—517; 36, с. 146, 224; 31, с. 75].

Некоторые местоименные основы восходят в конечном счете к междометиям. Это основы слоговой структуры C/S + V, т. е. афразийские ¹V, ²V, hV, hV, jV, wV в значении первоначально эмоционально окрашенных указующих окриков. Будучи функционально и фонетически близки, эти основы могли, вероятно, контаминироваться. Может быть именно этим обстоятельством объясняется трудность реконструкции некоторых афразийских фонем, где опорным материалом являются служебные морфемы — аффиксы, указательные и личные местоимения. Все эти основы представлены и в египетском [10, т. 2, с. 432—433]. Мыслимо развитие шло от междометия указания — обращения к указательному местоимению. Семантическая связь указания и обращения эксплицитна на материале функционирования этих частиц в паре к демонстративам рядов -w и -n в качестве экспонентов вокатива, как и их раздельное (альтернирующее) употребление в той же функции [10, т. 1, с. 86]. В частности, очевидна генетическая и функциональная связь арабской частицы (экспонента) вокатива *jā* и египетской **jā*, ср. [8, т. 1, с. 25].

При анализе афразийских дейктических морфем создается впечатление, что первичные формы структуры C/SV очень рано дифференцировали качество гласного в зависимости от приуроченной ему функциональной нагрузки, заключавшейся прежде всего в выражении локативно-направительных отношений. Например, имеется основание для реконструкции дейктико-релятивной морфемы **i* в двух реализациях **ja* и **ji*, где гласные уточняли «дистанцию указания»: харари *ja*, *ja'*, *ja'* (где гортанный в двух последних формах — вторичное усиление) «тот», но *ji* «этот» [37, с. 317]; амх. *jeh* (< **ji* + *hi* «вот этот») «этот», но *ja* «тот» [38, с. 25]. Отсюда теоретически возможно развитие форм 3 л. релятивного ряда личных местоимений, что, возможно, лучше всего видно на примере хауса -*ya* «он» [39, с. 39 и сл., ср. с. 163]. Соположение указанной морфемы с глагольными основами образует некоторые финитные формы семитского префиксного спряжения [40, с. 52—53]. В этой связи И. Н. Воевуцкий любезно указал автору на релятивную частицу *je-* в амхарском и представил ряд источников по южным эфиосемитским языкам. Амх. *je* соответствует *jā* в гураге, гафат и аргобба в тех же позициях и функциях [41, с. 44, 54]. Эта же морфема реализовалась и как предлог «к, для; поскольку, из-за» [41, с. 179].

Эта же релятивная морфема встречается в срединной позиции в составе местоименных композитов, например, в формах вопросительного местоимения «какой?» в аккадском и арабском: акк. м. р. *'ajjū(m)*, ж. р. *'ajjītu(m)*, араб. соответственно *'ajju(n)* и *'ajjatu(n)*. Относительно начального *'aj-* см. выше. Второй йот с гласным — та же протоафразийская дейктико-релятивная морфема, но специализированная на релятивной функции, причем здесь гласный сигнализирует о роде и падеже. Буквально такая форма читается как «? + который / ая + он / она / его (и т. д.)». Помимо этой формы, но менее эксплицитно, протоафразийская релятивная морфема *i* встречается в составе парадигмы аккадского самостоятельного притяжательного местоимения, часть форм которой соответствует таковым старой парадигмы личного независимого местоимения в египет-

ском языке и кушитской парадигмы местоимения с инфиксом *-j-* [36, с. 77, 223—224; 33, § 44 с; 42, с. 227—228]. Релятивная функция этой морфемы в аккадской парадигме может быть понята при допущении, что морфема 1 л. либо предствлена \emptyset , либо совпадает с релятивной морфемой и опущена ради устранения гаплогогии, а интервокальный алеф (возможен также йот) — результат переосмысления сонанта релятивной морфемы в глайдовый сонант с неустойчивым качеством реализации в зависимости от узуса данной эпохи. Итак, форма 1 л. *ja'im* «мое» расшифровывается как $\emptyset + ja + im$ «(я, меня) + которого + это»; 2 л. *ku'a'im* из *ku + ja + im* «ты, тебя + которого + это».

И, наконец, постфиксная реализация указанной дейктико-релятивной морфемы в качестве суф. *-ij-* относительного прилагательного (нисбы) очень хорошо известна в силу ее продуктивности в семитских и египетском старом состоянии. И уж совсем вероятно, чтобы с этим суффиксом не была генетически связана флексия генитива *-i*, эксплицитная в некоторых семитских языках старом состоянии [43, с. 112], хотя относительно характера этой связи существуют две диаметрально противоположные концепции, анализировать которые здесь неуместно и преждевременно.

Возвращаясь к египетскому материалу, следует заметить, что если предположения о египетских формах вопросительного местоимения сделаны корректно и родство египетского и семитского вопросительного местоимений приемлемо, то логично и предположение о членении египетской формы на два компонента: *j + zj*. Начальный *j* является в таком случае египетской реализацией общеафразийской дейктико-релятивной морфемы *i*, но не в функции маркера вопроса, ибо в других египетских вопросительных местоимениях он отсутствует, но, по-видимому, в функции, близкой к чисто релятивной либо релятивно-направительной (**ji-* «который этот», либо **ja-* «который тот», см. выше о составе *'aj-* и *ja, ji* в афросемитских языках). Но и вторая часть тоже представляет собой явный композит: *z + j*, где *z* восходит к общеафразийской дейктико-релятивной морфеме * $\frac{3}{z}V$ (см. выше), а *-j* — повторение соответствующей дейктико-релятивной морфемы. В таком случае вторая часть местоименного композита означает «тот + который», а вся вопросительная форма — «который этот / тот = тот, который (есть) X?» в значении «какой, который, что за?». Ввиду недифференцированности первичного демонстратива и первичного наречия возникновение значения «где?» можно объяснить через интерпретацию «который тут / там = тот, который (есть) X?». Проконстатируем, что поиски иных реализаций морфемы * $\frac{3}{z}V$ в египетском не увенчались успехом, кроме, разве что, одного случая: мы имеем в виду существительные *zj* «мужчина» и *zj.t* «женщина». Транслитерация дается по Э. Эделю, вообще же написание с йотом является очень редким. Первоначально мы пытались возвести афразийскую морфему * $\frac{3}{z}V$ к существительному «человек», ср. нем. *man*, франц. (*l'*)*on*, но нигде не обнаружили развития значения «человек» > неопределенно-личное местоимение > демонстратив. Зато указательное местоимение анафорически широко употребляется повсеместно для указания на персону. Да и развитие арабской формы «обладатель» из дейктической основы не вызывает сомнений. По мнению И. М. Дьяконова, высказанному автору в ходе обсуждения данного материала, исходной основой в египетских формах *z (j)*, *z (j).t* является дейктическая с последующей дифференциацией при помощи родовых показателей. Афразийский материал, по его мнению, не дает оснований предполагать, что указанная дейктическая основа изначально соотносилась с классом одушевленных предметов. В коптском сохранились лишь рудименты этой

формы в составе преформатива существительных — имен обладателя профессии, качества, обитателя, и некоторых других, а именно в *sa* (*n*)- [*<* «человек» (+ нота генитива | *n*-)] [44, с. 23—24]. Здесь значение лексемы «человек» в особенности близко к значению субстантивированного релятивного демонстратива в арабской форме «обладатель». Эволюция этой морфемы в египетском такова: дейктическая морфема *>* субстантив *>* префиксная морфема с различными значениями субстантивации.

Обобщая материал по реализации общеафразийской релятивной морфемы *i* в египетском, следует отметить, что она представлена: 1) в суффиксе относительного прилагательного, см. выше; 2) в составе частицы *jn* [45, 46]; 3) возможно, в составе отрицаний *jw* и *jw**tj* — в последнем бесспорно в последней позиции; 4) наверняка в составе причастий, относительных глагольных форм и — реже — в основах финитных глагольных форм суффиксного спряжения (чаще в старо- и новоегипетском языках, значительно реже — в среднеегипетском). По поводу этих форм с начальным йотом со времени издания специальной работы К. Зете [47] считалось, что начальный йот представляет собой протетику. Но инвентарь форм [10, т. 1, с. 199—203; 4, с. 209; 16, с. 162] и, что самое главное, — их прослеживаемое морфологическое строение [10, т. 1, с. 202—203] зачастую не позволяют объяснить этот начальный йот таким способом. Протетику еще можно было бы постулировать в формах императива, если обязательно ориентироваться на арабские формы, начинающиеся с протетического («васлового») алефа. Наличие же в причастии, относительной глагольной форме или даже в финитной с релятивным значением специального маркера релятивности представляется вполне оправданным. Отметим, что поздние рудименты префикса намекают на древнее чередование в его составе гласных *i/a*. Теперь обратимся к вероятностному обоснованию вокализации египетского относительно-вопросительного местоимения «который?».

Знак (31), читаемый У. Ф. Олбрайтом [18, с. 35, 64] и В. Хельком [19, с. 592] как *'i* в результате сопоставления с еврейским заимствованием (32) «остров» [8, т. 1, с. 47; 48, с. 392], так и ввиду соответствия ему *-i* в коптском топониме (33) (Philae, остров Филе) [8, т. 1, с. 47; 49, с. 159], вследствие его поздней контаминации со знаком (34) (идеограмма и детерминатив к лексемам «поток», «канал») по лексеме «поток», ср. [50, с. 82; 49, с. 66; 8, т. 1, с. 146; 51, с. 108], начинавшейся с фонетической последовательности *ja-* (вар. *jo-*), в соответствии с правилами использования морфографемы в качестве знака группового письма, изложенными выше, мог наряду с чтением *'i* иметь и значение *ja* (-), к этому см. также материал по указанному знаку в таблице знаков Э. Х. Гардинера [4, с. 487]: (35) *Yaret*, сирийский топоним, где (36) раскрывается как *ja-*. По закону анлаутной позиции *ja-* мог чередоваться с *'a-*. В этой связи ср. более позднее написание имени собственного, принадлежавшего вождю ливийского племени *Mšwš*, современнику царей Пийя (Пианхи) и Шабаки (XXV Дин.), именуемому *Аюнош*: Гебель Баркал (37) и Мединет Хабу (38), где соответствие (39) при наличии в составе словоформы знаков, наиболее вероятно передающих *-o-*, свидетельствует в пользу начального *'a-* — любезно представленным материалом данных написаний я обязан А. Г. Суцескому. См. также теоретические соображения о возможности фоно-морфологического чередования *ja-* / *ji-*. Второй и третий элементы вопросительного местоимения должны были образовывать структуру типа *-zij + V*, где *V* был либо тоже дейктическим показателем, либо функционировал

1	𐤀 44, 𐤁 44	𐤀 (𐤁)	19
2	𐤀 44	זֶה, זֵי, זָ	20
3	𐤀 𐤁, 4𐤀 𐤁 𐤁	ז	21
4	4𐤀 444	ז	22
5	𐤁	זָ	23
6	𐤁	𐤁, 𐤁 44	24
7	𐤁	4𐤁 444, 𐤁 𐤀 𐤁	25
8	𐤁	𐤁 𐤀 𐤁	26
9	𐤁	𐤁	27
10	𐤁 44	𐤁 44	28
11	𐤁	𐤀 (𐤁)	29
12	4	זֵי + זָ	30
13	44	ז	31
14	𐤁 44	ז	32
15	𐤁 𐤀 𐤁	𐤁 44 𐤁	33
16	𐤁 𐤀 𐤁 𐤁	𐤁	34
17	𐤁 𐤀 𐤁	𐤁 𐤁 44	35
18	𐤁 𐤁	𐤁	36
37	𐤁 𐤁 𐤁 𐤁, 𐤁 𐤁 𐤁 𐤁	38 𐤁 𐤁 𐤁 𐤁	
	39 𐤁 = 𐤁 = 𐤁		

в качестве падежной флексии³. Если он был дейктическим морфем, то по качеству не должен был быть равен *i*, ибо в таком случае йот в интервокальном положении был бы элидирован. В такой интерпретации вся форма приблизительно вокализуется следующим образом: староегипетский — **ji / aziV* (где *V = a?*), среднегипетский — **j / 'i / azi*, новоегипетский — **i / e? / aze / i / e*, где *z* в последних двух формах является фонетической реализацией сибиллянтной фонемы *s*.

В заключение хотелось бы особо подчеркнуть, что сам факт столь широкого функционирования дейктико-релятивной морфемы *i* в афразийских языках ярко свидетельствует об исключительной роли определенной конструкции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Петровский Н. С. Египетский язык. Л., 1958. С. 30—67.
2. Коростовцев М. А. Египетский язык. М., 1961. С. 15—23.
3. Петровский Н. С. Звуковые знаки египетского письма как система. М., 1978.
4. Gardiner A. H. Egyptian grammar. 2nd ed. L., 1950.
5. Schenkel W. Einführung in die klassisch-ägyptische Sprache und Schrift. Tübingen, 1987. S. 27—59.
6. Перепелкин Ю. Я. Хозяйство староегипетских вельмож. М., 1988. С. 6—7.
(V)
7. Rundgren F. Über Bildungen mit *s*- und *n-t*-Demonstrativen im Semitischen. Beiträge zur vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. Uppsala, 1955.
8. Erman A., Grapow H. Wörterbuch der ägyptischen Sprache. Bd 1—5. Berlin, 1955.
9. Faulkner R. O. A concise dictionary of Middle Egyptian. Oxford, 1964.
10. Edel E. Altägyptische Grammatik. Bd 1—2. Rome, 1955, 1964.
11. Sethe K. Die altaegyptischen Pyramidentexte. Bd 4. Leipzig, 1922.
12. Lefebvre G. Grammaire de l'égyptien classique. Le Caire, 1940.
13. Четверухин А. С. Синтаксическая функция указательного местоимения *pw* в староегипетском именном предложении // ВДИ. 1981. № 4.
14. Roeder H. Die Prädikation im nominalen Nominalsatz // Göttinger Miscellen. 1986. Hf. 91.
15. Erman A. Neuägyptische Grammatik. 2. Aufl. Leipzig, 1933.
16. Cerný Ja., Groll S. I. A late Egyptian grammar. Rome, 1984.
17. Lesko H. A dictionary of Late Egyptian. V. 1. Berkeley, 1982.
18. Albright W. F. The vocalization of the Egyptian syllabic orthography. New Haven, 1934.
19. Helck W. Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. Wiesbaden, 1962.
20. Берлев О. Д. Незамеченный до сих пор финикизм в отчете Венамуна о поездке в Библ // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Вып. VIII. М., 1972. С. 73—74.
21. Worrell W. H. Coptic sounds. Ann Arbor, 1934.
22. Vergote J. Phonétique historique de l'égyptien. Les consonnes. Louvain, 1945.
23. Дьяконов И. М. Значение Эблы для истории и языкознания // Древняя Эбла. М., 1985.
24. Cantineau J. Cours de phonétique arabe suivi de notions générales de phonétique et de phonologie. P., 1960.
25. Хосроев А. Л., Четверухин А. С. Вводная часть // Ернштедт П. В. Исследования по грамматике коптского языка. М., 1986.

³ Вопрос о наличии падежной системы в египетском был вновь поставлен покойным Дж. Б. Каллендером в 1975 г. [52] и нами примерно одновременно [53, 54]. Для семитских языков наличие падежной системы на определенном этапе их развития было доказано И. Дж. Гельбом [36], абсолютно опровергающим тезис Б. М. Гранде [55], согласно которому «первоначально (в протосемитском состоянии языков) падежных флексий не было, и трехступенчатая система падежей развилась впоследствии в некоторых из этих языков». Идею наличия падежной флексии по крайней мере в староегипетском разделяют также О. Д. Берлев и И. М. Дьяконов. Мы эту идею собираемся развить в другом исследовании. Но уже сейчас можно сказать, что любая падежная система, в частности и староегипетская, в конечном счете основывается на анафорическом употреблении дейктических морфем и первоначально выражает, помимо анафорических, также и локативно-направительные отношения. См. также [56].

26. Green A. O. A practical Arabic grammar. Oxford, 1901.
27. Oliverius Ja., Veselý R. Egypťská hovorová arabština. Praha, 1965.
28. Коростовцев М. А. Введение в египетскую филологию. М., 1963.
29. Белова А. Г., Дьяконов И. М., Милитарев А. Ю., Порхомовский В. Я., Столбова О. В. Сравнительно-исторический словарь афразийских языков. Вып. 3 // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Вып. XIX. Ч. III. М., 1986.
30. Горшкова Н. Н. Форманты указательности в языке хауса // Семитские языки. Вып. 3. М., 1976.
31. Дьяконов И. М. Семито-хамитские языки. М., 1965.
32. Diakonoff I. M. Afrasian languages. M., 1988.
33. Von Soden W. Grundriß der akkadischen Grammatik. Roma, 1952.
34. Gelb I. J., Landsberger B., Oppenheim L. A., Reiner E. The Assyrian dictionary. V. 1 A. Chicago, 1964.
35. Kautzsch E. Wilhelm Gesenius' Hebräische Grammatik. 27. Aufl. Leipzig, 1902.
36. Gelb I. J. Sequential reconstruction of Proto-Akkadian. Chicago, 1969.
37. Wayne E. Harari-Texte in arabischen Schrift. Wiesbaden, 1983.
38. Юшманов Н. В. Амхарский язык. М., 1959.
39. Ольдерогге Д. А. Язык хауса. Л., 1954.
40. Старинин В. П. Эфиопский язык. М., 1967.
41. Leslau W. Gafat documents. New Haven, 1945.
42. Дьяконов И. М. Языки древней Передней Азии. М., 1967.
43. Brockelmann C. Semitische Sprachwissenschaft. Leipzig, 1906.
44. Еланская А. И. Коптский язык. М., 1964.
45. Chetverukhin A. S. Unexpected linguistic interpretation of JN «SAY(S), SAID» // Göttinger Miszellen. 1988. Hf. 104.
46. Четверугин А. С. Египетский маркер агенса *jn* и предлог «для; от» *n* // АН СССР. Ордена Трудового Красного Знамени Ин-т востоковедения. Тез. конф. аспирантов и молодых сотрудников. Языкознание. М., 1988.
47. Sethe K. De aleph prosthetic. B., 1982.
48. Vycichl W. Grundlagen der ägyptisch-semitischen Wortvergleiche // Mitteilungen des Deutschen archäologischen Instituts Abteilung Kairo. Bd 16. Wiesbaden, 1958.
49. Vycichl W. Dictionnaire étymologique de la langue copte. Leuven, 1983.
50. Crum W. E. A Coptic dictionary. Oxford, 1962.
51. Fecht G. Wortakzent und Silbenstruktur. Untersuchungen zur Geschichte der ägyptischen Sprache. Glückstadt; Hamburg; New York, 1960.
52. Callender J. B. Afro-Asiatic cases and the formation of ancient Egyptian verbal constructions with possessive suffixes // Afroasiatic linguistics. V. 2. Issue 6. Malibu: Undena, 1975.
53. Четверугин А. С. Вокализация именных морфологических показателей египетского языка // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Вып. XII. Ч. II. М., 1977. С. 270—274.
54. Четверугин А. С. Логико-грамматический предикат в староегипетском именном предложении и категория падежа и детерминации в родственных языках // Древний и средневековый Восток. История, филология. М., 1983. С. 106—120.
55. Гранде В. М. Происхождение падежных флексий в семитских языках // Арабская филология. М., 1968. С. 25.
56. Ельмслев Л. О категориях личности—личности и одушевленности—неодушевленности // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.

© 1990 г.

ГИРО-ВЕБЕР М.

ВИД И СЕМАНТИКА РУССКОГО ГЛАГОЛА

Исследовав глагольный вид в славянских языках с точки зрения морфологии, синтаксиса и семантики, аспектология все чаще и чаще обращается к изучению семантики самого глагола, глагольной основы. В самом деле, при учете семантики глагола становится возможным объяснить некоторые, пока еще не решенные вопросы, вызывающие споры среди лингвистов. Одним из первых, кто обратил внимание на связь семантики русского глагола с грамматической категорией вида, был Ю. С. Маслов. В своей пионерской статье «Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке», опубликованной в 1948 г., Ю. С. Маслов объясняет видовую непарность русского глагола и закладывает основы изучения семантики видовых противопоставлений [1, с. 148—165]. Впоследствии он применяет к анализу русского глагола оппозицию предельность / неопределенность [2]. Понятие предельности / неопределенности используется также другими исследователями, в частности А. В. Бондарко, Н. С. Авиловой, Н. Телином, М. А. Шелякиным, В. Бром, Х. Р. Мелигом, Ф. Леманном, Р. Брехтом и др. [3; 4, с. 20—28; 5 — 15], а также авторами последней Академической грамматики (далее — Гр.-80) [16, с. 589 — 604].

В Гр.-80 предельность представлена как семантическая категория русского глагола, объясняющая, по крайней мере частично, видовую несоотносительность. Предел действия определен как некая критическая точка, к которой стремится действие; по достижении этой точки действие прекращается, исчерпав себя. Только предельные глаголы (или точнее: глаголы с предельной основой) обладают признаком внутреннего предела: если они совершенного вида, то выражают достижение этого предела, если несовершенного — стремление к его достижению.

Непредельные глаголы (или точнее: глаголы с непредельной основой) не выражают внутреннего предела и остаются вне видовой оппозиции как непарные глаголы несовершенного вида. Однако действие или состояние, которое они выражают, может быть ограничено во времени. Временной предел фиксирует либо начало действия (*зачесть*), либо его окончание (*отговорить*), либо временной отрезок его протекания (*полежать*), либо ограничение действия одним актом его совершения (*прыгнуть*). Временной предел выражается некоторыми префиксами и суффиксом одноактного действия *-ну*, он присущ непарным глаголам совершенного вида. Ограниченность действия временным пределом совместима с непредельной основой, которая, сочетаясь с определенным аффиксом, порождает непарные глаголы совершенного вида. Итак, признак предельности / неопределенности является семантическим свойством глагольной основы и обуславливает принадлежность глагола к одному из трех видовых классов: а) непарные глаголы несовершенного вида (глаголы с непредельной

основой); б) парные глаголы (глаголы с предельной основой); в) непарные глаголы совершенного вида (глаголы с временным аффиксом).

Анализ глагольной семантики в Гр.-80 преодолевает, таким образом, два недочета предыдущих описаний. Один из них касается универсальности видовой оппозиции. В самом деле, в описаниях предыдущих академических грамматик видовая оппозиция не охватывала всех глаголов, поскольку из нее автоматически исключались непредельные глаголы. В таких условиях принцип универсальности видового противопоставления казался голословным. Вторым недочетом, вытекающим, впрочем, из первого, было представление совершенного вида как несовместимого с непредельностью. Все это в свое время отмечалось и критиковалось Н. Телином [6, с. 1—3; 7, с. 26—28]. Введение понятия временного предела, посредством которого непредельные основы дают в результате глаголы совершенного вида, позволяет устранить эти недостатки. Тем не менее в Гр.-80 не объясняется, например, почему глаголы типа *очутиться*, *опомниться*, *скончаться*, т. е. глаголы без временных аффиксов, принадлежат к классу непарных глаголов совершенного вида. Мало говорится о взаимосвязи лексической семантики с грамматической категорией вида и не указывается, как семантика глагола влияет на функционирование видо-временных и видо-модальных форм.

Опираясь на семантическую классификацию английского глагола, сделанную Э. Вендлером [17], Х. Р. Мелиг предлагает несколько другой анализ. По его мнению, русские глаголы, как и английские, делятся на четыре класса: 1) глаголы исполнения (accomplishments): *писать* / *написать письмо*; 2) глаголы деятельности (activities) *бегать*; 3) глаголы достижения (achievements): *находить* / *найти ключ*; 4) глаголы состояния (states) *знать*. Разделение глаголов на эти классы производится Вендлером на основании, главным образом, двух критериев: а) может ли данный глагол употребляться в продолженной форме (Continuous)? б) сочетается ли данный глагол с так называемыми инклюзивными обстоятельствами времени (типа *in two hours* «за два часа»)?

Продолженная форма, возможная для глаголов исполнения и деятельности, не употребляется в остальных классах. Что касается инклюзивных обстоятельств времени, они сочетаются только с глаголами исполнения и достижения и невозможны при глаголах деятельности и состояния. Хотя в русском языке нет продолженной формы, ученый находит в системе русского глагола подобные классы. Глаголы исполнения (соответствующие непредельным глаголам в других описаниях) обозначают ситуации, которые не могут быть завершены, но только прерваны. Глаголы достижения в несовершенном виде всегда интерпретируются неактуально (при условии, что они соотносятся с однократным событием): в самом деле, они не могут обозначать длительных ситуаций (**Игорь уже находил то, что он потерял*). Глаголы состояния обозначают всегда неактуальные ситуации. Сочетаемость с инклюзивными обстоятельствами времени типа *за два часа* похожа на сочетаемость классов английского глагола. С точки зрения видовой соотнесенности, глаголы исполнения и достижения образуют видовые пары, а глаголы деятельности и состояния остаются непарными глаголами несовершенного вида. Тем не менее перфективация глаголов деятельности возможна: она производится при помощи префиксов, выражающих способ действия; глаголы же состояния совершенного вида не имеют. Другие семантические черты, связанные с видом, отмечаются ниже. Описание не предлагает списков глаголов, принадлежащих к каждому классу, и даже исключает возмож-

ность их составления, поскольку принадлежность глагола к одному из классов зависит не только от его синтаксических свойств, но также от смысла целого предложения, а иногда даже от некоторых внеязыковых обстоятельств. Случается, что один и тот же глагол функционирует в разных высказываниях как представитель разных семантических классов [11, с. 246].

Хотя анализ Мелига очень интересен, он слишком много заимствует от описания английского глагола Вендлером, что не всегда обосновано на русской почве. Так, например, на наш взгляд, не стоит различать в русском глаголы исполнения и состояния: они образуют один класс, хотя в английском они несомненно морфологически и функционально различны: ведь только глаголы исполнения допускают продолженную форму. Во-вторых, анализ Мелига обходит молчанием непарные глаголы совершенного вида, и вопрос о том, к какому семантическому классу их причислить, остается открытым. Думается, что описание системы русского глагола следует уточнить и, главным образом, более наглядно показать взаимосвязь семантики глагола с видом.

Хотя признак предельности несомненно играет определенную роль в глагольной семантике, выбор именно этого признака для названия глаголов в описаниях аспектуальной системы нам кажется не совсем удачным. Во-первых, действие или состояние, не стремящееся ни к какому внутреннему пределу, может быть ограничено пределом извне: как было отмечено выше, добавление определенного аффикса к неопредельной основе придает глаголу временной предел. И сам термин «предел» становится при этом двусмысленным: имеется ли в виду та критическая точка, к которой естественно направлены некоторые действия и которая завершает их протекание во времени, или внешняя граница, не имеющая ничего общего с типом действия или состояния? Наряду с этим возражением логического характера существует другой, чисто лингвистический довод. Присутствие или отсутствие внутреннего предела не предопределяет вида глагола: перфективация и предельных и неопредельных глаголов возможна. Таким образом, то, что традиционно названо предельностью, не связано непосредственно с видом. Существование внутреннего предела — это только одно из условий появления и з м е н е н и я в глагольной ситуации. В самом деле, достижение внутреннего предела и, следовательно, исчерпание и завершение действия неизбежно вызывает изменение либо субъекта, либо объекта действия. Изменение — семантический признак глагольной ситуации. Оно обозначает некую модификацию, касающуюся субъекта или объекта действия, вызванную достижением предела действия и, следовательно, его завершением. Присутствие изменения связано с совершенным видом; его отсутствие — с несовершенным. Поскольку изменение непосредственно влияет на вид, оно в центре нашего внимания. Отметим, что понятие это мы заимствуем из трудов итальянских лингвистов Ф. Антинуччи и Л. Геберт, использующих его для описания семантики вида в польском языке [18, 19]¹. Кроме того, мы считаем релевантным другой семантический признак глагольной ситуации: протекает ли она постепенно, предполагая некоторую прогрессивность накопления признаков, или, наоборот, эффект действия осуществляется мгновенно и нет никакой возможности наблюдать его в протекании? В связи с этим наша терминология отличается от традиционной: она использует семан-

¹ Кроме Антинуччи и Геберт, понятие «изменения» в аспектологии используется Е. В. Падучевой [20].

тические черты глаголов, непосредственно связанные с видом, что, пожалуй, более адекватно отражает суть проблемы.

Прежде чем перейти к нашей классификации, необходимо уточнить, что под термином «глагол» мы понимаем глагольную лексему в целом, функционирующую в конкретном высказывании. Это единица лексики, обладающая определенными синтаксическими свойствами, а не единица лексикографии, задуманная как заглавное слово в словаре и объединяющая множество разных употреблений. Учитывая замечания Вендлера и Мелига, касающиеся влияния смысла предложения и даже некоторых внеязыковых данных на принадлежность глагола к семантическому классу [11, с. 235—238, 241—243, 246—249], мы отличаем, например, *писать*, *писать*, непарный глагол несов. вида со смыслом «быть писателем, заниматься писательской работой» от видовой пары *писать* / *написать что-либо*, выражающей конкретное действие составления какого-либо текста. Можно пойти еще дальше и говорить, как предлагает Р. Д. Брехт, не собственно о глаголах, а о ситуациях, которые они обозначают [15].

В нашей классификации глаголы делятся на три класса: 1) адинамичные глаголы (или ситуации); 2) динамично-постепенные глаголы (или ситуации); 3) динамично-моментальные глаголы (или ситуации)². Классификация основана на двух критериях, отвечающих семантическим признакам, свойственным глагольному действию и характеризующим его протекание: а) присутствие изменения, вызываемого действием; б) постепенность осуществления действия.

Адинамичные глаголы обозначают процессы, не нацеленные на изменение, которому мог бы подвергнуться субъект или объект действия. Эти процессы сами по себе не предполагают никакого развития: от начала до конца их внутреннего протекания их интенсивность не меняется. К адинамичным глаголам принадлежат и типично статальные глаголы, обозначающие существование, состояние или отношение типа: *быть*, *существовать*, *присутствовать*, *сидеть*, *лежать*, *стоять*, *иметь*, *принадлежать*, *стоить* и т. п., и глаголы восприятия и чувства, как *видеть*, *слышать*, *любить*, *ненавидеть*, и даже некоторые глаголы действия, как, например, глаголы перемещения: *ходить*, *плавать*, глаголы жестов и движения: *махать рукой*, *кивать головой*, глаголы слова и звука: *шуметь*, *петь*, *кричать*, глаголы профессии: *врачевать*, *петь в опере*, глаголы временного занятия: *играть*, *гулять* и т. п.

Говоря, что адинамичный глагол не нацелен на изменение, мы утверждаем, что действие или состояние, которое им называется, не предусматривает никакого заранее известного результата, неизбежно вызванного его завершением. Например, ситуация, описываемая в высказывании *Ребенок кричит*, хотя она, вероятно, имеет какие-то последствия во внеязыковой действительности (например, обращая на кричащего ребенка внимание матери), не рассматривается нами как ситуация, ведущая к результату, поскольку она сама по себе не предполагает никакой другой ситуации, отличной от той, которая предшествовала действию. Чтобы говорить о результате в лингвистическом смысле, нужно не только, чтобы ситуация, существующая по окончании действия, отличалась от ситуации, предшествовавшей действию, но чтобы перемена ситуации заранее предусматривалась самим действием и неизбежно следовала за его завершением.

Обобщая, можно сказать, что ситуации, обозначаемые адинамичными глаголами, не вызывают изменения и не предполагают постепенности.

² Предлагаемая классификация опирается на труды Г. Гийома [21] и К. Бланш-Бевенист [22—23] в области французского глагола.

Подавляющее большинство адинамичных глаголов — непарные глаголы несовершенного вида. Это главным образом беспрефиксные глаголы.

Наоборот, динамичные глаголы нацелены на изменение, касающееся субъекта или объекта действия.

Динамично-постепенные глаголы обозначают ситуации, которые продвигаются к своему внутреннему пределу. Достижение предела исчерпывает и автоматически завершает действие. В результате завершения действия возникает ситуация, отличная от той, которая предшествовала действию. Глаголы эти входят в видовую оппозицию, образуя регулярные пары. Несовершенный вид обозначает при этом продвижение действия к пределу, а совершенный — достижение предела и наступившее после него изменение. Например, в паре *раздеваться/раздеться* завершение действия неизбежно приводит субъект к состоянию, в котором он будет раздетым, а в паре *посылать/послать деньги* влечет за собой ситуацию, в которой деньги — объект действия — будут посланы [24]. Изменение — это либо конкретный результат действия: *написать роман, связать шапочку*, либо приобретение нового признака субъектом или объектом: *побледнеть, укрепить сооружение*, либо перемещение субъекта или объекта: *уехать, убрать чемодан* и т. п. Несовершенный вид может иметь конативное значение, противопоставляясь совершенному; в этом случае усилия субъекта для достижения результата наглядно показывают постепенное развитие действия: *Он долго решал задачу и наконец решил*. Динамично-постепенные глаголы соответствуют глаголам исполнения в классификации Вендлера — Мелига. Но глаголы исполнения охарактеризованы прежде всего как предельные и совместимые с некоторыми обстоятельствами времени, тогда как динамично-постепенные глаголы определяются с помощью признаков изменения и постепенности.

Динамично-моментальные глаголы также обозначают действия, нацеленные на изменение, но эти действия нельзя наблюдать в развитии, они не развертываются во времени. Действие может быть показано только в завершении, как готовое, уже свершившееся событие. В терминологии Т. В. Булыгиной это предикаты мгновенного осуществления [25, 26]. Динамично-моментальные глаголы принадлежат или к парным глаголам, или к непарным глаголам совершенного вида. В видовых парах совершенный вид обозначает изменение ситуации, приобретение нового состояния, несовершенный вид — повторительность действия; в обоих случаях нет возможности представить действие в его протекании. В этом разряде много широко употребительных глаголов, таких, как *приходить/прийти, приезжать/приехать, случаться/случиться*. Среди них некоторые глаголы обозначают случайные, произвольные действия: *промахиваться/промахнуться, встречать/встретить (кого-либо случайно на улице), терять/потерять (что-либо конкретное), находить/найти (что-либо конкретное)* и т. п. Показательно, что эти глаголы, будучи регулярными с точки зрения морфологии, дефектны функционально: они не обладают значением длительности. В самом деле, несовершенный вид не способен употребляться ни для обозначения настоящего актуального, ни прошедшего и будущего длительного (иногда называемого процессным). В частности, эти глаголы не сочетаются с обстоятельствами типа *долго*, и высказывания **Он долго промахивается // приходит !!! приезжает, *Он долго промахивался // приходил // приезжал* неграмматичны («ungrammatical»). Отсутствие этих форм вызывает ситуацию, в которой банальная фраза *Что случилось?* невозможна в настоящем времени в применении к актуальной ситуации, вместо обыкновенной временной трансформации нужно прибегнуть к замене глагола

синонимом: *Что происходит?* Как это давно отметил Ю. С. Маслов, который одним из первых описал глаголы этой группы, нельзя сказать, описывая актуальное происшествие: **Смотри, он к нам приходит*, но только *Смотри, он к нам идет* [1, с. 63]. Наоборот, если речь идет о повторяющихся действиях, *случаться* и другие динамично-моментальные глаголы вполне естественны: *Это случается только весной; Он часто к нам приходит* и т. п.

К динамично-моментальным глаголам принадлежат также непарные глаголы совершенного вида. Невозможность значения длительности действия в этих глаголах связана с отсутствием несовершенного вида, т. е. с видовой дефектностью. Среди них есть такие глаголы, для которых вообще нельзя подобрать соответствующие формы совершенного вида — это абсолютные perfectiva tantum: *хлынуть, рухнуть, очутиться, скончаться, поскользнуться, заблудиться* и т. п. Все они обозначают внезапное, резкое или окончательное изменение. Этот факт нам кажется показательным. В самом деле, отсутствие форм несовершенного вида здесь закономерно: он семантически лишний, поскольку возникновение неожиданного события не нуждается в предварительном процессе. Таким образом, сам набор языковых средств показывает, что действия типа *хлынуть, рухнуть* совершаются внезапно и не подготовлены каким бы то ни было процессом.

Но среди динамично-моментальных глаголов есть и такие, которые в определенных условиях можно соотносить с беспрефиксными глаголами несовершенного вида: это относительные perfectiva tantum. Тем не менее образованные таким образом пары нерегулярны, потому что глаголы в них семантически неоднородны и отличаются друг от друга лексическим значением. Носителями смысловой разницы являются разные аффиксы, как правило, временного ограничения, как, например, приставки начнательные *за-, по-, воз-* (*закричать, побежать, возненавидеть*), финитивные *от-, про-, раз-* (*отобедать, прошептать, разлюбить*), дуративные *по-, про-, пере-* (*почитать, проговорить полчаса, переждать грозу*), приставка одноактного действия *с-* (*сходить на почту*) и суффикс *-ну-* в глаголах типа *крикнуть*. Присутствие аффикса временного ограничения, как правило, препятствует деривации и образованию несовершенного вида, что влечет за собой видовую дефектность. И хотя в некоторых случаях деривация возможна (*закурить — закуривать, просидеть — просиживать*), мы называем аффиксы этого типа «моноаспектуальными». С точки зрения глагольной семантики в описываемых глаголах понятие изменения смешивается с понятием самого действия, поскольку действие само по себе представляет собой изменение. Так, например, ситуация, указанная в высказывании *Он пролежал два часа*, содержит информацию, что действие продолжалось не более (и не менее) двух часов, значит, до него и после него субъект был обязательно занят другим действием (или другими действиями). Таким образом, указанная ситуация представляет собой изменение в сравнении с тем, что предшествует и что следует. Если глаголы этой группы допускают имперфективацию, несовершенный вид не обладает, как правило, значением длительности и пары типа *просиживать/просидеть* присоединяются к группе *случаться/случиться* и не покидают класса динамично-моментальных глаголов.

Следует отметить, что в некоторых морфологически однородных видовых парах глаголы различаются семантически. Так, *понять* принадлежит к динамично-моментальным глаголам с ингрессивным значением, тогда как его парный глагол *понимать* адинамичен, обозначает состояние: *понимать/понять* — функционирует как *любить/полюбить*.

Классификация Мелига учитывает только парные глаголы этого класса: они там причисляются к глаголам достижения [11, с. 239—241]. Непарные глаголы совершенного вида, хотя они многочисленны в русском языке, не упоминаются. Предложенные нами семантические классы охватывают все глаголы русского языка: непарные несовершенного вида, видовые пары и непарные совершенного вида. Они распределены по семантическим классам с учетом их видовой регулярности или дефектности; иначе говоря, предложенные семантические классы отражают формальные типы видового противопоставления. Подобные анализы были предложены В. Броем [10, с. 125] и Ф. Леманном [12, с. 72—75], которые также различают три класса русских глаголов, называя их, конечно, иначе³.

Теперь следует поставить вопрос, кажущийся нам основным: каким образом использовать эти данные в целях объяснения видовых противопоставлений и конкретного функционирования видо-временных и видо-модальных форм? И, в самом общем понимании, что полезного и нового дает нам этот подход? Мы попытаемся ответить на этот вопрос, проанализировав сначала отношения между глагольной семантикой и видовой дефектностью и затем влияние этой семантики на некоторые конкретные употребления видовых форм.

Видовая дефектность ставит под вопрос связность видовой системы в русском языке. В самом деле, не может быть и речи о том, чтобы свести эту дефектность к небольшой группе исключений, так как она охватывает действительно массу глаголов⁴. Как можно в этих условиях утверждать, что русские глаголы организованы бинарно? Анализ глагольной семантики позволяет понять, что глаголы бывают парными или непарными не случайно, а в зависимости от своих семантических свойств и что их бинарная организация — результат длительных и сложных процессов⁵.

Начнем с непарных глаголов несовершенного вида. Эти глаголы семантически адинамичны, т. е. обозначают ситуации, не приводящие ни к какому изменению. Поскольку изменение связано с совершенным видом, естественно, что он несовместим с их семантикой. Непарность адинамичных глаголов, таким образом, закономерна.

В непарных глаголах совершенного вида, принадлежащих к классу динамично-ментальных, совмещаются два значения: значение изменения, выраженное термином «динамичный», и значение отсутствия постепенности, содержащееся в термине «ментальный». В этих глаголах действие не наблюдается в своей продолжительности и не может быть отделено от своего результата. Поскольку они не способны называть сам процесс действия, а этот последний выражается несовершенным видом, этот вид здесь не нужен и его отсутствие также закономерно.

Что касается парных глаголов, большинство из них принадлежит к классу динамично-постепенных. Здесь действие направлено на изменение

³ Наша классификация совпадает, в частности, с классификацией В. Броя, который различает три класса русских глаголов: а) *aterminative Verben*; б) *proces-sual-terminative Verben*; в) *absolut-terminative Verben* [10, с. 125].

⁴ На этот факт обращала внимание, главным образом, Н. С. Авилова, которая считает видовую несоотнесенность системной чертой русского глагола [4, с. 60].

⁵ На сложность бинарной организации русского глагола обратил внимание в своем докладе на последнем Съезде славистов в Софии Ф. Леманн, выдвигая понятие функциональных видовых партнеров и отказываясь от понятия видовой пары [14]. Понятие функционального партнерства расширяет понятие видовой соотнесенности, включая в бинарную систему ту массу непарных глаголов, которая традиционно окзывалась вне видового противопоставления в явном противоречии с реальным функционированием видовых форм.

и продвигается к нему. Эта постепенность, сам процесс действия выражается несовершенным видом. Совершенный же вид выражает достижение изменения. Пары этого класса, единственные в русской лексике, совмещают значение процесса и наступающего после него изменения. Они всегда казались исследователям самыми регулярными; в самом деле, только они обладают полной функциональной парадигмой. Они лучше всех отражают равновесие видовых отношений, поэтому находятся в центре видовой системы.

Однако среди парных глаголов есть и динамично-моментальные, из которых значение постепенности и процесса полностью исключено. В этих парах форма несовершенного вида обладает неполной функциональной парадигмой: из нее исключены самые характерные для несовершенного вида значения ⁶. В сравнении с совершенным видом он кажется здесь второстепенным. Глаголы этой группы занимают промежуточное место между парными глаголами с полной функциональной парадигмой и непарными глаголами совершенного вида.

Итак, место глагола в системе видовых противопоставлений непосредственно зависит от некоторых семантических черт, присущих самой глагольной лексеме. Соответствия между семантическим классом глагола и аспектуальным классом могут быть представлены в следующей таблице:

Семантический класс	Аспектуальный класс
Адинамичные глаголы	Непарные глаголы несовершенного вида
Динамично-постепенные глаголы	Пары с полной функциональной парадигмой
Динамично-моментальные глаголы	1) Пары с неполной функциональной парадигмой 2) Непарные глаголы совершенного вида

Кроме того, семантика глагола влияет на употребление конкретных видовых форм. Есть, конечно, значения, для выражения которых допускается только один вид, безотносительно к семантическому классу глагола: так, например, регулярно повторяющиеся действия обозначаются только несовершенным видом. Но в других значениях выбор видовой формы часто зависит от самого глагола. Это происходит, в частности, при указании на единичное, законченное к моменту речи действие (без учета его длительности): здесь возможны оба вида, и их распределение зависит от семантического класса глагола и от коммуникативной цели высказывания. *Итак, безотносительно к грамматическому времени адинамичный глагол выступает всегда в несовершенном виде, например: *Вчера мы гуляли в парке; Вечером он смотрел телевизор; Завтра мы будем гулять в парке; Вечером он будет смотреть телевизор.*

Динамично-моментальный глагол, в тех же самых условиях, имеет форму совершенного вида: *Она вчера потеряла ключ; Это случилось два года тому назад; Она опять потеряет ключ; Это никогда не случится!*

При глаголах динамично-постепенных оба вида возможны и их выбор зависит от цели высказывания. Если говорящий желает только сообщить, что данное действие имело место и его не интересует вызванное им изменение, он употребляет несовершенный вид; наоборот, если говорящего интересует результат действия, он прибегает к совершенному виду. Ср.: *В пятницу Катя печатала статью; В пятницу Катя напечатала статью.*

⁶ Напомним, что очень долго несовершенный вид определялся как форма, могущая быть ответом на вопрос: «Что ты там делаешь?» [27].

Мы вместе будем готовиться к экзамену; Мы вместе подготовимся к экзамену.

Если законченное действие не может мыслиться без результата (результат неотделим от завершения действия, он неотвратим), говорящий не может от него отвлечься и должен употребить совершенный вид: *В катастрофе погиб мой близкий друг. Его родители развелись.*

Если, наоборот, будущее действие не может мыслиться как результативное, поскольку говорящий не уверен, будет ли в самом деле достигнут результат, совершенный вид неуместен, например: *Завтра он будет сдавать экзамен* и т. п.

Приведенные нами факты общеизвестны, но они получают другие толкования в лингвистической литературе, где редко учитывается глагольная семантика. Вследствие этого, формы совершенного и несовершенного видов, обозначающие единичное, законченное действие, обыкновенно анализируются в разных главах учебников, без учета их параллелизма. Про несовершенный вид тогда говорится, что он выражает либо общефактическое значение, представляя собой простую констатацию действия [28; 29; 16, с. 611], либо что он имеет обобщенно-фактическое значение [30, с. 28—30; 16, с. 611]. Совершенный вид толкуется как обладающий либо перфектным значением [28, с. 22—26], либо конкретно-фактическим значением [30, с. 22; 16, с. 605]. Если бы любая глагольная лексема могла употребляться, например, со значением простой констатации факта действия, допускались бы параллельные серии типа:

А. *В этом магазине я покупала платье.*

**В этом магазине я теряла кошелек.*

Б. *Год тому назад мы отдыхали на юге.*

**Год тому назад случилось несчастье.*

В. *Я виделась с ним в городе.*

**Он заблуждался в городе.*

Ясно, что если каждое второе из приведенных пар высказываний неграмматично, то это обусловлено как раз разницей в семантических свойствах глаголов каждой серии.

Другим примером смешения собственно видового значения с семантикой глагола является толкование выбора вида инфинитива после модального слова *нельзя*. Некоторые авторы ставят смысловую разницу в зависимости только от вида инфинитива и утверждают, что несовершенный вид обозначает запрещение действия, тогда как совершенный вид — невозможность действия [28, с. 81—82]. Здесь также частичное правило и своеобразный оттенок видовой формы некоторых глаголов возводятся к общему видовому значению. В самом деле, смысловая разница этого типа возможна только при глаголах динамично-постепенного класса (*Туда нельзя войти — дверь закрыта; Туда нельзя входить — там спит ребенок*), но она не возникает с другими глаголами. Так, например, адинамичные глаголы выражают оба оттенка несовершенным видом:

Н е в о з м о ж н о с т ь: *Нельзя гулять под дождем. Он был далеко и его нельзя было уже видеть. Таня, я понимаю, меня нельзя уже любить* (Горький).

З а п р е щ е н и е: *Ему нельзя курить. В зале нельзя шуметь.*

Такие примеры можно умножить. Примеры смешения собственно видовых значений со значениями времени, модальности или контекста приводит в своей книге о семантике видовых противопоставлений М. Я. Гловинская [31].

Итак, оказывается, что многие приводимые в учебниках и считавшиеся универсальными видовые значения — это только частные оттенки некоторых типов глаголов в определенных видо-временных или видо-модальных формах. В общем можно сказать, что семантика глагола представляет собой необходимый параметр функционирования видовой системы русского языка. Это никогда не было до конца выявлено и не нашло систематического отражения ни в каком описании⁷. Наоборот, в учебниках предлагаются все новые и новые якобы видовые значения, несмотря на теоретическую сомнительность такого подхода. Поскольку принадлежность глагольной лексемы к семантическому классу оказывается релевантным признаком глагола как носителя аспектуального значения, она должна учитываться при изучении функционирования видов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маслов Ю. С. Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке // Очерки по аспектологии. Л., 1984.
2. Маслов Ю. С. Вопросы глагольного вида в зарубежном языкознании // Вопросы глагольного вида. М., 1962. С. 13—19.
3. Бондарко А. В., Буланин Л. Л. Русский глагол. Л., 1967. С. 28—29.
4. Авилова Н. С. Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976.
5. Thelin N. Towards a theory of aspect, tense and actionality in Slavic. Uppsala, 1978. P. 69—91.
6. Thelin N. О семантике видов в русском языке // VIII Международный съезд славистов. 1978.
7. Thelin N. О соотношении семантики видов и акциональности в русском языке // Papers on Slavonic linguistics. № 3. Stockholm, 1979.
8. Шелякин М. А. Приставочные способы глагольного действия и категория вида в современном русском языке: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Л., 1972. С. 24—43.
9. Шелякин М. А. Категория вида и способы действия русского глагола. Tallinn, 1983. С. 157—165.
10. Breu W. Zur Rolle der Lexik in der Aspektologie // Die Welt der Slaven. 1984. Bd XXXIX. № 1.
11. Mehlig H. R. Семантика предложения и семантика вида в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985.
12. Lehmann V. Russischer Aspekt und sowjetische Aspektforschung // Handbuch des Russisten. Wiesbaden, 1984.
13. Lehmann V. Understanding in translation and in foreign language teaching: inferences based on verbal and aspectual meaning // Interlingual and intercultural communication. Tübingen, 1986.
14. Lehmann V. Der russische Aspekt und die lexikalische Bedeutung des Verbs // ZSLPh. 1988. Bd XLVIII. Hf. 1.
15. Brecht R. The form and function of aspect in Russian // Issues in Russian Morphosyntax. Columbus, Ohio, 1985.
16. Русская грамматика. I. М., 1980.
17. Vendler Z. Verbs and times // Linguistics in philosophy. Ithaca, N. Y., 1967.
18. Antinucci Fr., Gebert L. L'aspetto verbale in polacco // Ricerche Slavistiche. 1975. XXII—XXIII.
19. Antinucci Fr., Gebert L. Semantyka aspektu czasownikowego // Studia gramatyczne. Warszawa, 1977.
20. Падучева Е. В. Семантика вида и точка отсчета (в поисках инварианта видового значения) // ИАН СЛЯ. 1986. № 5.
21. Guillaume G. Temps et verbe. P., 1965.
22. Blanche-Benveniste C. L'un chasse l'autre. Le domaine des auxiliaires. // Recherches sur le français parlé. 1977. 1.
23. Blanche-Benveniste C. L'importance du français parlé pour la description du français tout court // Recherches sur le français parlé. 1983. V.
24. Guiraud-Weber M. Sémantisme verbal et aspect en russe et en français // RESL. 1986. LVIII/4. P. 591.

⁷ Если не считать попытку автора [32].

25. Булыгина Т. В. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 63—65.
26. Булыгина Т. В. Классы предикатов и аспектуальная характеристика высказывания // Аспектуальные и темпоральные значения в славянских языках. М., 1983. С. 20—39.
27. Koschmieder E. Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarysie. Wilno, 1934.
28. Рассудова О. П. Употребление видов глагола в русском языке. М., 1968. С. 37—44.
29. Forsyth J. A Grammar of Aspect: usage and meaning in the Russian verb. Cambridge, 1970. P. 82—87.
30. Бондарко А. В. Вид и время русского глагола. М., 1971.
31. Гловинская М. Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982. С. 47—70.
32. Cuiraud-Weber M. L'aspect du verbe russe. Aix-en-Provence, 1988.

© 1990 г.

БОРИСОВА Е. Г.

ОТРАЖЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ЛЕКСИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ

Словарные описания служебных слов, имеющиеся в существующих толковых словарях, по большей части не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к описаниям значений в наши дни [1]: явно несинонимичные слова получают одинаковое описание (ср., например, толкование слов *даже* и *и* в [2]), то или иное толкование может без натяжек быть отнесено только к части реально наблюдаемых случаев употребления служебного слова.

Развернувшееся в последнее десятилетие интенсивное изучение служебных слов [3—5] позволило вскрыть многие особенности их семантики, которые ранее ускользали от лексикографов, в частности значительные отличия семантики служебных слов от полнозначных частей речи. Возникла необходимость ответа на вопрос: существует ли лексическое значение служебных слов, а если существует, то в чем причина столь глубоких различий между лексическими значениями полнозначных и служебных слов.

При описании некоторых разрядов служебных слов, наиболее тесно связанных с синтаксическими конструкциями, возникает вопрос: нельзя ли считать, что семантика, приписываемая служебному слову, на самом деле является фрагментом значения синтаксической конструкции, а служебное слово является лишь маркером возможности (или невозможности) употребления этого значения в данном контексте? Особенно актуален этот вопрос для усилительных частиц.

Принятию такой точки зрения препятствует следующее соображение. Служебные слова, и в частности усилительные частицы, как правило, употребляются в достаточно разнообразных контекстах. Одна и та же частица может употребляться и в вопросительном предложении, и при выражении побуждения, и в повествовании, и в ответных репликах (таковы частицы *же*, *да*, *ну* и др.). Значения синтаксических конструкций, в которых может употребляться одна и та же частица, нередко оказываются совершенно различными, совершенно различной может оказаться и интонация в каждом из таких случаев. Более того, нередко какая-нибудь конструкция с частицей имеет гораздо больше сходства с конструкцией, в которой данная частица недопустима, чем с другими конструкциями, содержащими данную частицу. Так, достаточно схожими представляются предложения, содержащие причинную конструкцию: *Петя не придет: он болен* и *Петя все расскажет: он это видел*. Однако в первом мы не можем употребить частицу *-то* в причинном значении, в то время как во втором она вполне уместна со словом *он*, а сходство второго предложения с первым заведомо больше, чем, например, его сходство с предложением *Закрой дверь-то или В этом-то я уверен*, где употреблена та же частица. Вместе с тем все или большинство употреблений служебного сло-

ва имеют нечто общее в значении. Так, во всех употреблениях частицы *же* так или иначе выражается значение «сообщаемое известно слушателю» (мы не касаемся здесь отождествительного и сопоставительного *же*).

Сходство разных значений одного служебного слова при значительном различии синтаксических конструкций, в которых они употреблены, представляется достаточно убедительным доводом в пользу наличия у служебных слов самостоятельных лексических значений. Однако отличие этих значений от лексических значений полнозначных слов достаточно разительно. Это заставляет поставить вопрос, в чем заключается специфика значения служебных слов.

Для ответа на вопрос попробуем определить, что может входить в значение лексемы — полнозначной — с одной стороны, и служебной — с другой. Под значением языкового элемента мы понимаем ту информацию, которую получает слушающий, встретивший данный элемент в тексте (устном или письменном). Информация, которую можно извлечь из текста, является разнородной. Можно выделить такие типы информации, как номинативная (отражение внеязыковой реальности), синтаксическая (сведения о связи слов в речи), прагматическая (сведения об акте общения, его участниках и т. п.), а также эмоциональная и другие типы [6].

Не вызывает сомнений, что номинативная информация (передаваемая в первую очередь значащими словами) может составлять значение языкового элемента. Однако можно ли считать, что значением признается только данный тип информации? Если встать на такую точку зрения, то окажется, что часть морфем и некоторые слова — союзы, частицы, предлоги, отражающие только синтаксические отношения (как, например, предлог *на* в сочетании *вызвать на разговор*), вообще не имеют значения, а это противоречит принятому определению морфемы как минимальной единицы, обладающей значением. Таким образом, более логично считать, что значение языковых элементов может составлять не только номинативная, но и синтаксическая информация.

Введение в рассмотрение синтаксической информации, учет сходств и различий номинативной и синтаксической информации, выражаемой языковым знаком, стали возможными благодаря выделению двух типов значения — номинативного и синтаксического, осуществленному в 60-е годы [7]. Экспликация понятия «синтаксический тип значения» позволила сделать необходимые выводы относительно метаязыка для описания значений такого типа. Стала более понятна организующая языковая роль синтаксического значения и его отличие от номинативного, ориентированного на отражение внеязыковой реальности. Кроме того, открылась возможность более определенно судить о месте, которое занимают в лексической системе языка такие служебные слова, как предлоги, подчинительные союзы и т. п., в семантике которых синтаксический тип значения является преобладающим.

Однако указанные типы значений явно не исчерпывают всех видов информации, которая представлена в служебных словах. Часть информации, которая передается частицами, союзами и некоторыми другими словами, не может быть отнесена ни к номинативному, ни к синтаксическому типу.

Рассмотрим для примера содержание частицы *-то* в предложении *Я не вернусь — в этом-то я уверен*. Добавление частицы *-то* вызвано желанием говорящего подчеркнуть, что его уверенность относится именно к этому, а не к какому-либо иному факту, т. е. что слово *уверен* следует отнести к слову *это*. Очевидно, что перед нами информация, относящаяся

к высказыванию, а не к внеязыковой действительности. Следовательно, мы не можем считать значение номинативным. О том, что данный фрагмент смысла не может быть отнесен к номинативному типу, косвенно свидетельствуют перифразы, в которых функции коммуникативной организации эксплицируются при помощи конструкций типа английских *cleft-sentences*: информация прагматического типа входит в номинативный компонент значения добавляемых слов, в результате чего отличия по значению от исходного высказывания являются весьма заметными, ср.: *Пришел Иван и Тот, кто пришел, является Иваном.* (Разница здесь аналогична той, которая возникает между синтаксическим и номинативным значениями при попытке эксплицирования какой-либо синтаксической связи, ср.: *Сын Ивана и Слово «Иван» связано со словом «сын», между ними существует отношение принадлежности.*)

Значение частицы *-то* в рассматриваемом выше примере не содержит и синтаксической информации, т. к. *-то* не указывает на отношения слов в предложении и предложений друг с другом: если частицу убрать, наше понимание этих связей не пострадает. Следовательно, перед нами и не синтаксический тип значения. Информация, передаваемая частицей *-то*, помогает слушателю ориентироваться в организации высказывания, в частности, она уточняет, к какой теме относится рема *уверен.* Ее функции оказываются аналогичными функциям синтаксической информации, но в отличие от последней они актуальны на уровне высказывания, а не предложения.

Следовательно, мы должны признать существование особого типа лексического значения, отличного и от номинативного, и от синтаксического, который характеризуется отражением коммуникативной организации высказывания, т. е. прагматической информации. Данный тип значения мы называем коммуникативным. Этот тип широко представлен в семантике служебных (и не только служебных) слов, и поэтому его следует рассмотреть здесь подробнее.

Анализ лексем показал, что в их семантику (а именно, в значение коммуникативного типа, если принять предложенный термин) входят фрагменты смысла, отражающие сведения о тема-рематическом членении высказывания. Например, частица *и* в некоторых значениях показывает, что тема-рематическое членение отличается от того, какое мы бы ожидали от высказывания данного вида без соответствующей частицы, ср.: *Он пришел и Он и пришел к другу* [8]. Эта информация должна быть отражена в описаниях данных значений. Аналогичную функцию выполняет частица *именно*: она указывает на то, что слова, к которым она относится, можно трактовать как рему. Несколько более сложным является назначение частицы *-то*: она не просто показывает, что слова являются темой высказывания, но и уточняет те свойства, которыми обладает эта тема и которые отличают ее от большинства других тем [9].

Кроме сведений, касающихся тема-рематического членения высказывания, в семантику слова может входить информация о том, насколько то или иное сообщение оказывается новым, неожиданным для слушателя. Такая информация тоже связана с коммуникативной функцией, относится к коммуникативной организации высказывания. Следовательно, фрагменты смысла слова, отражающие новизну/неновизну сообщения, также следует отнести к коммуникативному типу значения. В частности, такой фрагмент смысла можно обнаружить в семантике частицы *же* (мы не касаемся отождествительного и сопоставительного значений этой частицы, далеко отошедших от основного). Обычно эта частица употребляется тогда, когда сообщаемое

в реме уже в какой-то степени известно слушателю. Действительно, фраза *Ты не пойдешь — там же холодно* возможна тогда, когда слушающий знает, что там холодно (по крайней мере, так должен думать о нем говорящий).

Маркером известности определенного типа можно считать и частицу *и* в одном из значений. В примерах, подобных предложению *Меня пригласили — я и пришел*, частица *и* употребляется для того, чтобы показать предсказуемость, ожидаемость события в сфере действия этой частицы: если человека пригласили, то его приход можно считать весьма вероятным событием. Фрагмент смысла, отражающий частичную известность/предсказуемость, также относится к коммуникативному типу значения.

К этому же типу значения следует отнести и значения различных частиц, маркирующих эмфазу, — выделенность какого-либо слова, фрагмента смысла и т. п. В частности, такую функцию можно усмотреть у частиц *как раз, именно, вот*, а также *даже, —таки* и некоторых других. При этом типы выделенности у разных частиц (а иногда и у разных значений одной частицы) будут различными, они будут по-разному описываться и объясняться. Соответственно, в семантику слов-выделителей будут входить разные фрагменты смысла, но их можно будет отнести к коммуникативному типу значения.

Предложенную классификацию фрагментов значения, относящихся к коммуникативному типу, ни в коей мере нельзя считать исчерпывающей. Дальнейшее изучение аспектов коммуникации и описание лексем и граммем, наиболее тесно связанных с коммуникативной организацией высказывания, позволит обнаружить новые фрагменты смысла, которые окажется разумным отнести к определенному коммуникативному типу.

Однако существуют случаи, когда в значении лексем отражается информация, в той или иной степени связанная с коммуникацией, и тем не менее не всегда такое значение может быть отнесено к коммуникативному типу. Так, в той или иной степени связаны с коммуникацией пресуппозиции — фрагменты значения, истинность которых сохраняется и в том случае, когда данная лексема подвергается действию отрицания [10]. В частности, существуют так называемые коммуникативные, или прагматические, пресуппозиции [10, с. 101]. Эти пресуппозиции содержат информацию, которая предполагается истинной и известной и говорящему, и слушающему.

Фрагмент смысла, составляющий прагматическую пресуппозицию, может относиться к любому типу значения. К коммуникативному типу может быть отнесено только содержание знака, показывающего, что перед нами прагматическая пресуппозиция. В [10, с. 102] в роли такого знака выступает интонация, поскольку именно этот знак сообщает нечто о коммуникативной организации высказывания. Таким образом, пресуппозиция сама по себе, в том числе и прагматическая пресуппозиция, не относится к коммуникативному типу значения.

В процессе коммуникации говорящий нередко выражает эмоции, свою оценку сообщаемого — при помощи междометий (*ох, фу* и т. п.), эмоционально окрашенной лексики (*негодяй, рожка* и т. п.). Однако вряд ли в данном случае уместно относить это значение, включающее эмоциональную информацию, к коммуникативному типу: сведения об отношении какого-либо лица к чему-либо нельзя считать информацией об организации высказывания. С большим основанием такую информацию следует

признать отражением реальности, т. е. такое значение должно быть отнесено к номинативному типу¹.

Наконец, не всякая информация прагматического типа относится к коммуникативному типу, поскольку существует прагматическая информация, не относящаяся к коммуникативной организации высказывания. Так, прагматической следует считать информацию об иерархических отношениях между участниками речевого акта (Таковыми являются, например, сведения о том, что местоимение *вы* употребляется при обращении к одному человеку по отношению к старшим, занимающим более высокое положение и т. п., сведения о том, что частица *-ка* употребляется при обращении к младшему, подчиненному и т. п.). В то же время эта информация не относится к собственно организации высказывания и, по нашему определению, она не составляет значения коммуникативного типа. Действительно, сведения о социальном положении участников речевого акта ближе к информации о внеязыковой действительности и могут быть описаны теми же средствами, что и информация номинативного типа.

Особо отметим, что, говоря о номинативном, синтаксическом и коммуникативном типах значения, мы не обязательно имеем в виду значение всей лексемы или грамемы: в содержании этих элементов могут сочетаться фрагменты, относящиеся к разным типам значения.

Рассмотрим для примера частицу *-то* в следующем употреблении: *Ему дали шапку — наверху-то холодно*. Обычно [8, с. 10] считается, что в данном случае частица *-то* имеет причинное значение. Действительно, это значение можно описать приблизительно как «нечто является причиной того, о чем говорится в предшествующем предложении». Указание на связь значений предложений следует считать синтаксическим компонентом значения. Сведения о том, что нечто является причиной чего-либо, являются информацией о внеязыковой действительности и, следовательно, представляют собой номинативный компонент. Наконец, в этом случае, как и в других случаях употребления частицы *-то*, она выступает в качестве маркированной в связи с важностью для говорящего того обстоятельства, что сообщение относится именно к данной теме предложения. В этом случае можно говорить о фрагменте значения коммуникативного типа. Таким образом оказывается, что в лексическом значении частицы *-то* сочетаются фрагменты смысла всех трех типов.

Сложная структура семантики служебных слов является одной из причин тех трудностей, которые возникают перед исследователем, их описывающим: наличие в семантике слова фрагмента коммуникативного типа, имеющего принципиальные отличия от других типов значения, может поставить в тупик лексикографа, пользующегося традиционными средствами, выработанными для описания значений номинативного типа. Сказанное относится в первую очередь к частицам, преимущественно к усилительным: для семантики практически всех усилительных частиц характерны фрагменты значения коммуникативного типа (выше мы рассмотрели семантику некоторых из них). Однако распространение данного типа значения не ограничивается частицами.

Семантический анализ лексем различных частей речи показал, что коммуникативный тип значения можно обнаружить в словах, относящихся как к служебным, так и к некоторым знаменательным частям речи. Рассмотрим для примера семантику союза *а* (служебная часть речи)

¹ Естественно, мы не отрицаем необходимости отдельного рассмотрения различных видов значения, которые могут быть отнесены к номинативному типу.

и семантику местоимения *сам*, которое относится к знаменательной части речи.

Сочинительный союз *а* можно считать маркером ввода новой информации. Новизна информации отличает союз *а* от союза *и*: последний вводит информацию, не являющуюся неожиданной для слушателя, ср.: *Я вошел, и дверь закрылась* и *Я вошел, а дверь закрылась*. В первом предложении то, что дверь закрылась, представлено как естественное событие, которое можно ожидать вслед за первым. В предложении с союзом *а*, напротив, событие представлено как неожиданное, заранее непредсказуемое.

Наш тезис вполне согласуется с фактами, описанными в работе [11]: в сопоставительных сложноподчиненных предложениях с союзом *а* ремы сообщений не должны совпадать. Иными словами, рема сообщения, вводимого союзом *а*, содержит информацию, отличную от сообщаемой в предшествующем предложении, а это соответствует нашему пониманию функции союза *а*.

Введение новой информации, логически невыводимой из предшествующего текста, имеет место и в предложениях, содержащих «переход от одного предмета к другому»: *Встала перед глазами изба холодная, а в избе холодной мать хворая лежит*. Логично говорить о вводе новой информации и в предложениях с отрицаниями *Он не устал, а заболел*, поскольку в них отрицается существование чего-либо и вместо этого утверждается существование другого объекта, свойства или явления.

Если принять предлагаемое нами понимание семантики союза *а*, то следует признать, что его значение состоит из двух фрагментов. Первый фрагмент — это информация о связи предложений или членов предложения. Данный фрагмент следует отнести к синтаксическому типу значения. Второй фрагмент характеризует отношение между соединяемыми компонентами, в частности, в нем содержится информация о том, что во втором компоненте передаются новые сведения, появление которых нельзя было предсказать, основываясь на информации, передаваемой первым компонентом. Сведения о новизне информации относятся к коммуникативной организации высказывания, следовательно, второй фрагмент значения союза *а* нужно отнести к коммуникативному типу значения.

Местоимение *сам* является многозначным. В предложениях *Сделай сам; Не трогай его — он сам все поймет* и аналогичных слово *сам* имеет значение «без посторонней помощи», которое целиком может быть отнесено к номинативному типу. Иное значение представлено в примерах *Тебя зовет сам начальник, Его в самой Москве хорошо принимали* и т. п. В этих предложениях местоимение *сам* употребляется для подчеркивания особого положения человека (или объекта, места и т. п.) в иерархии — общепринятой или известной лишь узкому кругу лиц, ср.: *Мне сам вахтер разрешил*.

В третьем значении — оно реализуется в примерах *Сам-то он еще ничего, а вот его семья...; Вы живете в пригороде или в самой Москве?; Ты встретился с его коллегами или видел его самого?* — речь идет о противопоставлении множества и его части, причем последняя представляется как выделенная, наиболее представительная часть множества (глава семьи — семья, центр района — район, человек — его коллеги). Выделение такого элемента осуществляется средствами коммуникативной организации — элемент занимает позицию ремы (*Я видел его самого*), или выделенной темы (ср. тему при сопоставлении: *Сам-то он еще ничего,*

а вот его семья...), или тему при перечислении (*Все Петровы трудолюбивы — и сам Василий Степанович, и его дети*) [12].

Еще одно значение местоимения *сам* реализуется в примерах *Кто разбил Петину чашку? — Сам Петя; Мне это не нравится — Я и сам возмущен*. Характерной здесь является выделенная позиция слова, к которому относится местоимение *сам*, и актуализованность понятия, обозначенного этим словом (понятие должно называться в предшествующем тексте или подразумеваться).

И в третьем, и в четвертом значениях местоимения *сам* мы сталкиваемся с элементами значения коммуникативного типа: в обоих случаях это информация о выделении, а в четвертом значении это также и сведения об актуализованности, поскольку это понятие, близкое к противопоставлению «данное — новое», входит в коммуникативную организацию высказывания. Вместе с тем во всех четырех значениях слово *сам* остается местоимением, т. к. оно служит для отождествления имени с денотатом. Таким образом, рассмотрение семантики этой лексемы показывает, что значение коммуникативного типа может встретиться и в содержании слов, относящихся к значащим частям речи.

Принципиальные различия между номинативным и коммуникативным типами значения делают очень затруднительным описание значения коммуникативного типа средствами, выработанными в лексикографии. Поэтому возникает необходимость в выработке специального языка описания для значений коммуникативного типа.

Аналогичные задачи встают и при описании значений синтаксического типа: использование традиционных лексикографических средств для описания значений предлогов и союзов, т. е. тех служебных слов, в которых значение синтаксического типа составляет основную часть содержания, представляется громоздким или неточным [13, 14]. В таких случаях, как правило, используется потация, разработанная в грамматике. Например, в описании союза *потому что* указывается, что этот союз служит для присоединения придаточных предложений, а категория придаточных предложений рассматривается в разделе грамматики. В отличие от грамматики, в теории коммуникативной организации еще не выработана достаточно устойчивая и общепринятая терминология. Следовательно, употребление в толковании слов тех или иных терминов, отражающих такие понятия, как «эмфаза», «тема», «рема» и т. п., могут привести к неоднозначному пониманию сказанного.

Учитывая это, можно предложить при толкованиях давать определения понятий, связанных с коммуникативной организацией (темы, ремы, данного, нового и т. п.) на том же метаязыке, на котором осуществляется описание значений номинативного типа. Например, «тема» может описываться как «то, о чем сообщается», «актуализованное» — «то, о чем говорилось в данном тексте или диалоге» и т. п.

Конечно, при этом необходимо иметь в виду, что на одном и том же языке, нередко одними и теми же словами описываются принципиально несовпадающие явления — номинативное и коммуникативное значения. Поэтому для того чтобы избежать путаницы, следует там, где это возможно, выделять выражения, описывающие значения коммуникативного типа, определенными знаками.

С другой стороны, сходство языка для описания значений номинативного и коммуникативного типов отражает реально существующее сходство между ними, что проявилось в развитии значений некоторых лексем от номинативного типа к коммуникативному, и наоборот. Так, значение

частицы *уж* (ср.: *Уж этого я тебе не прощу*) относится к коммуникативному типу. Вместе с тем очевидно его сходство с фрагментом значения слова *уже*, которое относится к номинативному типу.

Мы рассмотрели основные особенности коммуникативного типа значения. Была сделана попытка доказать необходимость выделения фрагментов лексического значения, отражающего коммуникативную организацию высказывания, в особый тип, сопоставимый с выделенными ранее номинативным и синтаксическим типами. Далее были проанализированы типы информации, отражаемой значением коммуникативного типа. На примерах было продемонстрировано распространение значения данного типа как в сфере служебных, так и в сфере значащих частей речи. Были высказаны некоторые соображения о метаязыке для описания значения коммуникативного типа. Учитывая широкое распространение коммуникативного типа значения в семантике служебных слов (более всего — в усилительных частицах), можно утверждать, что изучение этого типа значения, разработка методики его описания позволяют давать служебным словам более точные, полные, адекватные толкования, чем те, которые представлены в ныне существующих словарях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974.
2. Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. М.; Л., 1948—1965.
3. Vasilyeva A. N. Particles in colloquial Russian. М., 1972.
4. Крейдлин Г. Е., Поливанова А. К. О лексикографическом описании служебных слов русского языка // ВЯ. 1987. № 1.
5. Богуславский И. М. Исследования по синтаксической семантике. М., 1985.
6. Шрейдер Ю. А. О семантических аспектах теории информации // Теоретические проблемы информатики. М., 1963.
7. Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 1967. С. 25.
8. Борисова Е. Г. Семантический анализ усилительных частиц русского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1983.
9. Широкова Е. Г. О комплексном описании семантики усилительных частиц русского языка // Болгарская русистика. 1982. № 6.
10. Падучева Е. В. Понятие презумпции в лингвистической семантике // Семиотика и информатика. 1977. Вып. 8.
11. Крейдлин Г. Е., Падучева Е. В. Значение и синтаксические свойства союза *а* // НТИ. Сер. 2. 1974. № 9.
12. Николаева Т. М. Акцентно-просодические средства выражения категории определенности-неопределенности // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
13. Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
14. Крейдлин Г. Е. Лексема *даже* // Семиотика и информатика. 1975. Вып. 6.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

«Общеславянский элемент в русской культуре» — одна из четырех статей, или глав, в книге Н. С. Трубецкого «К проблеме русского самопознания», изданной «Евразийским книгоиздательством» в 1927 г. в Париже. Три статьи из этого «собрания статей» («Об истинном и ложном национализме», «Верхи и низы русской культуры» и «О туранском элементе в русской культуре») печатались ранее — первые две в сборнике «Исход к Востоку» (София, 1921, с. 71—103), третья в «Евразийском Временнике» № 4 (Берлин, 1925, с. 351—377). Для Н. С. Трубецкого все четыре статьи представляли собой единое целое. Он писал, что «одним из самых важных понятий, лежащих в основе евразийского учения, (м[ожет] б[ыть] прямо самым важным) является понятие личности. На этом понятии строятся и философская, и историософская, и социологическая, и политическая сторона евразийства. При этом, евразийство значительно углубляет и расширяет понятие личности, оперируя не только с частночеловеческой, но и с многочеловеческой, «симфонической» личностью. Так, личностью с евразийской точки зрения является не только отдельный человек, но и народ. Мало того, даже целая группа народов, создавших, создающих и могущих создать особую культуру, рассматривается как особая личность: ибо культура, как совокупность и система культурных ценностей, предполагает целесообразное творчество, а такое творчество предполагает личность, немислима без личности. Т[аким] о[бразом], наряду с частночеловеческими и многочеловеческими существуют личности многочеловеческие, как частнонародные, так и многонародные. Всякая личность конкретно проявляется в каком-нибудь определенном своем состоянии или индивидуации» («К проблеме русского самопознания», с. 3). Во введении «От автора» Н. С. Трубецкий пояснил, что в первой статье «Об истинном и ложном национализме» им «поставлена проблема самопознания как нравственного долга всякой личности и указана связь между самопознанием и практической жизнью частночеловеческой и многочеловеческой личности. Остальные три статьи [в том числе и „Общеславянский элемент...“ (примеч. наше.— Н. Т.) посвящены отдельным конкретным вопросам самопознания русской народной личности <...>. Статья „Верхи и низы русской культуры“ ... ставит в общем виде вопрос о взаимоотношении между русской этнологической личностью и соприкасающимися с ней другими этнологическими личностями. Несмотря на то, что личность как таковая неповторима и неразложима, между отдельными личностями существуют общие отдельные черты. Две личности никогда не могут быть совершенно одинаковыми, но могут быть очень похожи друг на друга. <...> Сравнительное изучение внешнего проявления нескольких соседних друг с другом этнологических личностей позволяет делать заключения о характере духовного родства между этими личностями. <...> Статья „О туранском элементе в русской культуре“ <...> заключает в себе определение некоторых основных черт туранского психического облика путем синтетического этнософского рассмотрения конкретного этнографического материала. Это дает возможность указать и в жизни русского народа, как в прошлом, так и в настоящем, те психические черты, которые роднят его с туранской психикой, и определить, какое значение имели и имеют эти черты для русской народной личности» (с. 7—8). Наконец, заключительная четвертая статья «Общеславянский элемент...» кратко характеризуется самим автором следующим образом: «Если с туранством русский народ связывается преимущественно известными чертами своего психического облика, то со славянством русский народ связан своим языком. Дело в том, что „туранство“, в том смысле как оно трактуется в третьей статье настоящего сборника, не есть ни расовое, ни строго-лингвистическое единство, а единство этнопсихологическое; „славянство“ же есть исключительно лингвистическое понятие. При помощи языка личность обнаруживает свой внутренний мир; язык является основным средством общения между людьми, а в процессе этого общения создаются многочеловеческие личности. Этим уже определяется важность изучения жизни языка с точки зрения персонологии. Судьбы и специфические свойства русского литературного языка чрезвычайно важ-

ны для характеристики русской национальной личности, точно так же как важно для этой характеристики и самое положение русского языка среди других. Рассмотрение этих вопросов заставляет поставить и вопрос о культурных преемствах и наследованиях, — вопрос, выходящий за пределы одной лингвистики, и долженствующий становиться и решаться одновременно и параллельно несколькими науками: при исследовании русской народной личности проблема культурных преемств является одной из центральных» (с. 8—9).

«Общеславянский элемент в русской культуре», таким образом, является частью более широкого культурно-исторического полотна, написанного Н. С. Трубецким для того, чтобы охарактеризовать общерусскую, «симфоническую» национальную (или для ранних периодов «этнологическую») личность. Этот момент следует учитывать и только с этим учетом оценивать всю статью в целом. Затем следует иметь в виду, что статья написана не для читателя-лингвиста, а для русского интеллигента, призванного евразийцами, во главе которых стоял Н. С. Трубецкой, обратиться к своему национальному самосознанию и заняться самопознанием. Следует учитывать также, что статья написана в условиях беженства, вынужденной эмиграции, во время, когда проходила «смена веков», критическая оценка пройденного пути, когда революция кругом ученых, близких к Трубецкому, воспринималась как данность, как закономерность, а нарождающийся национал-социализм и фашизм как величайшая опасность и для русского народа, и для всего человечества. Наконец, нельзя не понимать, что статья была написана более шестидесяти лет тому назад, когда, к примеру, развитие белорусского литературного языка было не совсем ясным и когда многое выглядело по-иному. Поэтому не следует заострять внимание на некоторых пропусках, неточностях и особенно спорных положениях в статье Трубецкого, а важно почувствовать его прозорливость и ощутить его умение мыслить не десятилетиями, а столетиями, веками, сосредотачиваться не на малых регионах, а на культурных континентах, какими являются Европа, Азия и Евразия.

Издательство «Прогресс» готовит к выходу в свет том основных евразийских трудов Н. С. Трубецкого. Этот том даст нам возможность увидеть знаменитого русского лингвиста, культуролога и «историсофа» полнее и явственнее, но все еще не во всей полноте, т. к. остаются неизданными на его родине многочисленные филологические и литературоведческие труды. Книга «К проблеме русского самопознания» и статья «Общеславянский элемент...» не переиздавались. В нашей стране книгу, но понятным причинам, знали немногие, в том числе и В. В. Виноградов. По менее понятным и объяснимым причинам на нее мало обращали внимания за рубежом в последние полвека. Этой публикацией журнал «Вопросы языкознания» отмечает столетие со дня рождения Н. С. Трубецкого.

Н. И. Толстой

© 1990 г.

ТРУБЕЦКОЙ Н. С.

ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

I

Что русский язык — язык славянский, это всем известно. Но очень мало кто из не-специалистов ясно представляет себе, какое именно положение занимает русский язык среди других славянских языков. Хотя языковедение достигло в России высокой степени развития, и русские языковеды пользуются всюду за границей хорошей репутацией, средний образованный русский человек как раз в области языковедения имеет очень слабые и часто приватные познания. Поэтому, пред тем как говорить о русском языке, как элементе русской культуры, мы считаем нелишним рассмотреть некоторые основные общие понятия.

Следует различать два понятия: язык народный и язык литературный. В конце концов, всякий литературный язык развился из какого-нибудь народного и постоянно испытывал на себе так или иначе влияние какого-нибудь народного языка. Но, все же, литературный и народный языки вполне никогда не совпадают друг с другом и развиваются

каждый своими путями. Язык народный имеет склонность к диалектическому дроблению, тогда как литературный, наоборот, имеет склонность к нивелировке, к установлению единообразия. Дифференциация существует во всяком языке, как народном, так и литературном. Принципы дифференциации тоже всюду одни и те же: это, с одной стороны — принцип географический (дифференциация по местностям), с другой — принцип специализации (дифференциация по видам специального применения языка). Но при дифференциации народного языка преобладает принцип географический: между языком отдельных профессиональных или бытовых групп (земледельцев, рыбаков, охотников и т. д.) всегда существуют известные различия, но различия эти менее сильны, чем различия между говорами отдельных местностей. Наоборот, в дифференциации литературного языка принцип специализации преобладает над географическим: образованные люди, происходящие из разных местностей, говорят и пишут не совсем одинаково, и по языку произведений писателя часто можно легко определить, откуда он родом, но гораздо сильнее выступают в литературном языке различия по видам специального применения, напр. различия между языком научной прозы, деловой прозы, художественной прозы, поэзии. Р а з г о в о р н ы й язык может быть чисто литературным, чисто народным или представлять из себя смесь литературного и народного языка в различных пропорциях. От степени образования и «культурности» данного индивида зависит, какой именно вид разговорного языка является для него наиболее привычным и естественным, а от привычности и естественности зависит и свобода пользования данным видом разговорного языка и правильность его употребления. Но кроме степени умственного развития и образования играет роль также и самый предмет разговора. На известных ступенях образования один и тот же человек может с полной свободой, правильностью и естественностью применять литературный язык в разговоре (или письме) об известных предметах, в разговоре о других предметах применять смесь литературного и народного языка, и, наконец, о некоторых других предметах может свободно и естественно говорить только на народном языке. Играет роль, разумеется, и то, с кем именно ведется разговор или переписка. Таким образом, сожителство народного и литературного языка в среде одного и того же национального организма определяется сложной сетью взаимно перекрещивающихся линий общения между людьми. Если ко всему этому прибавить и то, что как народный, так и литературный язык не остаются неизменными, а, наоборот, непрерывно развиваются, притом, каждый по своим законам и в своем направлении, то получается очень сложная картина жизни языка. Объять всю эту картину почти невозможно, и поневоле приходится ограничиваться только рассмотрением отдельных ее частей.

Основным явлением в эволюции народного языка является диалектическое дробление и «распадение».

Народный русский язык есть язык с л а в я н с к и й, притом, восточнославянский. Называя русский народный язык славянским, мы этим хотим сказать, что язык этот, путем постепенных изменений, развился из более древнего языка, из которого путем ряда других изменений развились языки польский, чешский, сербохорватский, болгарский и т. д. Этот древний язык, из которого путем различных изменений развились все славянские языки, мы называем «общеславянским праязыком» или «праславянским языком». В свою очередь, этот праславянский язык был языком и н д о е в р о п е й с к и м, т. е. развился путем разных изменений из того же «индоевропейского праязыка», из которого путем разных других

изменений развились языки индийские, иранские, армянский, греческий, италийские (во главе с латинским), кельтские, германские, «балтийские» (т. е. литовский, латышский и вымерший древнепрусский) и албанский. Когда мы говорим, что праславянский язык развился из индоевропейского праязыка, а русский язык — из праславянского, то при этом представляем себе следующий процесс: каждый живой народный язык всегда заключает в себе несколько диалектов, каждый из которых стремится к обособлению: обычно все диалекты одного языка развиваются параллельно и претерпевают более или менее одновременно одни и те же изменения; но наряду с этими общими всем диалектам данного языка изменениями, каждый отдельный диалект претерпевает и другие изменения, свойственные лишь одному ему или разве еще некоторым соседним диалектам; с течением времени таких частнодиалектических изменений накапливается все больше и больше, нарушается и самый параллелизм развития, т. е. даже одни и те же изменения в разных диалектах следуют друг за другом не в одном и том же порядке, что еще углубляет различие между диалектами; наконец, наступает такой момент, когда изменения, общие всем диалектам данного языка, вообще перестают возникать, а возникают лишь изменения, свойственные отдельным диалектам или группам таких диалектов; с этого момента данный язык можно считать уже *р а с п а в ш и м с я*, т. е. утратившим свое единство, как «субъекта эволюции», и единственными «субъектами эволюции» оказываются уже отдельные диалекты. С того момента как развитие данного диалекта настолько уклонится от развития соседних диалектов, что представители этих диалектов утратят возможность свободно понимать друг друга без посредства переводчика, можно считать, что данный *д и а л е к т* уже превратился в самостоятельный *я з ы к*. Таким образом, утверждая, что народный русский язык развился из праславянского, мы утверждаем, что русский язык в каких-то очень древних стадиях своего развития был диалектом праславянского языка, и тем самым предполагаем, что в составе праславянского языка существовал особый «прарусский» диалект, точно так же, как и другие диалекты, «прапольский», «прачешский» и т. д. А утверждая, что праславянский язык развился из индоевропейского, утверждаем существование в составе индоевропейского праязыка особого «дославянского» или «допраславянского» диалекта, наряду с диалектами «догерманским», «догреческим» и т. д.

Из данного выше определения понятия «распадения языка» вытекает, что за момент этого распадения можно принять момент последнего изменения, общего всем диалектам данного языка. По отношению к праславянскому языку таким последним изменением, свойственным всем диалектам этого языка, является, так называемое, «падение слабых еров». Дело в том, что в праславянском языке существовали особые очень краткие гласные *ъ* и *ь* (из которых *ъ* было по качеству гласной средней между *у* и *о*, а *ь* — гласной средней между *и* и *е*). Эти гласные в одних положениях (напр., в конце слова или перед слогом, заключающим в себе другие, нормально-сильные гласные) были «слабы», т. е. звучали особенно кратко, а в других положениях (напр., перед сочетанием «*р* или *л* + согласная», далее, перед слогом, заключающим в себе «слабое» *ъ* или *ь*) были «сильны», т. е. имели приблизительно такую же длительность, как всякие другие нормально-краткие гласные. Последним общим всем диалектам праславянского языка звуковым изменением было полное исчезновение в произношении слабых *ъ* и *ь*. Явление это охватило все праславянские диалекты, но произошло в одних диалектах раньше, в других — позже. По-видимому, все это изменение шло с юга. У южных

славян слабые ъ, ь исчезли очень рано, во всяком случае уже в XI в. (местами м. б. даже в X в.), а от южных славян исчезновение слабых ъ, ь передалось другим славянам, причем наиболее отдаленных частей славянской территории (напр. русского севера) это явление достигло только к XIII в.

Наречия, на которые распался праславянский язык, составляют три группы: южнославянскую, западнославянскую и русскую или восточнославянскую. Русских или восточнославянских наречий — три: великорусское, белорусское и малорусское. Каждое из них подразделяется на несколько диалектов, — напр. великорусское на северновеликорусский, южновеликорусский и переходный средневеликорусский. Существует довольно широкая полоса говоров переходных от великорусского к белорусскому наречию, а также от белорусского к малорусскому: но и само белорусское наречие можно рассматривать как ряд переходных говоров, связующих великорусское наречие с малорусским. Все восточнославянские наречия являются потомками одного и того же диалекта праславянского языка, и этот диалект можно обозначить как «общерусский праязык». Этот общерусский праязык распался, — т. е. перестал быть единым субъектом эволюции, — между половиной XII и половиной XIII в.¹: во всяком случае, после этой эпохи мы не можем отметить ни одного языкового изменения, которое коснулось бы всех говоров восточнославянских наречий. Однако, следует заметить, что каждое из языковых изменений, возникавших после эпохи распада общерусского праязыка, имело свои границы распространения, причем границы эти никогда не совпадали с границами одного из трех основных наречий. Поэтому эти наречия нельзя рассматривать как целостные субъекты эволюции, можно сказать, что общерусский праязык распался не на эти три наречия, а на неопределенную массу говоров, которые можно разделить на три группы, назвав каждую такую группу говоров наречием (великорусским, белорусским, малорусским).

Перейдем теперь к рассмотрению особенностей эволюции *литературных языков*.

Если мы присмотримся к литературным языкам современной Европы, то заметим, что каждый из этих литературных языков распространен по сильно дифференцированной лингвистической территории, обнимающей несколько *сильно отличных друг от друга наречий*. При этом, ни один из этих больших литературных языков Европы не совпадает вполне ни с каким живым народным говором. Явления эти не случайны, а коренятся в самой природе литературных языков и наблюдаются не только в Европе, но и во всех других частях света, где только существуют действительно большие литературные языки. Дело в том, что назначение настоящего литературного языка совершенно отлично от назначения народного говора. Настоящий литературный язык является орудием духовной культуры и предназначается для разработки, развития и углубления не только изящной литературы, в собственном смысле слова, но и научной, философской, религиозной и политической мысли. Для этих целей ему приходится иметь совершенно иной словарь и иной синтаксис, чем те, которыми довольствуются народные говоры. Конечно, в самом начале своего возникновения всякий литературный язык исходит из основ какого-нибудь живого говора, обычного городского, и иногда даже простонародного. Но для того, чтобы действительно осуществить свое назначение, литературному язы-

¹ Точно хронологически фиксировать такие явления, разумеется, невозможно.

ку приходится сочинять массу новых слов и вырабатывать особые синтаксические обороты, зафиксированные гораздо строже и определеннее, чем в народном говоре. Все это по существу является «насилованием» и «коверканием» народного говора, лежащего в основе данного литературного языка, и чем эта народная основа сильнее чувствуется, яснее проступает наружу, тем интенсивнее становится ощущение насилования и коверкания, — а это ощущение, разумеется, мешает свободному пользованию литературным языком. Когда новые слова, вводимые в литературный язык в силу необходимости, состоят из элементов словарного материала данного народного говора, то ассоциативная связь этих элементов с теми конкретными значениями, которые они имеют в народном просторечии, сохраняется, и это мешает воспринимать эти новые слова в том значении, которое желает им приписать литературный язык. В силу всего этого, для литературного языка всегда крайне невыгодно быть слишком близким к какому-нибудь определенному современному народному говору, и при естественном развитии всякий литературный язык стремится эмансипироваться от неудобного и невыгодного родства с народным говором. Но, в то же время, слишком большое расхождение литературного языка и современных народных говоров время от времени тоже становится неудобным. Народные говоры в звуковом и грамматическом отношении развиваются обычно скорее, чем языки литературные, развитие которых в этом отношении искусственно задерживается школой и авторитетом «классиков». Поэтому наступают моменты, когда литературный язык и народные говоры представляют настолько различные стадии развития, что оба они несовместимы в одном и том же народно-языковом сознании. В эти моменты между обеими стихиями, — архаично-литературной и новаторски-говорной, — завязывается борьба, которая кончается либо победой старого литературного языка, либо победой народного говора, на основе которого в этом случае создается новый литературный язык, либо, наконец, — компромиссом. При этом следует заметить, что именно отдаленность нормального литературного языка от какого бы то ни было живого современного народного говора способствует тому, что этот язык распространяется на территории не одного, а нескольких говоров. А потому, та борьба между «устаревшим» литературным языком и живым народным говором, о которой мы только что упомянули, может разыгрываться в разных пунктах территории данного литературного языка и привести в разных пунктах к разным результатам. Та же принципиальная отдаленность литературного языка от всякого местного народного говора может иметь и еще одно любопытное последствие: может случиться, что тот живой народный говор, на основе которого некогда развивался данный литературный язык, совсем исчезнет, или что в той местности, где живет этот говор, данный литературный язык совсем не привьется, и тогда окажется, что литературный язык, развившийся на основе говора *a* в местности *A*, в конце концов привьется и будет существовать в местности *B*, где господствует народный говор *b*, совсем непохожий на *a*. Наконец, особенностью эволюции литературных языков является их способность влиять друг на друга вне тех пространственно-временных условий, в которых обычно влияют друг на друга живые народные языки. Один живой народный язык может влиять на другой только, если оба они существуют одновременно и географически соприкасаются друг с другом. Между тем, для литературных языков эти условия необязательны: данный литературный язык может подвергнуться сильному влиянию другого, даже если этот последний принадлежит к гораздо более древней

эпохе и географически никогда не соприкасался с территорией данного живого литературного языка. Влияния эти могут быть очень разнообразны и выражаются то в прямом заимствовании отдельных слов, то в копировании способов создания новых слов и синтаксических конструкций.

Все эти особенности эволюции литературных языков следует всегда иметь в виду при рассмотрении истории русского языка.

II

Родословие русского литературного языка приходится начинать очень издавлека, — со времени славянских первоучителей св. равноапостольных Кирилла и Мефодия. Как известно, св. Кирилл перевел Евангелие и некоторые другие тексты Св. Писания и литургической литературы на особый язык, который принято называть «старославянским» или «староцерковнославянским». Язык этот с самого начала был искусственным. В основе его лежал говор славян города Солуни, говор, в основных своих особенностях принадлежавший к праболгарской группе южнославянских говоров, но, в то же время, отличавшийся от прочих говоров той же группы некоторыми чертами и, в общем, даже для своего времени, очень архаичный. Однако, живой народный говор солунских славян, разумеется, не был сам по себе приспособлен для перевода греческих литургических текстов. Св. Кириллу и его брату, св. Мефодию, продолжившему его дело после смерти св. Кирилла, пришлось ввести в солунскославянский говор очень много новых слов. Эти новые слова были частью взяты из говора моравских славян, среди которых протекало апостольское служение свв. первоучителей, частью были заимствованы из греческого, частью же были искусственно созданные из славянских элементов по образцу соответствующих греческих слов. В области синтаксических оборотов первоучители в общем сохраняли основные своеобразные черты славянского языка, но все же подчинились в сильной мере влиянию греческого оригинала, так что в церковнославянском тексте отразились черты того особого греческого синтаксиса, который так характерен для греческого текста Св. Писания. Таким образом возник церковнославянский язык, язык с самого начала своего существования чисто литературный, т. е. более или менее искусственный, существенно отличающийся своим словарем, синтаксисом и стилистикой от того живого народного (солунскославянского) говора, который лег в его основу. Именно, примыкание к более древней греческой литературно-языковой традиции помогло превратить живой разговорный язык солунских славян в язык высшей духовной культуры, в язык литературный по существу.

Выше мы видели, что последним звуковым изменением, общим всем диалектам праславянского языка, было падение слабых *ъ* и *ь*, и что до начала этого изменения праславянский язык еще нельзя было считать окончательно распавшимся. Перевод Св. Писания и создание староцерковнославянского языка было предпринято славянскими первоучителями еще до начала падения слабых *ъ* и *ь*, следовательно, еще до окончательного распада праславянского языка. Это обстоятельство надо иметь в виду, чтобы правильно определить место и значение староцерковнославянского языка в истории развития славянских языков. Как явствует из вышесказанного, староцерковнославянский язык можно рассматривать как литературный язык конца праславянской эпохи. Т. к. во время деятельности славянских первоучителей отдельные отпрыски праславянского языка еще не утратили способности к совместным из-

менениям, и праславянский язык в своем целом еще не перестал быть субъектом эволюции, то, в сущности, отдельных славянских языков в это время еще не было, а были лишь отдельные диалекты единого праславянского языка. При таких условиях создание одного общеславянского литературного языка для всей территории праславянского языка было предприятием вполне осуществимым, причем за основу для такого общеславянского литературного языка можно было принять любой местный говор. Св. Кирилл принял за основу для этого литературного языка говор солунских славян, по-видимому, только потому, что сам был родом из Солуни и практически владел именно этим говором. Но характерно, что самый перевод богослужебных книг и Св. Писания был предпринят св. Кириллом вовсе не для проповеди среди солунских славян, а для просвещения славян моравских, говоривших на диалекте прачехословацкой группы, и что эти моравские славяне, услышав богослужение на церковнославянском языке, восприняли этот язык не как иностранный, а как свой родной.

Таким образом, благодаря деятельности свв. Кирилла и Мефодия, славяне IX в. получили литературный язык. Этот литературный язык не замедлил распространиться среди всех славян, обращенных в христианство, но не у всех этих славян удержался. Прежде всего надо заметить, что в отношении произношения, а отчасти и грамматики и даже словаря, язык этот у разных христианских славянских племен подвергся известным изменениям. Мы знаем, что и напр. современный немецкий язык в устах берлинца звучит иначе, чем в устах венца, что французский язык во Франции, в Бельгии и Швейцарии звучит очень различно, что язык английский в Америке не совсем таков, как в Англии и т. д. И это несмотря на то, что современные большие литературные языки имеют возможность унифицировать произношение путем школы и почти всегда имеют какой-нибудь центр (столицу государства и т. д.), по произношению которого равняются другие города и области. Т. к. у славян IX—X в. ничего подобного не было, и т. к. город Солунь, говор которого был положен славянскими первоучителями в основу литературного языка, не только не играл в жизни всего славянства сколько-нибудь значительной роли, но даже не был чисто славянским городом, то естественно, что отклонения от солунской нормы произношения и грамматики в различных частях христианскославянского мира были довольно значительны. Если в Македонии староцерковнославянский язык еще долго сохранял довольно хорошо свой первоначальный облик, то в других областях очень рано возникли местные переработки этого языка применительно к особенностям местного говора. Следует, однако, заметить, что полного применения к фонетике, грамматике и словарю местного говора нигде не происходило, так что мы можем говорить только о местных видоизменениях одного и того же староцерковнославянского языка, сохранившего свою индивидуальность всюду, несмотря на эти видоизменения.

Таким образом, единый староцерковнославянский язык уже в очень древнее время претерпел известные местные изменения и непосредственно породил ряд местных форм. Нам известно несколько таких видоизмененных местных форм (или «редакций»), восходящих непосредственно к староцерковнославянскому языку: македонско-церковнославянский язык (в глаголических памятниках), стоящий ближе всего к старому прототипу, далее хорватско-церковнославянский язык (в глаголических памятниках), древнеболгарско-церковнославянский язык, и язык так называемых «Киевских листов» — загадочного памятника, скорее всего чешского

(моравского) происхождения². Из этих непосредственных наследников староцерковнославянской литературно-языковой традиции только древнеболгарско-церковнославянский язык оказался плодотворной лозой. Остальные вышеперечисленные ветви вскоре совсем захирели и исчезли, за исключением разве хорватско-церковнославянского, существовавшего дольше других, но уже не в старом своем виде, а с сильной примесью болгарской традиции. Таким образом, прямым продолжением линии староцерковнославянской традиции явился только именно древнеболгарско-церковнославянский язык. Этот последний представляет из себя основательную переработку староцерковнославянского языка, предпринятую в старом болгарском царстве под покровительством болгарских царей (особенно Симеона — книголюбца) и при участии византийски образованных болгарских иерархов, монахов и священнослужителей. Изобретенный св. Кириллом алфавит, т. наз. «глаголица», был заменен новым алфавитом, который у нас по недоразумению принято называть «кириллицей», хотя лучше было бы называть его «симеоницей», и который был создан на основе греческого заглавного письма с добавлением некоторых букв из глаголицы (в сильно измененном виде). Видоизменен был также словарный состав староцерковнославянского языка, введено было много новых слов, созданных по образцу соответствующих греческих или заимствованных из живого болгарского говора, устранены были некоторые слова моравского происхождения или прочие заимствования из греческого, отдельные, по-видимому, уже устаревшие или слишком «диалектические» солунскославянские или моравскославянские слова были заменены другими, более употребительными в разговорном языке высших классов старого болгарского царства. Подновлена была и грамматика. Словом, церковнославянский язык предстал в новом, освеженном и более вытощенном виде. И в таком виде он стал не только официальным языком Церкви и болгарского царства, но и мощным орудием прививки византийской духовной культуры к славянскому племени. Через посредство многочисленных переводов с греческого, предпринятых в эпоху расцвета болгарского царства, славянский мир как бы жадно всасывал в себя богатства духовной культуры Византии. На этих переводах вырабатывался и самый стиль церковнославянской литературы, стиль, всецело определяемый влиянием греческого литературного языка и греческой литературной традиции, но в то же время настолько укоренившийся, что сохранялся даже

² Киевские «листки» представляют из себя небольшой (в семь листов) отрывок служебника по римско-католическому (западному) обряду, но на церковнославянском языке: написан этот памятник глаголицей, при том, с чрезвычайно архаичным начертанием букв; по внешним признакам памятник относится к X веку. Наиболее характерной чертой языка этого памятника является замена староцерковнославянского *щ* (произносившегося первоначально как *шт*) через *ц* и сочетания *жд* через *з*: напр. *обцѣль* (вм. *обцѣль*), *подаць* (вм. *подаждь*). Это и дает право предполагать, что памятник этот написан чехом (моравянином); в чешском языке старославянским *щ* и *жд* действительно соответствуют *ц*, *з* (церковнослав. *нощъ* — чешск. *нос*, церковнослав. *между* — чешск. *межі* и т. д.), а в десятом веке, т. е. в эпоху до «падения слабых еров», чеху было даже трудно выговорить сочетания *шт*, *жд*, так что при чтении церковнославянского текста он должен был чем-то их заменять (остальные церковнославянские звуки и звукосочетания в то время для чеха трудностей не представляли). Ту же черту представляют и т. наз. «Пражские листки» (отрывок богослужебного текста по восточному обряду) конца XI в., — памятник уже несомненно чешского происхождения. Эти «Пражские листки», представляющие кроме указанной черты еще много других «чехизмов», показывают, что в Чехии в свое время сложилась особая редакция церковнославянского языка. К сожалению, однако, церковнославянская традиция в Чехии вскоре захирела, так что «Пражские листки» являются памятниками единственными в своем роде.

и в оригинальных, непереводах произведениях болгарских авторов. Присоединение к греческой литературно-языковой традиции, таким образом, по сравнению со староцерковнославянским языком славянских первоучителей, не только не ослабло, но, пожалуй, еще усилилось.

Будучи по своему происхождению местным видоизменением староцерковнославянского языка, древнеболгарско-церковнославянский язык, в свою очередь, распространился среди других славянских племен, претерпев опять-таки у этих племен местные видоизменения. Но условия теперь были уже несколько иные. Во-первых, расхождение между римской и византийской церквями к тому времени настолько уже обозначилось, что славянский литургический язык, являвшийся в своей второй древнеболгарской редакции ярким проводником византийского влияния, не мог распространиться среди тех славян, которые были подчинены римской церкви. А во-вторых, древнеболгарско-церковнославянский язык был уже гораздо более оформлен и определен, чем староцерковнославянский, и потому не мог подвергаться таким сильным местным видоизменениям. Те местные видоизменения, которые он претерпевал, касались, главным образом, его звуковой стороны и лишь отчасти в очень слабой мере грамматики.

Таковыми местными видоизменениями древнеболгарско-церковнославянского языка являются старосербский церковнославянский язык (известный по памятникам с XII в.) и старорусский церковнославянский язык (известный по памятникам с XI в.). Кроме того, таким же видоизменением следует считать и среднеболгарский язык, господствовавший в Болгарии с XII в.³ Из этих трех ветвей две засохли, не оставив потомства, и только одна русская ветвь выжила.

На русской почве церковнославянский язык, перенесенный из Болгарии, с самого начала претерпел некоторые изменения в звуковой своей стороне. Так, существовавшие в церковнославянском языке носовые гласные («юсы») были заменены теми гласными (у, а, ю), которые развились в живом русском народном языке из этих гласных: мгновенное е, чуждое тем южным прарусским говорам, на территорию коих церковнославянский язык попал раньше всего, было заменено нормальным для этих говоров «придыхательным» (точнее: длительным) г, причём это произношение переносилось даже и в те севернорусские области, где народный язык имел мгновенное г. Но, в общем, русские вначале стремились как можно точнее подражать «образцовому» произношению южных славян, и в древнерусских церковнославянских текстах постоянно встречаются следы совершенно искусственного коверкания произношения в угоду приближения к тогдашнему южнославянскому произношению. Следует заметить, что первоначально произношение церковнославянского языка в разных областях русской территории было довольно различно: строже всего держались южнославянского образца в Киеве, тогда как в Новгороде, с одной стороны, и в Галицко-Волынской области, с другой, отклонения в сторону приближения к фонетике живого местного говора были сильнее. Как бы то ни было, видоизменения касались главным образом звуковой стороны языка: отдельные русские грамматические окончания проникали в тексты только в порядке случайных ошибок, а словарный состав

³ Следует заметить, что, хотя пользование «кириллицей», а не глаголицей, ясно указывает на непосредственное восхождение именно к древнеболгарской традиции, тем не менее некоторые древние памятники сербскоцерковнослав. и русскоцерковнослав. языка сохранили следы сильного влияния т. наз. македонскоцерковнослав. литературы, писанной глаголицей.

церковнославянского языка оставался и вовсе незатронутым. В таком слегка видоизмененном виде церковнославянский язык в древней Руси рассматривался как единственный литературный язык, и на нем писались даже оригинальные, не переводные произведения русских авторов.

С течением времени первоначальная пестрота произношения древнерусско-церковнославянского языка сменилась единообразием. В связи с распределением всей русской территории между двумя большими государствами, возникли два русских центра церковнославянского языка, один — восточный, в Москве, другой — западный, в конце концов локализовавшийся в Киеве. Произношение и грамматика в обоих центрах были в общем одинаковы, но довольно различны были стили, в которых писались оригинальные и переводные произведения на церковнославянском языке с одной стороны западнорусскими, с другой — восточнорусскими авторами.

В то же время церковнославянская литература развивалась и у южных славян, причем в связи с этим развитием совершенствовалась и стилистика церковнославянского языка и все более и более стабилизировалась его грамматика и словарь. Но, в связи с турецким завоеванием и разрушением южнославянских царств, литературная деятельность южных славян попала в чрезвычайно неблагоприятные условия. Отдельные представители южнославянской образованности с XIV в. стали эмигрировать в Россию, где встретили радужный прием и сейчас же были использованы как литературные силы. Благодаря им, в русскую церковнославянскую традицию влилась сильная струя церковнославянской традиции сербской и среднеболгарской, и это — в такое время, когда на Балканах эта южнославянская традиция уже постепенно умирала⁴. К XVII в. сербская и болгарская церковнославянские традиции как самостоятельные отпрыски основного древнеболгарского-церковнославянского ствола окончательно умерли, успев, таким образом, перед смертью вдохнуть новую жизнь в русскую церковнославянскую традицию.

К XVII в. церковнославянская традиция жила еще только в двух центрах — в Москве и в Киеве, — из которых каждый имел свой район влияния. При этом традиция московская была не совсем та же, что традиция киевская. После присоединения Украины такое сосуществование двух традиций церковнославянского языка стало невозможным. Должна была наступить унификация. Процесс этот протекал на безболезненно: всем известно, сколько бури вызывало исправление московских богослужебных книг по львовским и киевским образцам и деятельность в Москве киевских ученых. Как бы то ни было, в XVII в. киевская традиция церковнославянского языка одолела московскую, вытеснила ее в старообрядческое подполье, а сама воцарилась в Москве, сделавшись отныне общерусской. Разумеется, эта киевская традиция при этом сама претерпела кое-какие изменения, применившись к новым обстоятельствам и впитав в себя некоторые черты традиции московской.

Таким образом, в XVII в. из соединения восточнорусского церковнославянского языка с западнорусским (при преобладании именно этого последнего) возник общерусский церковнославянский язык. А т. к.

⁴ Под влиянием этой новой струи южнославянского влияния произошли, между прочим, некоторые изменения уже установившегося в России произношения, притом, изменения в сторону восстановления исконного южнославянского произношения известных звуков. Так, с этого времени стали произносить *мед* в таких словах как *вижду*, *ограждение* и т. д.: раньше в этих случаях в церковном языке произносили не *мед*, а *ж* (*вижду*, *огражение*) под влиянием русского народного языка.

в предшествующие века русский церковнославянский язык вобрал в себя традицию южнославянскую, прекратившую свое самостоятельное существование, то этот образовавшийся в XVII в. общерусский церковнославянский язык оказался единственным носителем староправославянского преемства и сделался языком всех православных славянских церквей⁵; с этого времени и южные славяне пользуются в православном богослужении книгами русской редакции со всеми чертами русского произношения, хотя и видоизмененными слегка, благодаря природному, «акценту» туземных южнославянских языков⁶.

В самой России церковнославянский язык в XVIII в. претерпел, кажется, лишь одно звуковое изменение, приблизившее его к светско-литературному языку, именно, утратил различие в произношении между |ѣ и е⁷. В настоящее время наблюдается тенденция ввести в церковнославянское произношение и свойственное светско-литературному языку «аканье», но тенденция эта пока выражена лишь слабо, наблюдается только у отдельных священнослужителей и певчих (преимущественно в любительских хорах) и вряд ли способна утвердиться; кроме того, в Москве, в северной Великодержавии и в некоторых южновеликодержавских городах, тянущих к Москве, духовенство (не говоря уже о певчих) за последнее время стало произносить и звук з по-северновеликодержавски, вместо старого придыхательного ж, державшегося в церковном произношении с начала принятия христианства и ставшего одно время характернейшей приметой «семинарского произношения». Эта способность претерпевать изменения⁸ показывает, что церковнославянский язык еще продолжает жить.

Итак, церковнославянский язык русской редакции есть единственный живущий до сего дня прямой потомок старославянского языка свв. славянских первоучителей. Этот же церковнославянский язык русской редакции лежит в основе и светского русского литературного языка. Процесс возникновения этого последнего представляется в следующем виде.

Еще в домонгольской Русси областные говоры русского языка были до некоторой степени официальными языками соответствующих городов и княжеств. На церковнославянском языке писались произведения религиозного содержания или вообще касающиеся высшей духовной культуры и Церкви, в принципе даже произведения чисто литературные. Напротив, все «деловое», относящееся к практической жизни, грамоты, договоры, светско-законодательные акты, завещания, описи и т. под. писались на местном русском говоре со спорадическим введением в текст тех или иных отдельных церковнославянских слов и выражений. С течением времени этот деловой, канцелярский письменный язык, чисто рус-

⁵ В галицийских *униатских* церквях церковнославянский язык, по-видимому, ведет свое начало прямо от западнорусской церковнославянской традиции (с видоизменением в угоду украинскому произношению), но, кажется, тоже не без влияния общерусской.

⁶ Так, *и* произносится как *и*, а *е* и *ѣ* — как *э*, вместо *я* — всюду *ья* (*съят*, *тъяжко*); кроме того сербы заменяют сочетание *вс* через *св* и часто смещают ударение.

⁷ Старобранцы еще сохранили это различие, именно, произносят *ѣ* так же, как и *никопчане*, а *е* после согласных — как *э*.

⁸ Кроме указанных изменений в области произношения, происходят некоторые изменения и в области словаря: так даже при чтении богослужебных текстов слово *живот* заменяется словом *жизнь*; в новых молитвах или молитвенных формулах, вводимых в богослужение в XIX и XX в., словарный состав уже не тот, что прежде. Что касается до грамматики, то можно отметить, что некоторые священнослужители за последнее время стали при чтении Св. Писания заменять формы двойственного числа формами множественного.

ский по своему словарному составу, грамматическому, синтаксическому и стилистическому строю, постепенно фиксировался. Со времени раздела русской территории между двумя большими государствами, Московским и Литовскорусским, процесс этот еще усилился, и в результате образовались два таких светско-деловых русских языка, западнорусский и московский. Оба языка были в тоже время и разговорными языками чиновников и правящих классов соответствующих государств.

Западнорусский светско-деловой язык подвергся сильному польскому влиянию, сила которого с течением времени все возрастала в связи с ополчением русских правящих классов в русских областях, подпавших под польское владычество. В конце концов, этот западнорусский светско-деловой язык, уже почти совсем ополяченный, в официальных актах вовсе перестал применяться, заменившись польским, да и в качестве разговорного языка высших классов был вытеснен чисто польским. Но до этого полного захирения западнорусского светско-делового языка был сделан опыт создать на его основе особый светско-литературный язык (для научных, публицистических и беллетристических произведений), введя в него для этой цели и некоторое количество церковнославянских элементов; получилась пестрая и неформальная смесь польского с церковнославянским при почти полном отсутствии специфически русских элементов. На этом, собственно, церковнославянопольском западнорусском светско-литературном языке еще в XVII в. писалось довольно много. Но этот неуклюжий искусственный язык не удержался. В русских областях, оставшихся под властью Польши, язык этот был вытеснен чисто польским, а в областях, присоединившихся к Москве, язык этот вымер, успев, однако, оказать сильнейшее влияние на русский литературный язык.

Московский светско-деловой язык сложился на основе средневеликорусского говора города Москвы и сделался, как указано выше, не только официальным государственным языком московских приказов, но и разговорным языком служилого сословия Московского государства. Кроме государственных актов на этом языке писались и некоторые литературные произведения без особых претензий на «литературность» — напр. такие произведения, как описание путешествий в далекие страны или знаменитый памфлет Котошихина. Собственно литературным языком оставался все же язык церковнославянский, на котором писались не только произведения религиозно-учительного характера, но и произведения научного и просто беллетристического содержания.

Когда в XVII в. церковнославянский язык московской редакции был вытеснен общерусским церковнославянским языком, сложившимся на основе западнорусской (киевской) традиции, стали происходить изменения и в разговорном языке высших классов русского общества. В язык этот стали проникать элементы западнорусского светского языка, причем особенно много этих элементов было, конечно, в разговорном языке «западнически» настроенных людей. При Петре именно эти люди стали играть руководящую роль, а вместе с ними продолжали выдвигаться и коренные киевляне и западноруссы. В связи с этим в словарь разговорного языка высших классов (а через него и в словарь светски-литературного и канцелярского языка) влилась мощная струя элементов западнорусского светски-делового языка, который, однако, сам вскоре прекратил свое существование. К заимствованиям из западнорусского светского делового языка не замедлили присоединиться многочисленные слова, заимствованные из всевозможных романо-германских языков. Т. о., разговорно-де-

ловой язык высших классов] русского общества, оставаясь средневеликорусским (московским) по своему произношению и по грамматике, значительно утратил чистоту своей великорусской основы в области словаря.

Что касается до соотношения функций церковнославянского и чисто русского языков, то, в общем, оно и в первой части XVIII в. оставалось тем же, каким было раньше, с тою лишь разницею, что, в силу изменившихся культурно-исторических условий, светская литература все более эмансипировалась от религиозной, что вело к дифференциации в области языка. Собственно, в сознании грамотного русского жили совместно, по крайней мере, три языка, каждый прочно ассоциировавшись со своей специальной сферой применения: языки чисто-церковнославянский, применяемый в богослужении, в произведениях религиозного содержания и прочно ассоциированный именно с религиозной сферой представлений; собственно-русский язык, применяемый в практически-деловой жизни и в «домашних» разговорах на простые житейские темы и ассоциированный со сферой представлений практической повседневной жизни; наконец, упрощенно-церковнославянский язык, ассоциированный с наукой и со светской литературой более или менее выпрениной и торжественной, но без того специфического оттенка, который отличал чисто религиозную выпрениность⁹.

Этот язык светской литературы (славяно-российской) по своему словарному составу был чисто-церковнославянским, отличаясь в этом отношении от богослужебного языка только сначала избеганием, а потом и отсутствием некоторых специфически церковных слов (вроде *абие*, *еда*, *етеръ*, *иногда* в значении «некогда» и т. д.), но в своем грамматическом строе приближался к русскому разговорному, как по отсутствию некоторых специфически церковнославянских форм (напр., форм прошедшего времени вроде *несохъ*, *носяще*, форм двойственного числа, дательного на — *ови*, множественного на — *ове* и т. д.), так и присутствием специфически русских окончаний и синтаксических оборотов.

Из тех трех языков, которые совместно жили в сознании каждого грамотного русского, чисто-церковнославянский выделялся как особый языковой тип, с застывшей, строго определенной и (в принципе) более уже не подлежащей изменению структурой и строго определенной сферой применения. Остальные два, — чисто-русский деловой и упрощенно-церковнославянский светско-литературный, — сознавались не как два особых языка, а скорее как два разных стиля одного языка, причем граница применения того и другого постепенно становилась все менее определенной. Сообразно с этим, по-видимому, изменилось и произношение упрощенно-церковнославянского языка, и изменилось в сторону приближения к чисто-русскому. Так получилось, что одно и то же церковнославянское по своему происхождению слово в богослужебном тексте произносилось иначе, чем в тексте светском литературном (напр., в первом случае — с «оканьем», во втором — с «аканьем»). В то же время шло, все усиливаясь, изменение грамматического состава светско-литературного языка, опять-таки в сторону применения к чисто русской грамматике. Наконец, началось и выравнивание словарного состава. Здесь наблюда-

⁹ Особое положение занимал еще язык канцелярского делопроизводства. Некогда чисто русский, он со временем все больше и больше впитывал в себя церковнославянских элементов, остававшихся чуждыми разговорному языку (вроде *попелже*, *поелику* и т. д.). Кроме того, и сам великорусский элемент канцелярского языка выступал в более архаичном виде, чем в разговорном. Таким образом, этот канцелярский язык в XVIII в. (да и позднее) не совпадал ни с литературным, ни с разговорным.

лось проникновение словарных элементов светско-литературного языка в разговорно-деловой. И, очевидно, причина этого явления лежала в изменении культурного облика грамотных русских и в соответственном изменении самых тем повседневных разговоров. Прежде эти повседневные разговоры вращались исключительно в сфере «низких предметов»; разговоры на «высокие» темы были необычны, и эта необычность сказывалась сразу в полной перемене всего словарного, грамматического и синтаксического строя речи. Но с течением времени выработался особый тип грамотных русских людей, для которых подобные разговоры о «высоких предметах» были вовсе не необычны, во всяком случае, не более, а скорее даже менее необычны, чем разговоры о предметах «низких». У таких людей грань между повседневным разговорно-деловым и «возвышенным» литературным языком (точнее, — стилем) должна была ступевываться, и они начинали употреблять слова и обороты, свойственные светско-литературному языку, также и в самых простых повседневных разговорах житейско-делового характера. У таких людей происходило, следовательно, постепенное «олитературивание» разговорного языка. Но параллельно с этим процессом шло и «обрусение» светско-литературного языка. Из словаря этого языка стали исчезать некоторые церковнославянские элементы, заменяясь соответствующими русскими. Характерно, что это происходило особенно со словами «вспомогательными» (вроде *паки, паче, иже, понеже* и т. д.), употребляемыми обычно совершенно автоматически, с минимальной установкой языкового внимания: люди, для которых грань между литературным и разговорным языком уже стиралась, не могли уже делать различия между этими двумя языками в таких автоматических, подсознательных элементах своей речи.

Таким образом, к концу XVIII в. разговорный язык руководящих слоев русского образованного общества настолько «олитературился», а светско-литературный язык, употребляемый теми же слоями в писаниях, настолько «обрусел» в своем формальном составе, что слияние этих обоих языков воедино стало почти неизбежным. К началу XIX в. это слияние действительно и произошло. В принципе разговорный язык русской интеллигенции был объявлен литературным, т. е. на этом языке стали писать все, начиная от частных писем и вплоть до философских трактатов и стихотворений. Конечно, различие между отдельными сферами литературного применения этого языка не совсем исчезло, и различие это сказывается в разном процентном отношении церковнославянского и русского элементов. Писатели первой половины XIX в. в стихах допускают массу таких церковнославянских слов, которых в прозе уже никто не употребляет (напр., *з л а т о, д е в а, о ч и, з е н и ц а* и т. д.) и, наоборот, в стихах избегают таких русских слов и оборотов, которые в прозе совсем обычны. Язык научный заключает в себе гораздо больше церковнославянских слов, чем язык беллетристики. Но все это не ощущается уже как различие между разговорным и специфически-литературным языками, а лишь как различие стилей, притом, необязательное.

Таким образом, можно сказать, что современный русский литературный язык получился в результате прививки старого культурного «садового растения» — церковнославянского языка к «дичку» разговорного языка правящих классов русского государства. Русский литературный язык в конечном счете является прямым преемником староцерковнославянского языка, созданного свв. славянскими первоучителями в качестве общего литературного языка для всех славянских племен эпохи конца праславянского единства.

Для того, чтобы иметь правильное представление о происхождении и современных свойствах русского литературного языка, надо сопоставить его историю с историей других современных славянских литературных языков.

Кроме русского литературного языка преемником староцерковнославянской традиции является только еще современный болгарский литературный язык. Но преемство здесь не прямое, как в русском, а опосредствованное русским влиянием. Среднеболгарская литература в свое время захирела и умерла. В эпоху так называемого новоболгарского возрождения старая литературно-языковая традиция настолько прочно была забыта, что тогдашние болгарские писатели и публицисты не могли возродить ее и примкнули к литературной традиции русской. Болгарский литературный язык того времени был лишь, так сказать, болгаризованной формой русского литературного языка, причем, естественно, из русского литературного языка почерпались, главным образом, его церковнославянские элементы, но все же в их русской, а не среднеболгарской форме. В дальнейшем влияние русского языка на болгарский литературный язык всегда продолжало оставаться чрезвычайно сильным, и, хотя у современных писателей и замечается тенденция к все большему выдвигению чисто болгарского народного словаря, полная эмансипация от тесной связи с русской литературно-языковой традицией вряд ли осуществима. Пропедевский через горнило русского литературного языка, церковнославянский словарный материал в русском обличии является тем мощным звеном, которое связывает современный болгарский литературный язык с общеславянской литературно-языковой традицией.

Прочие современные южнославянские литературные языки не стоят ни в какой связи с церковнославянской традицией. Мы уже видели, что старый сербскоцерковнославянский язык погиб в эпоху турецкого владычества, и что богослужебный язык сербской церкви есть церковнославянский язык русской редакции. В XVIII в., в эпоху постепенного обрусения упрощенно-церковнославянского светско-литературного языка в России, этот особый тип тогдашнего русского литературного языка проник и к сербам, породив у них так называемый «славяно-сербский» язык (точнее, «русскоцерковнославянский язык с сербизмами»), употреблявшийся сербскими писателями довольно долго еще и в начале XIX в. Но эта традиция тоже прекратилась, и современный сербохорватский литературный язык не имеет с ней ничего общего. Этот современный литературный язык не примыкает и к чисто национальной сербохорватской традиции средневековой далматинской (дубровчанской) литературы, язык которой сложился на основе народного говора Дубровника (Рагузы) под сильным влиянием итальянского языка. Современный сербохорватский литературный язык возник *ex abrupto* на основе простонародного говора. Создателем этого языка был смелый реформатор Вук Караджич. Таким образом, в противоположность истории образования русского литературного языка, характеризуемой постепенностью и органической непрерывностью литературно-языковой преемственности, история сербохорватского литературного языка отмечена резким и полным разрывом с традицией и, притом, разрывом не вынужденным, а добровольным.

Современный словенский литературный язык тоже основан на современном народном говоре и тоже без всякого примыкания к какой-либо старой традиции. Следует только отметить, что на этот язык оказал влияние созданный Вуком Караджичем сербохорватский литературный язык, и что это влияние теперь, благодаря вхождению словенцев в одно государство с сербами и хорватами, несомненно еще усилится.

Западнославянские литературные языки с самого начала не стояли ни в какой связи со староцерковнославянской традицией. Правда, эта традиция в свое время проникла в Чехию, но не пустила глубоких корней и умерла, не оказав сколько-нибудь значительного влияния на старочешский язык. Этот последний сложился как письменный язык совершенно самостоятельно в XIII в. (вероятно, даже раньше) и очень рано стал языком не только государственным, но и литературным. В основе его лежал живой разговорный язык чешских горожан, но «литературность» придана была ему, главным образом, многочисленными переводами с латинского и с немецкого, сыгравшими для него ту же роль, что переводы с греческого для церковнославянского: «новые слова», поскольку они не являлись просто заимствованными из латинского или немецкого, создавались из чешского языкового материала путем калькирования немецких и латинских. Первоначально диалектически довольно пестрый, этот старочешский язык с течением времени все более выравнивался применительно к среднечешскому наречию. Благодаря деятельности Яна Гуса и так называемых «чешских братьев» чешский язык к XVI в. принял совершенно оформленный вид. Но неблагоприятно сложившиеся обстоятельства прервали его дальнейшее развитие, и чешская литературная традиция на долгое время почти совершенно иссякла. Только в конце XVIII и в начале XIX в. началось возрождение чешского литературного языка. При этом, деятели чешского возрождения обратились не к современным народным говорам, а к прерванной традиции старого чешского языка конца XVI в. Разумеется, язык этот пришлось несколько подновить, но все же, благодаря этому примыканию к прерванной традиции, новочешский язык получил совершенно своеобразный облик: он архаичен, но архаичен искусственно, так что элементы совершенно различных эпох языкового развития в нем уживаются друг с другом в искусственном сожительстве. Благодаря этому, новочешский литературный язык существенно отличается от живых народных говоров. Выравнивание идет в двух направлениях: через школу литературный язык стремится заменить собою нелитературное «просторечие», а это последнее через газеты и реалистическую беллетристику неудержимо стремится наложить свое обличье на литературный язык. Характерным для чешского литературного языка является далее усиленное создание новых слов для замены иностранных. Исторически это было вызвано необходимостью, т. е. в силу усиленной германизации и долгого перерыва национальной литературно-языковой традиции чехи в начале XIX в. совершенно почти разучились говорить по-чешски. Но, направившись сначала против немецких заимствований, это пурификаторское стремление в конце концов привело к созданию новых слов и для таких понятий, которые во всех европейских языках выражаются греко-латинскими словами. При этом, «новые слова», разумеется, являются большей частью кальками соответствующих иностранных, при этом кальками подчас весьма искусственными и неуклюжими. Это обилие искусственно созданных новых слов еще усиливает отличие литературного языка от народных говоров и даже от интеллигентского «просторечия», в котором немецкие слова продолжают

играть видную роль¹⁰. Старочешский язык очень рано «отполировался» на переводах с латинского и немецкого и выработал довольно детальную терминологию для всевозможных отвлеченных понятий и для представлений религиозной сферы. Язык старопольский и стал литературным гораздо позднее чешского, и, т. к. между Польшей и Чехией существовало довольно оживленное культурное общение, а польский и чешский языки в XIV в. были фонетически и грамматически гораздо ближе друг к другу, чем в настоящее время, то неудивительно, что в начале своего литературного существования старопольский язык испытал на себе чрезвычайно сильное чешское влияние. В своей основе старопольский литературный язык развился из разговорного языка польской шляхты, и эта его связь с определенным сословием, а не с определенной местностью, сказалась в том, что он с самого своего начала не отражал в себе никаких специфически местных, диалектических черт и никогда не совпадал ни с одним местным народным говором: в то время как, напр., русский литературный язык в отношении произношения может быть определенно локализован в области средневеликорусских говоров, польский литературный язык вовсе не поддается локализации на диалектической карте этнографической Польши. Литературная традиция польского языка с XIV в. никогда не прекращалась, так что в отношении продолжительности и непрерывности литературной традиции польский язык среди славянских литературных языков занимает следующее место после русского. В то же время литературная традиция польского языка является почти замкнутой: только в начале своего существования он испытал, как сказано выше, довольно сильное чешское влияние. Зато в эпоху чешского возрождения наблюдается обратное влияние польского языка на вновь воссоздаваемый новочешский.

С л о в а ц к а я литературно-языковая традиция началась довольно поздно, в конце XVII и в начале XVIII в., в период упадка чешской традиции, когда чешский язык влачил жалкое существование в немногочисленных популярных книжках преимущественно религиозного содержания. В эту эпоху словацкий язык стал проникать в такие же популярные книжки (составленные преимущественно иезуитами), в сущности, только как диалектическая разновидность чешского. В течение всего XVIII в. литература на словацком языке пребывала в общем на том же уровне, и только с конца 30-х годов XIX в. началось интенсивное созидание настоящего словацкого литературного языка. В основу его были положены народные говоры среднесловацкого наречия. Несмотря на стремление основателей и главных деятелей словацкой литературы отмежеваться от чешского языка, примыкание к чешской литературно-языковой традиции для словаков настолько естественно, что противоборствовать ему невозможно. Отличия словацкого и чешского литературных языков главным образом грамматические и фонетические, словарный же состав обоих языков почти одинаков, особенно в сфере понятий и представлений высшей умственной культуры.

Литературные языки л у ж и ц к и е (верхнедужицкий и нижнедужицкий) возникли, можно сказать, в XIX в., ибо ранее на этих языках

¹⁰ Оригинальное положение создается тем, что искусственные новые слова изобретаются, главным образом, для обозначения понятий отвлеченных или предметов высшей культуры, тогда как в обозначении предметов домашнего обихода, сельского хозяйства, ремесел и проч. искусственное словоизобретательство не прививается: т. о. слов, заимствованных из немецкого, в «нижних слоях» словаря чешского литературного языка оказывается гораздо больше, чем в слоях «верхних».

имелись лишь немногочисленные произведения религиозного содержания (древнейшие — XVI в.). На лужицкие литературные языки оказал довольно сильное влияние язык новочешский, но в принципе каждый из этих языков основан на живых народных говорах.

Таким образом, можно сказать, что хотя каждый из современных западнославянских литературных языков возник самостоятельно, притом на основе данного живого разговорного языка, тем не менее все они связаны друг с другом известной общей литературно-языковой традицией. Но связь эта носит характер не преемства, а взаимного влияния, причем источником этого влияния является литературный язык чешский, сильно повлиявший в средние века на польский, в новое время — на словацкий и оба лужицкие и при своем возрождении сам испытывший на себе польское влияние.

(Окончание следует)

© 1990 г.

БОРОДИНА М. А., КУЗЬМИЧ Н. Г., НАЙДИЧ Л. Э.

ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДЫ В. М. ЖИРМУНСКОГО И СОВРЕМЕННАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ, ЛИНГВОГЕОГРАФИЯ И АРЕАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА

В. М. Жирмунский — филолог-энциклопедист, основоположник многих направлений в советском литературоведении и языкознании. В 1986 г. исполнилось 30 лет со дня выхода в свет его капитального труда, книги «Немецкая диалектология», нашедшей широкое признание в нашей стране и за рубежом.

В середине 20-х годов В. М. Жирмунский, ранее занимавшийся в основном проблемами литературоведения, заинтересовался диалектами немецких поселенцев на территории СССР. Диалектная тематика привлекала ученого сочетанием точности лингвистических фактов с широкой историко-этнографической и социально-лингвистической перспективой. В 20—30-х годах под руководством В. М. Жирмунского проводятся обширные полевые исследования, в задачу которых входит и собрание диалектного материала, и изучение истории края, живых реликтов прежних общественных формаций, отраженных в диалекте и фольклоре [1]. Во время научных командировок в Бонн и Марбург (1925—1927 гг.) В. М. Жирмунский, по собственному высказыванию, «познакомился с новыми теориями немецкой диалектографии..., когда занялся обработкой своих материалов по диалектам так называемых „немецких колоний“ в Марбургском диалектологическом институте с помощью в то время еще рукописного „Атласа немецкого языка“ и лично познакомился с Вредэ и его тогда молодым учеником проф. Теодором Фрингсом» [2]. В этот период сформировались основные взгляды В. М. Жирмунского на диалектологию [3]. Ученого интересовали закономерности развития островных диалектов, проблемы диалектных смешений и соотношения диалекта с литературным языком. Диалекты немецких поселенцев, изолированные среди иноязычного окружения и постоянно подвергающиеся взаимовлияниям, часто приводящим к образованию смешанных говоров, оказались важными в методическом отношении, явились своеобразной «экспериментальной лабораторией». Результаты полевых исследований В. М. Жирмунского отражены в его многочисленных статьях и монографиях [4—9]¹.

¹ По инициативе В. М. Жирмунского романистами было предпринято аналогичное обследование немногочисленных романских поселений, которые располагались на юге нашей страны. В приложении к книге В. Ф. Шишмарева «Романские поселения на юге России», опубликованной под редакцией В. М. Жирмунского [10], даны три статьи, доводящие до наших дней наблюдения над романскими поселениями на территории СССР, — Р. Я. Удлера о молдавских островных говорах, М. А. Бородиной о бывшей швейцарской колонии Шабо и М. П. Корси о судьбе потомков итальянских колонистов (бишельбецях).

В 50—60-е годы В. М. Жирмунский обратился к обобщению и осмыслению материала отдельных диалектов немецкого языка и к их сравнительному анализу. Диалектологические труды В. М. Жирмунского этого периода идут в русле сравнительно-исторических исследований, раскрывают важнейшие тенденции развития германских языков.

По высказыванию известного американского лингвиста У. Дж. Моултона, существуют три большие «лингвистические лаборатории»: 1) диахронические исследования, т. е. изучение истории языков по памятникам; 2) синхронические исследования — изучение живых языков, их сравнение, разработка универсалий; 3) диалектологические исследования, которые как бы объединяют в себе изучение языка в трех измерениях: во времени, в пространстве и на социальном уровне [11, с. 460]. Диалектология позволяет получить большой корпус данных, сведения, важные для построения универсалий, дает возможность понять процессы, происходившие в истории языка. В. М. Жирмунский был вхож во все эти лингвистические лаборатории. В книге «Немецкая диалектология» на материале диалектов освещаются основные явления истории немецкого языка; эта книга — одновременно и лингвогеография немецкоязычного ареала, и история немецкого языка, обращенная в пространство.

К моменту создания «Немецкой диалектологии» существовало множество статей и монографий по отдельным немецким диалектам и диалектным областям, а также разрозненные карты немецкого лингвистического атласа. Были и пособия по немецкой диалектологии, но они не содержали обобщения накопленного материала. Лишь в грамматике Л. Зюттерлина [12] были прослежены отражения отдельных явлений истории немецкого языка в современных диалектах. Однако эта книга, собственно говоря, не представляет собою диалектологию, не затрагивает вопросов теории диалекта и лингвогеографии; кроме того, ее материал, собранный еще до первой мировой войны, к периоду создания книги В. М. Жирмунского уже устарел. Поэтому «Немецкая диалектология» — это уникальный труд, в котором с удивительной полнотой был обобщен имевшийся к тому времени материал и содержались важные теоретические положения — рассматривались соотношения общенародного языка и местных диалектов, по-новому ставился вопрос членения немецкого диалектного ареала (в связи с работой Ф. Энгельса «Франкский диалект»), освещалась проблема функционирования и развития диалектов. Зарубежные рецензенты отмечали с удивлением, что этот капитальный труд написан не в Германии и не на немецком языке [13]. В 1962 г. книга «Немецкая диалектология» была переведена на немецкий язык В. Флейшером и опубликована в ГДР [14]. С тех пор она стала настольной книгой для германистов всех стран.

Многие идеи В. М. Жирмунского нашли широкий отклик, а существенные направления его деятельности в области изучения диалектного материала были продолжены его учениками и последователями. Так, еще в ранних работах по диалектологии при изучении немецких диалектов на территории СССР В. М. Жирмунский выделил первичные и вторичные (примарные и секундарные) признаки диалектов, различие между которыми проявляется при диалектных смещениях. Разграничение этих признаков стало общепринятым и используется при исследовании языковых и диалектных интерференций, процессов образования полудиалекта и разговорного языка, а также других промежуточных языковых слоев (ср. работы Г. В. Степанова, А. И. Домашнева, А. Д. Швейцера, М. А. Бородиной). Теория примарных и секундарных

признаков широко используется и зарубежными лингвистами, особенно в работах по германистике. На II Международном конгрессе диалектологов (Марбург, 1965 г.) П. Трост сделал в своем докладе попытку уточнить эту теорию с точки зрения структурной лингвистики. Он выделил несколько типов взаимодействия диалектных фонологических систем и структурные условия, более или менее благоприятные для сохранения/отпадения каких-либо диалектных особенностей [15]. Тем не менее П. Тросту не удалось выявить общих закономерностей, распространяющихся на все имеющиеся случаи; были намечены лишь некоторые тенденции. Обсуждение проблемы примарных и секундарных признаков было продолжено на Международном симпозиуме «К теории диалекта» (Марбург, 1977 г.), где И. Рейфенштейн предложил генеративный подход к этому вопросу [16, 17]. Доклад Рейфенштейна вызвал полемику, в которой участвовали такие крупные диалектологи, как П. Ивич, П.-П. Визингер и др. Подводя итоги этой дискуссии, участники симпозиума пришли к выводу, что правила, предложенные И. Рейфенштейном, не носят универсального характера [18]. На VIII Рабочем заседании алеманских диалектологов в Тризенберге (Лихтенштейн) в 1984 г. в докладе К. Якоба было предложено, наряду с первичными и вторичными признаками диалектов, введенными в научный оборот В. М. Жирмунским, выделять еще и т р е т ь и ч н ы е признаки, которые проявляются во взаимодействии с литературным языком [19]. Таким образом, концепция В. М. Жирмунского до сих пор служит предметом научного интереса. Накоплен новый материал, иллюстрирующий функционирование примарных и секундарных признаков. Тем не менее многое остается дискуссионным, не всегда удается объяснить, почему в том или ином конкретном примере один признак диалекта отпадает, а другой сохраняется. Изучение механизма диалектных смещений было начато В. М. Жирмунским и продолжается в наши дни.

Социолингвистические идеи В. М. Жирмунского шли в русле важнейших направлений развития лингвистической науки. Если большинство немецких диалектологов описывало «чистый диалект», то В. М. Жирмунский ставил проблемы существования промежуточных языковых пластов — городских полудиалектов, разговорного языка [20]. Как известно, изучение социальных функций языка, его стратификации и функционально-стилистической дифференциации стало одной из важнейших областей современного языкознания. В. М. Жирмунский был одним из основоположников советской социолингвистики.

В. М. Жирмунский заложил и основы изучения немецких диалектов в СССР (работы в этом направлении продолжаются в наши дни), а также преподавания диалектологии в нашей стране.

34 года, которые прошли после выхода в свет книги «Немецкая диалектология», были годами бурного развития лингвистической науки. Новые идеи проникают и в диалектологию. Важную роль при этом сыграли работы американских ученых — У. Вайнрайха, поставившего вопрос о возможностях и теоретических основах применения структурного метода к диалектологии (его известная статья так и называется «Возможна ли структурная диалектология?» [21]), и У. Дж. Моултона, продемонстрировавшего в многочисленных статьях использование этого метода при изучении диалектов (в основном на примере говоров немецкоязычной Швейцарии [22—25]). С 60-х годов появляются структурные исследования немецких диалектов.

В последнее время и другие лингвистические методы и идеи находят

свое отражение в трудах по диалектологии. Можно выделить четыре типа современных диалектологических исследований: традиционные, структурные, генеративные, коммуникативные. Традиционная диалектология тесно связана с историей языка — изучается отражение отдельных «звуков» или грамматических форм более древнего состояния в современных диалектах. Основным недостатком этого метода считается атомарность. При структурном подходе делается попытка изучать явления в их взаимосвязи, исследовать системные отношения и их развитие [26].

Применение структурной диалектологии к фонетическому материалу можно проиллюстрировать следующим примером. В большинстве немецких диалектов долгое *a* подверглось сужению и лабиализации (*Verdumpfung*) [27, с. 200—201]. Это явление хорошо изучено в швейцарских диалектах; в них, например, литературному немецкому *guten Abend* соответствует [guətən ābig], [guətən ʔbig] или [guətən ōbig] — в зависимости от говора, т. е. др.-в.-нем. *ā* могло дать *ā* или *ō* с разной степенью открытости. В «Лингвистическом атласе немецкоязычной Швейцарии» есть карты, показывающие различные фонетические отражения др.-в.-нем. *ā* [28]. Но с точки зрения структурной диалектологии важны не столько эти фонетические различия (например, степень открытости *ō*), сколько место соответствующих фонем в системе, их противопоставленность другим фонемам. Так, рефлекс *ā* в слове *Naar* может совпасть с рефлексом *ō* в слове *Ohr*, а может не совпасть с ним и образовать новую фонему. С другой стороны, он может совпасть с /ā/ в слове /gār/ (рефлекс краткого *a*, подвергшегося удлинению). Нужно рассмотреть и рефлекс краткого *o*, которое также в определенной позиции может удлиниться. Таким образом, в зависимости от диалекта мы имеем: /gār/, но /hōr, ōr, fərlōrə/ (с разной степенью открытости *ō* в разных говорах), либо /gār/, /hōr/, /ōr, fərlōrə/ с образованием новой фонемы — /ɔ/, или /gār/, /hōr, fərlōrə/, /ōr/ с другим распределением фонем /ā/, /ō/, /ɔ/ по отдельным словам [41, с. 455—456]. Выявленные диалектные различия можно нанести на карту (см., например, структурные карты в книге Я. Госсенса [29]).

Приведенный пример показывает, что структурная диалектология не исключает, а, наоборот, предусматривает обращение к историческим соответствиям. При структурном описании какого-либо одного языка или диалекта можно было бы отвлечься от диахронии. Но исследование, где даются лишь системы в синхронии, диалектолога не удовлетворяет, т. к. неясным остается соотношение данного диалекта с другим. При одинаковых системах распределение фонем по словам в различных диалектах может быть разным, что важно для диалектолога. Эталоном для сравнения отдельных диалектов должна быть некая исходная система — для немецкого языка средневерхненемецкая или древневерхненемецкая, использование которой гораздо более удобно и плодотворно, чем составление какой-либо искусственной эталонной системы. Таким образом, структурная диалектология не отменяет, а дополняет сравнительно-исторические исследования.

Коммуникативная диалектология — одно из молодых направлений диалектологических исследований — ставит своей целью изучение варьирования языка в зависимости от ситуации (использование диалекта, полудиалекта и т. п.). Исследования такого рода в принципе должны охватывать разные стороны описания диалектов (включая и системные отношения на разных уровнях). Из сказанного следует, что разные методы в диалектологии нельзя рассматривать как взаимоисключающие. Лишь генеративные исследования стоят особняком; представляется, что

этот метод мало перспективен и применим только для описания отдельных явлений в диалектах [30].

Кроме развития теории, диалектология за последние 30 лет накопила и обширный фактический материал. В немецкоязычном ареале описаны диалекты, ранее остававшиеся не известными лингвистам. Исследователи все более стремятся к описанию социального функционирования диалекта. Так, например, было изучено соотношение диалекта и разных пластов обиходно-разговорного языка в некоторых районах ГДР [31]. При исследовании истории диалектов привлекаются ранее не изученные данные (документы, топонимика). Диалекты изучаются и с практическими целями — помочь учителю в преподавании, так, чтобы диалект не стал препятствием для освоения учениками учебных дисциплин; создана серия монографий, содержащих контрастивное описание диалекта и литературного немецкого языка [32].

За последние годы появился также целый ряд обобщающих пособий по немецкой диалектологии; в нашей стране недавно были изданы два учебника — Н. И. Филичевой [33] и Т. В. Строевой [34]. Оба эти пособия базируются на спецкурсах, читавшихся их авторами, и в основном предназначены для студентов, хотя могут представлять интерес и для ученых-германистов, занимающихся вопросами истории языка, диалектологии, функционально-стилистической дифференциации языка и т. п. В книге Н. И. Филичевой большое внимание уделяется вопросам социолингвистики, лингвистической ситуации в ГДР и ФРГ, использованию диалектизмов немецкими писателями, а фонетика и грамматика диалектов описываются, по словам автора, на основе книги В. М. Жирмунского [33, с. 6]. В книге Т. В. Строевой, помимо описания конкретного материала диалектов, рассматриваются важные теоретические проблемы — например, соотношение диалекта и полудиалекта, механизмы диалектных смещений. Таким образом, идеи В. М. Жирмунского нашли и здесь дальнейшее развитие. Из пособий такого рода, опубликованных в ФРГ, можно назвать книги Я. Госсенса [35] и Х. Нибаума [36], интересные тем, что в них анализируются теоретические проблемы диалектологии с учетом современных концепций; однако практический диалектный материал в них почти не приводится (у Нибаума дан лишь краткий обзор немецких диалектов). Кроме того, в серии публикаций американских университетов был издан учебник, где автор излагает в доступной для студентов форме основные сведения о немецких диалектах, дает их классификацию и описание [37]. Нельзя не упомянуть и опубликованную ранее монографию Р. Э. Келлера, где описывается фонетический и морфологический строй нескольких избранных автором немецких диалектов (дюринского, бернского, эльзасского, дармштадтского и т. д.) [38]. В книге удачно совмещаются традиционный и структурный подходы; для практических целей она очень удобна. И, наконец, в 1982—1983 гг. вышел в свет двухтомный труд по немецкой диалектологии под редакцией В. Беша, У. Кноопа, В. Пучке и Х. Э. Вигаида, включающий 208 карт, 385 рисунков и 105 статей (авторский коллектив — 91 чел.) [39]. В первом томе рассматриваются вопросы теории и методологии, второй том посвящен исследованию немецких диалектов [40].

В связи с появлением этих сравнительно новых работ возникают вопросы: во-первых, как оценивают их авторы вклад В. М. Жирмунского в диалектологию, и, во-вторых, насколько актуальна книга В. М. Жирмунского «Немецкая диалектология» по своим идеям и материалу в наши дни. Приведем несколько высказываний современных исследователей.

Я. Госсенс отмечает, что существует два основных руководства (Handbücher) по немецкой диалектологии — книги А. Баха и В. М. Жирмунского, но А. Бах рассматривает лишь методические и экстралингвистические проблемы [35, с. 105]. Перечисляя и оценивая пособия по немецкой диалектологии, Нобл начинает с книги В. М. Жирмунского; он называет ее «наиболее полным, детальным и исчерпывающим исследованием на сегодняшний день» [37, с. 16] и предлагает рекомендовать ее студентам для выборочного чтения. В двухтомной диалектологии под ред. В. Беша и др. указывается, что авторы данного издания исходят прежде всего из нескольких основополагающих трудов по германистике, содержащих обзор обширного материала, — и в первую очередь упоминается «Немецкая диалектология» В. М. Жирмунского [39, с. XII]. В другом месте сказано, что книга В. М. Жирмунского является первым фундаментальным и уникальным опытом сравнительной фонетики и морфологии немецких диалектов [39, с. 34].

Что касается актуальности данного труда, то о ней свидетельствует и упоминавшаяся выше дискуссия по поводу некоторых его теоретических положений, применение этих концепций многими лингвистами, их дальнейшее развитие на материале разных языков и диалектов, а также использование описания немецких диалектов, содержащегося в книге В. М. Жирмунского, во всех последующих работах. Отсылки к материалу, собранному и обобщенному В. М. Жирмунским, содержатся почти в каждой из 105 статей двухтомной диалектологии.

Рассмотрим проблему проведения и распространения второго перебоя согласных в немецких диалектах, которой в двухтомной диалектологии посвящена специальная статья. Эта проблема остается одной из дискуссионных. Споры между сторонниками моногенеза и полигенеза второго перебоя не стихают, а разгораются в последнее время с новой силой. В. М. Жирмунский, вслед за представителями «рейнской школы» (Т. Фрингс, В. Митцка), считал, что перебой возник в южном (алеманнско-баварском) ареале, а затем проник во франкское наречие путем вытеснения слов. Он отмечал, что «в процессе лексического вытеснения также наличествует закономерность, но эта закономерность особого порядка, которую можно было бы назвать фонетической аналогией: *wasser* вытесняет *water*, как *essen* вытесняет *eten...*» [41, с. 468]. Эта теория была подтверждена в специальном исследовании Г. Лерхнера [42], но затем Р. Шютцдэйхель и Ф. Зиммлер опубликовали ряд работ, в которых перебой во франкском диалекте рассматривается как самостоятельное явление [43, 44]. Тем не менее точка зрения Т. Фрингса — В. М. Жирмунского — Г. Лерхнера поддерживается многими германистами, в том числе Н. Р. Вольфом, автором соответствующей статьи в двухтомной диалектологии. Однако конкретного диалектного материала, который, безусловно, занял бы много страниц, Вольф не приводит; он полностью отсылает читателя к детальному описанию этого материала у В. М. Жирмунского [39, с. 1117].

В. М. Жирмунский был одним из организаторов и пропагандистов диалектографической работы в нашей стране. Его труды по основным проблемам лингвистической географии [41, 45, 46] сыграли большую роль в собирании и обработке диалектных материалов по различным языкам Советского Союза. Так, ученый явился вдохновителем создания «Диалектологического атласа тюркских языков СССР».

В течение последних десятилетий своей работы В. М. Жирмунский все большее внимание уделял картографированию, указывая на огромное

значение этого метода исследования для вопросов истории и генезиса языков. «Лингвистическая география, — пишет В. М. Жирмунский, — раскрывшая историческую динамику диалектологической карты, бросила новый свет и на показания средневековых письменных источников. Ее методика, при правильных методологических и исторических установках, открывает возможность для подлинно исторического изучения процессов изменения языка» [27, с. 536].

Интерпретация картографируемых явлений связана с вопросами ландшафта и ландшафтоведения. В предисловии к сборнику «Немецкая диалектография» В. М. Жирмунский показывает основные вехи развития диалектологии, лингвистической географии и теории ландшафта, ставит вопросы об изоглоссах, о соотношенности границ языков и диалектов, о различных пространственных закономерностях. Помещенные в книгу 33 лингвистические карты, составленные разными авторами, свидетельствуют о том большом значении, которое ученый придавал этой технике исследования.

В. М. Жирмунский — один из основоположников ареальных исследований в СССР. По его инициативе была организована научная конференция по ареальным исследованиям в языкознании и этнографии, проходившая в ЛО ИЯ АН СССР (1971 г.), где рассматривались общие вопросы ареальной лингвистики. За ней последовали четыре всесоюзные конференции по ареальным исследованиям в языкознании и этнографии, посвященные вопросам методологии и методики лингвогеографических и этнографических исследований, атласной картографии, взаимодействия лингвистических ареалов, соотношения периферии и центра и др. На конференциях подводились также итоги изучения диалектов многочисленных языков нашей страны. Указанным выше проблемам посвящены и некоторые исследования, имеющие методологическое значение [47, 48]. Продолжением идей и устремлений В. М. Жирмунского является и «задача социально-лингвистического прогнозирования, основанного на изучении языковых ареалов в долговременной перспективе социального и демографического развития соответствующих территорий» [49], поставленная перед языковедами.

В настоящее время диалектологи составляют макроатласы, охватывающие одну или несколько групп языков, например: атласы Средиземноморья, Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА), Лингвистический атлас Европы (ALE), Диалектологический атлас тюркских языков СССР (ДАТЯ СССР). Издано пять томов Лингвистического атласа немецкоязычной Швейцарии (SOS), создан Исторический лингвистический атлас юго-запада Германии на основе правовых документов XIII—XV вв., начато составление Франкского лингвистического атласа с использованием ЭВМ. Лингвистическим картированием охвачены и такие области, как Эльзас, Лотарингия, Люксембург, Форарльберг и др.

Научное значение трудов В. М. Жирмунского не только сохраняется, но и увеличивается в связи с расширением практических описаний отдельных языков и диалектов в пространстве и времени и углублением лингвистических теорий. Специалисты по истории и диалектологии немецкого языка до сих пор широко пользуются собранным и обобщенным автором материалом. Идеи В. М. Жирмунского в области диалектологии, лингвогеографии и ареальных исследований находят дальнейшее развитие как в нашей стране, так и за рубежом.

1. Зиндер Л. Р., Строева Т. В. В. М. Жирмунский как полевой диалектолог // Проблемы ареальных контактов и социолингвистики. Л., 1978. С. 158.
2. Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание. Л., 1976. С. 8.
3. Миронов С. А. В. М. Жирмунский и история изучения немецких диалектов в СССР // ИАН СЛЯ. 1971. № 4.
4. Schirmunski V. M. Die deutschen Kolonien in der Ukraine. Geschichte. Mundart. Volkslied. Volkskunde. Charkow, 1928.
5. Schirmunski V. M. Volkslieder aus der bayrischen Kolonie Jamburg am Dnjepr. Wien, 1931.
6. Schirmunski V. M. Deutsche Mundarten an der Newa. 2. Heimatbestimmung der ältesten deutschen Siedlungsmundarten im Newa-Gebiete // Teuthonista. 1927. Bd 3.
7. Schirmunski V. M. Die schwäbischen Mundarten in Transkaukasien und Südukraine // Teuthonista. 1928. Bd 5.
8. Жирмунский В. М. Проблемы переселенческой диалектологии // Язык и литература. 1929. Вып. 3.
9. Schirmunski V. M. Sprachgeschichte und Siedlungsmundarten // Germanisch-romanische Monatsschrift. 1930. Jg. 18. Hf. 3—4, 5—6.
10. Шишмарев В. Ф. Романские поселения на юге России / Под ред. Жирмунского В. М. и Левшина Б. В. // Тр. Архива АН СССР. 1975. Вып. 26.
11. Moulton W. G. Structural dialectology // Language. 1968. V. 44. № 3.
12. Sütterlin L. Neuhochochdeutsche Grammatik mit besonderer Berücksichtigung der neuhochochdeutschen Mundarten. München, 1924.
13. Öhmann E. // ZMaF. 1958. Jg. XXVI. Hf. 1. Rec.: Schirmunski V. M. Njemet-skaja dialektologija.
14. Schirmunski V. M. Deutsche Mundartkunde. Vergleichende Laut- und Formenlehre der deutschen Mundarten / Übers. von Fleischer W. B., 1962.
15. Trost P. Primäre und sekundäre Dialektmerkmale // ZMaF. Beihefte NF. 1968. № 4.
16. Reiffenstein I. Zur Theorie des Dialektabbaus // ZDL. Beihefte NF. 1980. № 26.
17. Reiffenstein I. Primäre und sekundäre Unterschiede zwischen Hochsprache und Mundart. Überlegungen zum Mundartenabbau // Opuscula Slavica et linguistica. Festschrift für A. Issatschenko. Klagenfurt, 1976.
18. Dialekt und Dialektologie // ZDL. Beihefte NF. 1980. № 26. S. 104—105, 370.
19. Tatzreiter H. 8. Arbeitstagung alemannischer Dialektologen vom 19. bis 22. September 1984 in Triesenberg, Fürstentum Liechtenstein // ZDL. 1985. № 1.
20. Домашнев А. И. Понятие структуры современного немецкого языка в трудах В. М. Жирмунского // ВЯ. 1980. № 2.
21. Weinreich U. Is a structural dialectology possible? // Word. 1954. V. 10.
22. Moulton W. G. The short vowel systems of Northern Switzerland // Word. 1960. V. XVI. № 2.
23. Moulton W. G. Lautwandel durch innere Kausalität: die ostschweizerische Vokalspaltung // ZMaF. 1961. Jg 28. Hf 3.
24. Moulton W. G. Phonologie und Dialekteinteilung // Sprachleben der Schweiz. Bern, 1963.
25. Moulton W. C. The mapping of phonetic systems // ZMaF. Beihefte NF. 1968, № 4.
26. Сухачев Н. Л. Что изучает структурная диалектология // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. Л., 1983.
27. Жирмунский В. М. Немецкая диалектология. М.; Л., 1956.
28. Sprachatlas der deutschen Schweiz. Begr. von Baumgartner H. und Hotzenköcherle R. Bern, 1962 (I, № 61—72).
29. Goossens J. Strukturelle Sprachgeographie. Heidelberg, 1969.
30. Campbell L. Is a generative dialectology possible? // Orbis. 1972. 21.
31. Schönfeld H. Zur Rolle der sprachlichen Existenzformen in der sprachlichen Kommunikation // Normen in der sprachlichen Kommunikation. B., 1977. S. 109—170.
32. Dialekt / Hochsprache — kontrastiv / Hrsg. von Besch W., Löffler H., Reich H. H. Düsseldorf, 1976.
33. Филличева Н. И. Диалектология современного немецкого языка. М., 1983.
34. Строева Т. В. Немецкая диалектология. Л., 1985.
35. Goossens J. Deutsche Dialektologie. B.; N. Y., 1977.
36. Niebaum H. Dialektologie. Tübingen, 1983.
37. Noble C. A. M. Modern German dialects. New York; Berne; Frankfurt-on-the-Main, 1983.
38. Keller R. E. German dialects. Manchester, s. a.
39. Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung /

- Hrsg. von Besch W., Knoop U., Putschke W., Wiegand H. E. B.; N. Y., 1982—1983.
40. *Moulton W. G.* // ZDL. 1985. № 2. Rec.: Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung.
 41. *Жирмунский В. М.* О некоторых проблемах лингвистической географии // Общее и германское языкознание. Л., 1976.
 42. *Lerchner G.* Zur II. Lautverschiebung im Rheinisch-Westmitteldeutschen // Mitteldeutsche Studien. 1971. 30.
 43. *Schützeichel R.* Die Grundlagen des westlichen Mitteldeutschen. Tübingen, 1961.
 44. *Simmler F.* Graphematisch-phonetische Studien zum althochdeutschen Konsonantismus, insbesondere zur II. Lautverschiebung. Heidelberg, 1981.
 45. *Жирмунский В. М.* О некоторых вопросах лингвистической географии тюркских диалектов // Общее и германское языкознание. Л., 1976.
 46. Немецкая диалектография / Под ред. Жирмунского В. М. М., 1955.
 47. Взаимодействие лингвистических ареалов. Л., 1980.
 48. *Бородина М. А.* Проблемы лингвистической географии. М.; Л., 1966.
 49. *Десницкая А. В.* К вопросу о предмете и методах ареальной лингвистики // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977. С. 23.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Akamatsu T. The theory of neutralization and the archiphoneme in functional phonology. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins. 1988. XXI + 553 p.

Рецензируемая монография японского исследователя Цутому Акамацу опубликована как очередной, 43-й том списавшей международной популярности серии монографий и сборников статей по актуальным проблемам общего языкознания, компаративистики и истории лингвистических учений. Серия издается в Амстердаме. В редакционную коллегию серии входят ведущие специалисты по многим отраслям языкознания. Советская лингвистика в редколлегии представлена академиком Т. В. Гамкрелидзе.

Книга состоит из краткого предисловия, написанного А. Мартине, введения и двенадцати глав.

В первой главе «Введении» автор излагает методологические установки своего исследования. Теория нейтрализации и архифонемы впервые была разработана в Пражском лингвистическом кружке. В настоящее время эта теория полностью принята и разрабатывается дальше в рамках функциональной лингвистики, в частности, в ее французском варианте. Это направление (Неопражская школа), к которому причисляет себя и автор, возглавляется А. Мартине. Задачу книги автор видит прежде всего в критическом обзоре с функционалистской точки зрения всех существующих фонологических концепций, ориентируясь непосредственно на нейтрализацию и на смежные с ней понятия, а также последовательно излагает собственную теорию нейтрализации.

Настоящее исследование как бы продолжает серию работ, осуществляемых учениками и сотрудниками А. Мартине под его руководством. Внутренняя задача этих исследований — детальнейший анализ эволюции фундаментальных понятий фонологии. Одной из таких работ было недавнее обширное исследование М. Вьеля, посвященное анализу понятия «признак» в фонологии и смежных с ней лингвистических дисциплинах [1, 2].

Примечательно, что стимулирующим фактором к такому рода исследованиям стала публикация Р. О. Якобсоном писем и заметок Н. С. Трубецкого [3], во многом проливающим свет на историю

становления понятийного аппарата фонологии (и не только фонологии), на подлинных источниках многих идей структурализма, на то, как складывался один из ставших впоследствии ведущим в лингвистической науке XX в. метод.

В этой связи можно сказать, что рассматриваемая монография написана в важнейшем и труднейшем жанре, к сожалению, у нас малопопулярном. Здесь автор на основе анализа и согласования фундаментальных понятий строит уточненный понятийный аппарат, что, в конечном счете, эквивалентно решению стратегических задач данной науки.

Ц. Акамацу в своем исследовании тщательно проанализировал и пересмотрел содержание таких фундаментальных понятий фонологии, как фонема, оппозиция, признак, нейтрализация, архифонема и т. п., употребившихся в работах Трубецкого, Якобсона, Мартине, Трики, Вахека, Куриловича, Матезюса и др., и в ряде случаев предложил свои оригинальные решения.

Теоретической основой рецензируемой книги является структурный и функциональный подход, причем в той разновидности, которая развивается А. Мартине и его учениками. И действительно, изложенные в книге идеи автора во многом развивают теорию нейтрализации А. Мартине, впервые изложенную в статье 1936 г. [4], а затем примененную и к единицам других уровней языка [5].

Хотя автор и считает школу функциональной лингвистики А. Мартине неопражской, говорить об этом можно с большой долей условности. В действительности идеи Пражского лингвистического кружка, возникшего в 30-е годы, дали жизнь по крайней мере трем лингвистическим школам.

Во-первых, это собственно пражская школа (Трика, Вахек и др.), продолжавшая традиции московской формальной школы (Фортуноват, Ушаков, Дурново, Трубецкой, Карцевский). Здесь функциональное рассматривается как неотъемлемое свойство структуры языка в целом, а функция — это способность единицы

«работать» в составе системы аналогичных единиц и служить средством различения и отождествления единиц более высокого уровня. Впервые такой взгляд был систематическим образом изложен Н. С. Трубецким в ряде работ, и в первую очередь в «Основах фонологии» [6]. Несмотря на ряд разногласий, такой же подход исповедуется и в Московской фонологической школе.

Во-вторых, это Неопражская школа, или школа Мартине. Если в центре внимания собственно Пражской школы находится описание фонологических процессов, то для Неопражской школы важны причины фонологических процессов, при этом причины, как правило, имеют антропофонический характер (на чем, собственно говоря, и строится принцип экономии речевых усилий Мартине). Разного рода системные критерии при этом не отвергаются.

И, наконец, третье направление, берущее свое начало от Пражской школы, — это школа Р. О. Якобсона, от которой в свою очередь отпочковывается генеративная лингвистика. По мнению автора (с. 9), это направление ассоциируется с функционализмом весьма условно. Нелучайно поэтому наиболее решительные попытки ревизии фонологической теории Трубецкого принадлежат именно генеративистам [7—8]. О расхождении точек зрения на ряд фундаментальных понятий фонологии свидетельствуют недавно опубликованные письма Трубецкого к Якобсону [3] и специальное историографическое исследование М. Вьеля [1]. Суть разногласий сводилась к взглядам на фонологическую систему (репертуар фонем или взаимообусловленные корреляции) и на природу фонологического признака.

В гл. 2 «Фонологическая оппозиция» автор предлагает различать оппозицию и контраст. Оппозиция — явление парадигматическое и обозначает парадигматическую противопоставленность фонем в рамках системы. Контраст обозначает синтагматические отношения между фонемами в пределах более крупных единиц языка (морфем, слов). Это отличие приобретает особый смысл, так как в ряде лингвистических школ (в первую очередь американской, необлумфилдianской, генеративной и др.) эти два понятия не различаются.

Автор предлагает различать фонологические и фонические (phonic) оппозиции и показывает, что с точки зрения теории нейтрализации функционально (фонологически) самостоятельными являются лишь фонологические оппозиции. Фонические же оппозиции (например, противопоставления [r] — [ʁ] во французском и [r] — [r^h] в английском) фоно-

логически нерелевантны. Предложенная еще Трубецким классификация оппозиций на привативные, градуальные и эквивалентные отражает фонологическую (в отличие от фонетической) структуру данного языка только в том случае, если эти оппозиции нейтрализуемы (т. е. если есть позиция нейтрализации). Фонологически привативные и градуальные оппозиции, с точки зрения автора, функционально не оправданы, т. к. здесь противопоставляются не фонемы, а признаки.

Таким образом, функционально полноценными являются лишь фонологические эквивалентные оппозиции, где противопоставляются не признаки, а фонемы. Развивая классическое учение Трубецкого о фонологической системе как о системе фонологических оппозиций и способах их нейтрализации, следует полагать, что нейтрализуются не признаки и не фонемы, а фонологические оппозиции. Оппозиция — основной способ взаимосвязи фонем, минимальная структурная единица фонологической системы [9, с. 67—72].

В гл. 3 «Релевантный признак» автор подчеркивает, что максимально функциональная теория нейтрализации и архифонемы должна оперировать понятием релевантного признака (relevant feature), при полном исключении понятия «различительный признак», употребляемого в генеративистской фонологии и в фонологической теории Якобсона, построенной на принципах бинарного противопоставления различительных признаков. Релевантный признак может быть определен лишь через оппозицию другому релевантному признаку (одному или более): «a» — «b», «a» — «b» — «c», «a» — «b» — «c» — «d» и т. д. Оппозиции релевантных признаков определяются фонологической системой конкретного языка.

Внутренняя структура релевантного признака определяется тем, что, во-первых, релевантный признак — это не единственный фонический (звуковой, phonic) признак, а комплекс множественных звуковых признаков, и, во-вторых, множественные различительные звуковые признаки в составе релевантного признака взаимно неделимы (non-dissociable).

Представляется, что не менее важным понятием следует считать интегральный признак — всякий признак, так или иначе объединяющий (интегрирующий) фонему в целостную систему [9, с. 74].

Гл. 4 «Нейтрализация» полностью посвящена анализу этого важнейшего понятия фонологии. Еще на заре зарождения фонологии как самостоятельной лингвистической дисциплины ее авторы, русские лингвисты Н. С. Трубецкой и Н. Н. Дурново, определяли нейтрализацию как «краеугольный камень фоноло-

гии». Ц. Акамацу дает следующее определение этого явления: «Под нейтрализацией понимается прекращение действия (operative) фонологической оппозиции между двумя или более фонемами в некотором контексте или контекстах (позициях? — примеч. наше. — Ж. В., III. А.) (контексте(ах) нейтрализации), которая (фонологическая оппозиция) действует (operative) в других контекстах (т. е. контекстах релевантности) в пределах данной фонологической системы. Нейтрализация происходит под воздействием групповой (concellation) оппозиции или оппозициями релевантных признаков, которые служат для различения фонем — членов нейтрализуемой оппозиции в контексте(ах) релевантности» (с. 111). Схематически это можно показать следующим образом:

/A/	«a	b	c	d»
/B/	«a	b	c	e»
/C/	«a	b	c	f»
.				

где /A/ и /B/ (и /C/...) — фонемы — члены нейтрализуемой оппозиции; «a», «b», «c», «d», ... взаимно различимые релевантные признаки; так ни «d», ни «e» (ни «f»), а также «a» не могут быть нулевыми, тогда как «b» и/или «c» могут быть нулевыми в зависимости от индивидуальных свойств нейтрализуемой оппозиции. Нейтрализация оппозиции /A/ — /B/ (—/C/) имеет место в позиции(ях), где оппозиция «d» — «e» (—«f»...), служащая для различения друг от друга /A/, /B/ (/C/...) в позиции(ях) релевантности, не действует (отменяется).

Композиционное построение главы таково, что собственное определение явления нейтрализации автор приводит в самом начале, буквально в первых строках, а затем анализируются альтернативные точки зрения и теории. Такая структура главы несколько затрудняет чтение. Собственная теория нейтрализации Ц. Акамацу представляется несколько громоздкой. Он предлагает различать понятия оппозиции и контраста, фонологическую и фонетическую оппозиции, оппозиции фонем и оппозиции признаков. Действие нейтрализации он ограничивает лишь эквишолентными оппозициями. По его мнению, в привативных оппозициях противопоставляются не фонемы, а признаки. Важным можно считать то, что автор сохраняет в своей теории нейтрализации основополагающее понятие оппозиции, утраченное, кстати говоря, в Московской фонологической школе. Однако в определении автора нейтрализация становится не только громоздкой, но в какой-то степени и теряет свои свойства системообразующего фактора, главной интегративной силы системы.

Фактором, объединяющим парадигматические и синтагматические свойства нейтрализации, является снятие парадигматического противопоставления в синтагматике. Поэтому разумным представляется дать классификацию типов нейтрализации по характеру нейтрализуемых оппозиций, и привативная оппозиция, вопреки мнению автора, вовсе не окажется в стороне, а, напротив, будет чаще всего нейтрализуемым типом оппозиций.

Далее следует еще остановиться на связи нейтрализации с различительными релевантными признаками. Автор (подробнее см. ниже) недостаточно четко показывает связь нейтрализации и архифонемы, хотя последняя объединяет всеедино константные и нейтрализуемые оппозиции интегративными силами материального сходства [9, с. 96]. В действительности архифонема реально проявляется в системе данного языка в позиции нейтрализации в виде своего представителя. При чем архифонема относительно релевантного признака данной оппозиции выступает как совокупность всех различительных признаков фонем — членов данной оппозиции, могущих выступать как в плюсовом, так и в минусовом значении. Так, например, при нейтрализации привативной оппозиции по глухости — звонкости в конце слова в русском и немецком языках в позиции нейтрализации выступает не фонема — член оппозиции с признаком глухости, а представитель соответствующей архифонемы [Р с признаком в минусовом значении [— звонкость]]. А по отношению к оппозиции в целом архифонема — это совокупность различительных признаков в минусовом или плюсовом значении:

$$P = \left\{ \begin{array}{l} + \text{признак} \\ - \text{признак} \end{array} \right\}$$

В гл. 5 «Нейтрализация и слияние фонем» приводятся восемь принципов различия этих двух явлений, из которых наиболее существенным является то, что нейтрализация прежде всего связана с определенной оппозицией и ее снятием в некоторых позициях (контекстах, по терминологии автора) в одной и той же фонологической системе, а слияние — это, по крайней мере, два разных качественных употребления фонем в различных фонологических системах (например, диалектных или в стилях произношения). Причем эти две фонемы диахронически и функционально едины.

Автор создает, что слияние — это процесс динамический (merger is a process phenomenon, с. 155). В этой связи следует более четко, чем это делает автор, различить синхронные свойства и исторические последствия этого процесса.

По мнению автора, слияние (в отличие от нейтрализации) связано либо с двумя синхронными фонологическими системами, или же (как нейтрализация) с двумя диахронически последовательными фонологическими системами. В качестве примера для первого синхронного случая приводится различие и неразличение /e/ и /œ/ в отдельных говорах Франции. Автор ощущает явные затруднения в различении синхронных и диахронических сторон этих процессов. И действительно, провести такую грань непросто.

Представляется, что слияние — это термин, характеризующий лишь внешнюю фонетическую сторону процесса и ни в коей мере не вскрывающий его фонологического механизма. Здесь слияние двух фонем (как, впрочем, и возникновение новой) следует рассматривать с фонетической точки зрения как возникновение новой или исчезновение старой оппозиции. Исчезновение одной фонемы можно представить себе лишь как процесс слияния ее с другой фонемой, что с фонологической точки зрения является слиянием прежних членов оппозиции. Причем такой процесс конвергенции обязательно ранее проходит через стадию нейтрализации, т. е. через процесс позиционного снятия парадигматических противопоставлений. Таким образом, фонемы не различаются сначала в одних позициях и различаются в других. Число позиций нейтрализации постепенно увеличивается-

Позиция релевантности				
/A/	«a	b	c	d»
/B/	«a	b	c	e»
/C/	«a	b	c	f»
(.....)				

ся до тех пор, пока позиции различения не исчезнут вовсе, что приводит тогда к полной утрате оппозиции. Явление слияния следует рассматривать вместе со смежным явлением расщепления фонем, когда прежние аллофоны (позиционные варианты) одной фонемы создают новую оппозицию, ставясь самостоятельными фонемами [9, с. 188—197].

Таким образом, связь нейтрализации и «слияния фонем» в действительности более глубокая, чем представляется автору. Нейтрализацию можно рассматривать как позиционное «слияние фонем» при уменьшении числа позиций релевантности, от позиции к позиции оппозиция исчезнет полностью, фонемы, составлявшие оппозицию, сольются, конвергируют.

В гл. 6 «Нейтрализация и дефектное распределение (дистрибуция)» показано, что нейтрализация — явление парадигматическое, а дефектная дистрибуция (невстречаемость двух членов оппозиции в одинаковой позиции) — явление

синтагматическое. Как правило, оппозиция с дефектной дистрибуцией фонем — членов этой оппозиции — не нейтрализуется. Это, однако, не может служить доводом в пользу того, что нейтрализация — это явление синтагматическое.

В гл. 7 «Нейтрализация и синкретизм» указывается на многочисленные случаи взаимообъединения этих двух явлений. Синкретизм в большей степени относится к явлениям морфологическим и представляет собой формальное объединение двух единиц (например, падежей) при сохранении их различий на семантическом уровне. В этой связи автор предлагает два типа оппозиций — нейтрализуемые оппозиции (т. е. нейтрализация происходит как на уровне означающего, так и на уровне означаемого) и синкретизируемые (syncretizable) оппозиции (нейтрализация происходит лишь на уровне означающего). Можно добавить и третий тип: в позициях нейтрализации снимается противопоставление означаемых.

В гл. 8 «Архифонема» приводится следующее ее определение: «Архифонема — это различительная единица, чье фонологическое содержание идентично релевантным признакам, общим фонемам — членам нейтрализуемой оппозиции. Архифонема отличается как от фонем — членов оппозиции, так и от фонемы в позиции нейтрализации» (с. 199). Схематично автор это показывает следующим образом:

Позиция нейтрализации	
/A — B(—C.../)	«a b c»

Здесь /A/, /B/, /C/ и т. д. фонемы — члены нейтрализуемой оппозиции, /A — B(—C.../ — ассоциируемая с ними архифонема и «a», «b», «c» и т. д. — релевантные признаки. Таким образом, непременным свойством архифонемы является ее связь с нейтрализацией. Поэтому архифонема имеет место лишь при нейтрализуемой оппозиции. Попытки же связать архифонему с постоянной (не нейтрализуемой) оппозицией (так называемая потенциальная архифонема) автор считает нецелесообразными. Кроме того, архифонема невозможна в позиции релевантности, где действует нейтрализуемая оппозиция. Архифонема не может быть идентифицирована ни с одним из членов нейтрализуемой оппозиции, т. к. фонологическое содержание архифонемы не равно фонологическому содержанию ни одного из членов нейтрализуемой оппозиции.

В гл. 9 «Нейтрализация и архифонема» подчеркивается, что эти два явления не отделяемы друг от друга. Архифонема

(термин был впервые введен в 1929 г. Р. О. Якобсоном [10]) — это сумма релевантных черт, общих двум или более фонемам — членам нейтрализуемой оппозиции. Архифонема встречается только в позиции нейтрализации. Предлагаются следующие критерии определения нейтрализуемой оппозиции и архифонемы: 1) множественное дополнительное распределение, 2) фонологическая альтернатива, 3) общая фонологическая база («common base»). Множественное дополнительное распределение предполагает (помимо отношений дополнительного распределения) наличие не менее двух позиций нейтрализации. Из всех предлагаемых критериев автор наиболее существенным считает наличие общей фонологической базы (термин А. Мартине), т. е. общих фонологических признаков, служащих основой для нейтрализации.

Таким образом, отдается предпочтение термину общая база (или основа), считая, что это понятие, в отличие от архифонемы, отвечает всем случаям нейтрализации как универсальному и основному явлению в фонологии. Критерий наличия у фонем общей базы, по мнению автора, более всего сочетается с принятой в его фонологической концепции единицей «релевантный признак». При таком подходе общая база удобнее всего обеспечивает переход от одного признака к многопризнаковой структуре, какой является релевантный признак.

Гл. 10 «Понятие „Представитель архифонемы“» посвящена анализу этого термина (и явления), впервые введенного Н. С. Трубецким. Подробно проанализировав различные точки зрения на исследуемое понятие, Ц. Акамацу выделяет в качестве основного вопрос об онтологической природе представителя архифонемы: что это — звук или фонема? Теория представителя архифонемы Н. С. Трубецкого, по мнению автора, осталась непоследовательной и поэтому явилась причиной споров о природе этого явления. С точки зрения функциональной фонологии и автора рецензируемой монографии представитель архифонемы — это 1) одна из фонем нейтрализуемой оппозиции, встречающаяся в позиции нейтрализации, 2) архифонема сама по себе не может употребляться в позиции нейтрализации, 3) архифонема не может определяться как различительная единица, 4) архифонема имеет фонологическое содержание, не сводимое ни к одной из фонем нейтрализуемой оппозиции, 5) архифонема не может быть представлена фонемой, 6) архифонема манифестируется (реализуется) в звуке (как и фонема), и такой звук может быть назван «манифестацией» (или «реализацией»), но не представите-

лем архифонемы (ср. фонема манифестируется/реализуется в звуке), 7) понятие представитель архифонемы, по мнению исследователя, должно быть полностью исключено как функционально непригодное, т. к. логически противоречит понятиям нейтрализации и архифонемы.

В гл. 11 «Признак. Маркированная фонема и немаркированная фонема» автор обосновывает свое предпочтение термина релевантный признак широко распространенному понятию различительный признак¹. Полагая, что именно оппозиция релевантных признаков и определяется фонологической системой данного языка, автор после подробного экскурса в историю разработки этого понятия приводит следующие «устоявшиеся» в науке характеристики: 1) признак — это свойство одного из членов нейтрализуемой оппозиции, которое отсутствует у другого члена. Остальные признаки у фонем-членов одинаковы; 2) признак — это фоническое свойство *per se*, 3) признак может быть, в зависимости от его внутренней структуры, объединением фонических признаков (субстанциональная характеристика признака). Существенно заметить в этой связи, что в концепции Н. С. Трубецкого в фонологической характеристике признака роль играют лишь фонические свойства (например, «звонкие»), тогда как от других (например, мускульное напряжение) он как бы абстрагируется; 4) признак по определению — комплекс множественных фонических различительных признаков (например, глотальные вибрации, мускульное напряжение и т. п.), которые в сумме идентифицируются как признак, в том числе как релевантный признак (по Мартине), при этом не намечается ни одного из фонических свойств признака (как субстанционального свойства фонемы, в данном случае) в качестве различительного; 5) признак, таким образом, может быть определен как фоническое качество *per se*, либо как эквивалент релевантного признака. Таким образом, автор подчеркивает, что в общем и целом заслуживают серьезного внимания две концепции, восходящие в конечном счете к Н. С. Трубецкому, отстаивавшему фонологически различительные свойства признака в качестве основополагающих, и А. Мартине, выдвигающего на передний план субстанциональные свойства признака. При этом подходе признак становится не простым различителем, а совокупностью физических

¹ В последнее время подобную же мысль в советском языкознании высказала Н. К. Пирогова. Она предлагает различать релевантные признаки (фонологически существенные) и дифференциальные признаки (различительные) [11].

(или артикуляционных) свойств, а основное свойство (различать и идентифицировать фонологические единицы) уходит как бы на второй план. Здесь же (с. 426) автор монографии высказывает разумную мысль о том, что понятие признака в рамках функционального подхода должно быть поставлено в строгое соответствие с другими фундаментальными понятиями фонологии — нейтрализации и архифонемы (добавим еще — оппозиции и корреляции). Эта задача лишь частично находит решение в рецензируемой монографии.

Вообще говоря, отличия различительных и релевантных свойств — далеко не такой простой вопрос. И дело здесь не только в терминологических и пусть даже концептуальных разногласиях между отдельными школами и их авторитетными представителями, а в существе дела. Поэтому задача состоит в том, как объединить субстанциальные, релевантные характеристики признака с их различительными свойствами. Верно, что фонема состоит из признаков (фонема — пучок различительных признаков), признак с фонетической (а следовательно, субстанциальной, физической) стороны — это совокупность различных акустических и артикуляционных свойств, во многих случаях еще до конца не выявленных². С фонологической точки зрения важны лишь те «фонические» свойства, которые являются различительными. Определяются те или иные свойства различительного признака фонем языка данного синхронного состояния. Изменения в системе в силу тех или иных причин, знаменующие переход от одного синхронного состояния к другому, могут выдвинуть в качестве различительных другие «фонические» характеристики признака. Вот почему так важно знать по экспериментальным данным соотношение фонетических свойств признаков. Такие данные могли бы быть использованы при создании диахронической типологии языка, которая, по справедливому замечанию Т. В. Гамкрелидзе [12], наряду с синхронной типологией должна составить не только методологическую основу сравнительно-исторического метода, но и отражает единство науки о языке на современном этапе ее развития.

Здесь уместно сослаться на один пример. В соответствии с глоттальной гипотезой (Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов [13]) фонемы первой серии индоевропейских смычных интерпретируются как

² Выявление акустических и артикуляторных признаков и, главное, изучение взаимозависимостей между признаками можно рассматривать как основную задачу экспериментальной фонетики.

глоттализованные. Сам признак глоттализованности (это отмечено и в рецензируемой монографии) образуется не только глоттальными вибрациями, но и мускульным напряжением. Это обстоятельство позволяет характеризовать (по крайней мере, для определенных индоевропейских диалектов) три серии индоевропейских шумных как градуально противопоставленных друг другу по признаку «сильные — слабые». Наиболее сильно маркированы были глоттализованные фонемы первой серии, менее сильно — звонкие (с придыхательными аллофонами) фонемы второй серии и самые слабые — глухие фонемы (с придыхательными аллофонами) третьей серии. Таким образом, релевантный признак глоттализованности, по крайней мере для ряда индоевропейских диалектов, в своем функциональном, фонологическом свойстве выступает в виде признака, поддерживающего градуальную оппозицию по силе.

Далее в этой же главе автор останавливается на понятии «маркированные и немаркированные фонемы». Как известно, Н. С. Грубецкой считал маркированным лишь признаковый член привативной оппозиции. Дальнейшая задача заключалась в том, чтобы соотнести понятие маркированности с другими типами оппозиций (градуальными, эквивалентными, простыми и многомерными). В рамках функционалистского подхода все типы оппозиций, по существу дела, сводятся к одному — нейтрализуемые — ненейтрализуемые оппозиции. По мнению автора, понятия нейтрализация и архифонема вполне покрывают традиционные термины признак (mark), маркированные и немаркированные фонемы. Нейтрализуемая оппозиция в его представлении — это эксклюзивная оппозиция, общая база или часть ее членов и есть архифонема. Автор, таким образом, по его же собственному утверждению, является единственным представителем неопражского функционализма, считающим, что понятие «нейтрализуемая оппозиция» полностью покрывает такие явления, как маркированность, немаркированность фонемы, признак и другие сопредельные понятия (с. 427).

Остается сожалеть, что автору остались неизвестными работы Т. В. Гамкрелидзе, например [14], где предлагается, по сути дела, новое представление о маркированности. Это базисное понятие фонологии определяется не с помощью нейтрализации, а исходя из частотности того или иного типа фонем в языках мира. С частотными характеристиками увязывается и дистрибутивная способность фонем (более свободная у немаркированных, более частотных и потому функционально более обычных и наоборот у маркиро-

ванных). Альтернативный взгляд на маркированность высказывается и в многочисленных работах американского лингвиста М. Шаниро [15], существуют и другие теории.

В гл. 12 «Заключения» подводятся итоги исследования. Важным выводом, к которому приходит Ц. Акамацу, является отличие фонологической оппозиции от оппозиции фонической (фонетической). Фонологическая оппозиция (в отличие от фонической) может подвергаться нейтрализации. Членами фонологической оппозиции являются не звуки (=члены фонической оппозиции), а фонемы и архифонемы, т. е. минимальные (дистинктивные) единицы вторичной артикуляции. Фонемы — члены нейтрализуемой оппозиции состоят из некоторого общего числа релевантных признаков, образующих архифонему. Фонологическое содержание фонемы определяется входящими в ее состав релевантными признаками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Viel M. La notion de «marque» chez Troubetzkoj et Jakobson: Un épisode de l'histoire de la pensée structurale. Lille; Paris, 1984.
2. Журавлев В. К. // ВЯ. 1987, № 5. Рец. на кн.: Viel M. La notion de «marque» chez Troubetzkoj et Jakobson. Lille; Paris, 1984.
3. Letters and notes of N. S. Trubetzkoy / Prepared by Jakobson R. with the assistance of Barab H., Ronen O. and Taylor M. The Hague, 1975.
4. Martinet A. Neutralisation et archiphoneme // TCLP. 1936. № 6.
5. Martinet A. La notion de neutralisation dans la morphologie et le lexique. P., 1957.
6. Трубеткой Н. С. Основа фонологии. М., 1960.
7. Cairns Ch. Markedness, neutralisation and universal redundancy rules // Language. 1969. V. 45. P. 863—865.
8. Davidsen-Nielsen N. Neutralisation and archiphoneme: two phonological concepts and their history. Copenhagen, 1978.
9. Журавлев В. К. Диакроническая фонология. М., 1986.
10. Jakobson R. O. Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves. Prague, 1929.
11. Пирогова Н. К. Вокализм и консонантизм русского языка: Синтагматика и парадигматика: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1985.
12. Гамкрелидзе Т. В. Лингвистическая типология и индоевропейская реконструкция // ИАН СЛЯ. 1977. № 3.
13. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. I—II. Тбилиси, 1984.
14. Гамкрелидзе Т. В. Маркированность в фонологии и типология фонологических систем // Теоретические основы классификации языков мира. [М., 1980.
15. Shapiro M. The sense of grammar. Language as semiotics. Bloomington, 1983.

Журавлев В. К., Шахмайкин А. М.

Алпатов В. М. Япония. Язык и общество. М.: Наука, 1988. 136 с.

Автор поставил перед собой задачу дать краткий научно-популярный очерк языковой ситуации в современной Японии, доступный читателю-нелингвисту. Цель столь же заманчивая, сколь и трудная. Это связано не только с необозримым обилием фактического материала, но и с засильем в нашем массовом сознании большого числа стереотипов о Японии, японцах, их жизни, культуре и, не в последнюю очередь, их языке.

У большинства читателей, интересующихся Японией, закрепился устойчивый образ японского языка как языка с иероглифической письменностью и потому трудного для изучения. Воспитанному в европоцентристской модели мышления человеку зачастую непонятно, зачем усложнять письмо иероглификой при наличии слоговой азбуки кана, с помощью которой легко записывается любое японское слово. Недоумение сменяется удивлением, когда узнают, что кана существ-

вует в двух равноправных видах — имеются так называемая хирагана, которой записывают изменяемые части слов, а иногда и целые слова, и катакана, используемая сейчас главным образом для фонетической записи заимствований из европейских языков. Зачем вообще пользоваться тремя системами записи там, где, казалось бы, можно обойтись одной? При более тесном знакомстве с японским языком и условиями его функционирования в стране число подобных вопросов быстро возрастает. К сожалению, наши языковеды не часто обращаются к социолингвистическим аспектам японского языка, ограничиваясь большей частью формальными и полудформальными исследованиями его грамматических и лексических структур. Книга В. М. Алпатова, преодолевшего эту односторонность, уже только поэтому представляется своевременной и нужной.

Автор кратко рассматривает историю

становления современного национально-литературного японского языка, отмечая, что он начал складываться после буржуазной революции 1867—1868 гг. на базе токиоского наддиалектного образования — разговорного языка токийских самураев и зажиточных горожан — и староречьменного японского языка бунго, восходящего к языку высших слоев японской аристократии периода Хэйан (IX—XII вв.). Иными словами, современный японский язык, окончательно сложившийся после 1945 г., имеет глубокие исторические корни.

Система литературного языка может быть противопоставлена другим формам существования языка — территориальным и социальным диалектам, просторечию, языкам национальных меньшинств. С этой точки зрения и анализируется языковая ситуация в современной Японии в первой главе книги. Автор подчеркивает, что в условиях сплошной грамотности и постоянного воздействия средств массовой информации практически все население страны живет в туже литературного языка и свободно им владеет. С другой стороны, большая часть взрослых японцев свободно говорит на диалектах, которые, как справедливо замечает автор, имеют четко выраженные социальные функции: на диалекте обращаются к членам «своей» группы — семье, деревни, землячества. Приверженность японцев групповому поведению, неоднократно отмечавшаяся исследователями, гарантирует сохранение и развитие этой формы языкового существования; дополнительную поддержку диалектам оказывает и стремление японцев к осознанию своих корней, повышенное внимание ко всему комплексу, охватываемому понятием «малая родина» (япон. *фурусаато*). К сожалению, социальным диалектам и просторечию в книге уделено меньше места, отчасти, возможно, и потому, что научная информация о них весьма скудна, а непосредственные контакты с носителями этих форм для исследователя-иностранца затруднительны. Резонно отмечается, что другие языки, в том числе, вопреки распространённому заблуждению, и английский, в Японии используют крайне ограниченно.

Анализ особенностей японской письменности, выполненный автором во второй главе работы, достаточно традиционен по духу, но, несомненно, будет интересен для массового читателя. Известно, что японцы не имели собственной письменности до заимствования и освоения к VIII в. китайских иероглифов. Последние использовались для записи как китайских заимствований (так называемых канго), так и корней чисто японских слов, но были неудобны для представле-

ния грамматических элементов и уступили эту функцию уже упоминавшейся хирагане. При этом чтения иероглифов в канго и японских словах не совпадают. Так сложилась система письма, которая до сих пор вызывает протест у всех начинающих изучать японский язык: мало того, что японский текст не имеет пробелов и пестрит иероглифами, но и читаются они неоднозначно, так что чтение данного иероглифа зависит от того, какие элементы в тексте стоят до и после него! Несмотря на такие сложности, как справедливо замечает автор, «...идея полной отмены иероглифики... никогда не имела серьезного значения и воспринимается на том же уровне, что и призывы к замене японского языка на английский» (с. 37). Причина здесь в том, что за свою тысячелетнюю историю японский язык приспособился к иероглифической письменности, и в нем произошли изменения, делающие упразднение иероглифики невозможным без значительного преобразования всего языка, прежде всего, его лексической системы. В частности, китаизмы-канго обладают большой омофонией, что затрудняет их восприятие на слух или при записи слоговой азбукой. Автор приводит типичный пример такой омофонии: в «Большом японско-русском словаре» насчитывается 23 слова, различающихся иероглифическим написанием, но имеющих одинаковые чтения *ко* : *сё* : . Заметим, что в японских словарях имеются и более впечатляющие примеры; так, словарь «Нихон кокуго дзэнэн» содержит 85 слов с чтением *ко* : *сё* : . Ясно, что в этих условиях переход к записи текстов слоговой азбукой или латиницей ничего, кроме путаницы, вызвать не может. Эти вопросы достаточно подробно освещены в японоведческой литературе, но, думается, автор совершенно резонно еще раз заостряет на них внимание читателя.

Заметим в связи с этим, что иероглифическая проблема имеет еще один важный аспект. В последнее время роль иероглифов продолжает возрастать в связи с развивающимися процессами информатизации японского общества. Автор лишь вскользь затрагивает эту проблематику, ссылаясь на мнение, согласно которому с распространением новых технических средств и словопроцессоров «недостатки иероглифики становятся менее значимыми» (с. 45). На мой взгляд, в этом контексте нужно говорить не о недостатках, а о незаменимости иероглифики в современных системах передачи информации в японском обществе в целом. Иероглифы идеально приспособлены для передачи максимальной информации в минимуме объема, ибо, в отличие от слоговой азбуки или латиницы, за каждым

знаком тянется большой шлейф значений, часто идеографического плана. Не случайно идеограммы множатся и в странах с европейской системой письма; к ним относятся многочисленные указатели, дорожные и товарные знаки, номера телефонов экстренных служб, спортивная символика и т. п. Информационная «насыщенность» и «неожиданность» иероглифов привела и к частичному возврату к ним при написании старых японских заимствований из европейских языков. Весьма часто в рекламах и вывесках можно встретить написанные иероглифами слова *ко:хи*: (кофе), *табако* (табак), и т. п.; традиционно их писали катаканой. Словом, компактность иероглифической записи удачно используется всюду, где нужно в ограниченный объем вложить максимум значимости — от газетных заголовков до современных машинных систем обработки и обмена информацией. Жаль, что этому качеству иероглифов, столь важному для бурно развивающейся информатики и неисследованному у нас, автор уделил так мало внимания. Анализ такого рода был бы с благодарностью встречен многочисленными читателями, особенно теми, кто занимается проблемами машинного перевода и, шире, весьма актуальной в наше время проблемой диалога человек — машина. Большой опыт, уже приобретенный в этой области японскими исследователями, представляет для нас несомненную ценность.

Довольно подробно автор говорит о формах вежливости в японском языке. Воистину, справедлива старая мысль: в культуре универсально значимо лишь уникальное. Отличие японского языка от европейских лежит, кроме всего прочего, и в обилии в нем гонорифических форм, причем не только лексических, но и грамматических. Можно сказать, что по сравнению с европейскими японский язык гораздо более социализирован. Очень важно, что в рецензируемой книге это обстоятельство четко отражено: «...та или иная вежливая или невежливая форма сказуемого присутствует почти в любом японском предложении. Поэтому японец не может избежать своего отношения по крайней мере к собеседнику... Встает вопрос выбора форм, и выбор этот социально обусловлен. В самом общем виде социальные противопоставления, значимые для выбора форм, сводятся к двум: — «высший — низший» и «свой» — «чужой»» (с. 57). Стоило бы подчеркнуть, что, иными словами, вежливость в японском языке — это не только вежливость. Используя гонорифические формы, японец практически в любой языковой ситуации находит с их помощью точку равновесия в постоянно меняю-

щейся гибкой системе социальных связей, которая и обуславливает общение. Может быть, не было бы лишним отметить и то, что в речевом общении японцев очень важны «обратные связи»: говорящий, часто на бессознательном уровне, учитывает не только возраст, пол, социальное положение, но и интонацию собеседника, его вазомоторные реакции, наконец, расстояние между разговаривающими и постоянно в своей речи реагирует на изменение этих параметров. Важно, что сама иерархия, определяющая правомочность и необходимость использования вежливых форм, значительно отличается от привычной нам; так, бросается в глаза употребление «сверхвежливых» форм японскими работниками сферы обслуживания по отношению к клиентам, которые традиционно считаются почетными гостями, ошачливившими магазин, банк или транспортное средство своим присутствием.

Рассматривая эволюцию форм вежливости в японском языке, автор обращает внимание на общую тенденцию к их упрощению. Многие слова и грамматические формы отесняются на периферию языка, уровень вежливости некоторых слов и форм быстро снижается. К таким словам сейчас можно отнести, например, местоимение 2 лица *анага* «вы», за время жизни одного поколения сделавшего эволюцию от очень вежливого до недостаточного вежливого (в вежливом стиле речи к собеседнику принято обращаться в третьем лице). С другой стороны, «противопоставление вежливых и невежливых форм по отношению к собеседнику устойчиво и не проявляет каких-либо тенденций к ослаблению» (с. 68).

К сожалению, при анализе способов передачи вежливости в японском языке автор ограничился только чисто грамматическими аспектами этой проблемы. Не затронута, например, такая особенность, как непривычная для европейского уха «расплывчатость» японской речи, типичное для нее употребление большого числа отрицаний, нанизываемых друг на друга, при сохранении общего положительного смысла высказывания. Это также является показателем вежливости, поскольку предполагает, что говорящий не навязывает своего мнения собеседнику.

Автор отмечает и еще одну уникальную особенность японского языка: кардинальные различия в речи женщин и мужчин, причем это расхождение столь велико, что «можно говорить не только о речевых различиях, но и об особых, половых по своему функционированию разновидностях японского языка» (с. 69), различающихся грамматически и лексически. В качестве примера автор рассматривает системы местоимений 1 и 2 лица и модально-

экспрессивных частиц, обычно завершающих предложение. Показано, что женщины и мужчины используют совершенно разные слова. Различия мужского и женского языков связаны также с употреблением форм вежливости (женщины избегают самых невежливых, мужчины — самых вежливых форм), однако самое главное различие кроется в правилах построения речи вообще: мужская речь более информативна, женская — более эмоциональна, но беднее лексически. Рассматривая изменения женского языка, происшедшие в последние годы, автор подводит нас к выводу, что грамматические особенности женской речи сглаживаются по мере ликвидации социального неравенства женщин в Японии и выхода их на арену общественной и политической жизни. Именно с этим связывается наметившаяся в последнее время тенденция к снижению вежливости женской речи. Нельзя, однако, не согласиться и с выводом автора о том, что нет оснований ожидать скорого исчезновения различий в использовании японского языка мужчинами и женщинами. На мой взгляд, это сглаживание и далее будет идти по пути сближения грамматических форм при общем сохранении в женской речи большей эмоциональности и следовании типичным речевым образцам. Иными словами, женская речь сохранится опять-таки как знак принадлежности к «своей» группе.

Часть работы В. М. Алпатов посвящена заимствованиям из европейских языков — так называемым гайрайго, которые в устной речи весьма часто выделяются своим нетипичным для исконно японских слов фонетическим обликом, а на письме передаются катаканой. Как известно, первые гайрайго появились в японском языке еще в XVI в., но основной наплыв заимствований произошел после второй мировой войны преимущественно из американского варианта английского языка. «Во многих случаях они бывают необходимы, обозначая реалии, которые не могут быть названы иначе; развитие терминологии невозможно без использования интернационализмов. Однако в японских газетах и журналах, лингвистических изданиях последних десятилетий постоянны жалобы на засилье гайрайго в современном языке, на обилие совершенно ненужных американизмов» (с. 87). Действительно, автору рецензии приходилось даже слышать от иностранцев, подолгу живущих в Японии, что в повседневной жизни они вполне обходятся знанием одного только «катаканного языка». На первый взгляд, такое утверждение близко к истине. Вывески, объявления, журналы, реклама, этикетки заполнены такими словами, как *видео* (видео), *адаруцу*

суцу («костюмы для взрослых» от англ. *adults suits*), *айсу-куруму* («мороженое» от англ. *ice-cream*), *са: бису* («сервис» от англ. *service*) и т. п. Можно понять авторов программы культурных событий на международной выставке ЭКСПО-85, именовавших свое детище на «заграничный» манер *ибэнто гайдо* (от англ. *event guide*), но почему отделения чисто национальной культурной программы «Нихонно мацүри» («Японские праздники») на этой же выставке назывались *наммо ван, наммо цу*: (от англ. *part one, part two*)? Более детальный анализ этих типичных языковых явлений, который только намечен, хотелось бы видеть и в рецензируемой книге.

Рассматривая проблему заимствований, В. М. Алпатов отмечает сильную неоднородность распределения гайрайго по сферам употребления: их заметно больше в текстах, связанных с рекламой, эстрадной музыкой, модой и т. п. Отсюда автор делает вывод, что «все перечисленные тексты с большим количеством гайрайго по тематике связаны со сферой потребления», а «очень многие гайрайго обозначают предметы и явления, связанные с американской массовой культурой, ориентированной на сферу потребления. Здесь американское влияние в современной Японии очень велико, и США стремятся к еще большему ее распространению. В сфере потребления наиболее престижным считается все американское, а задача рекламы японских товаров, японской эстрады и т. д. вытекает из необходимости убедить потребителя в том, что они не уступают американским» (с. 90, 91). В этом автор и видит основную причину распространения гайрайго.

Против такого вывода хочется возразить. Оставляя в стороне вопрос, насколько сейчас необходимо убеждать потребителя в том, что, скажем, качество японского видеомаягнитофона выше, чем американского (японские фирмы контролируют практически весь мировой рынок видеотехники не в последнюю очередь именно благодаря высокому качеству своей продукции), отметим, что сводить причину распространения заимствований в японском языке только к влиянию американской массовой культуры, на мой взгляд, неправомерно. Причины этого явления лежат глубже и уже анализировались многими советскими и японскими исследователями. Так, известный японский лингвист, профессор университета Ибараки Т. Исивата в книге «Иноязычные слова в японском языке» («Нихонго-но нака-но гайкокуго», изд. «Иваномо сётэн», 1985) выделяет целый комплекс языковых, социальных и психологических причин, обуславливающих проникновение заимствований в японский язык.

1. Гайрайго необходимы для описания новых предметов и понятий (*дзукки* : ни—цуккини, новый овощной гибрид, *байоэссикусу* — от англ. *bioethics* — отрасль знаний, имеющая дело с этическими аспектами биологических исследований).

2. Заимствования используются для передачи новых оттенков эмоций и чувств. Например, разница в переживаниях современной женщины и дамы хэйанской эпохи подчеркивается тем, что о чувствах первой говорят *фирингу* (от англ. *feeling* «чувство»), а говоря о второй, используют традиционное канго *канкаку*. К этой же категории канго, по мысли Исивата, относятся и «экстравагантные» слова и названия с налетом «заграничного» шика, обещающие новизну, необычность и высокие качества продуктов и услуг, например, *сарон экуспуруссу То : кё*: («салон-экспресс „Токио“» — название поезда), *райфу стайру* («образ жизни» — роскошный, конечно — от англ. *life style*).

3. Часто гайрайго применяются к понятиям, разделившимся на «свои» и «иностранные» для смыслового выделения последних. Так, спектакль традиционного японского театра называют *энгаки*, а представление театра европейского направления — *пафо* : *мансу*.

4. Многие гайрайго представляют собой научные, спортивные и торговые термины, проникшие в повседневный язык (скажем, *рэ* : *два*: «лазер»), либо названия новых профессий типа *фассён адобайдза*: (от англ. *fashion adviser* «консультант по вопросам моды»). Отметим попутно, что аргументация В. М. Аллатова, противопоставляющего язык сферы потребления языку научно-технической литературы на том основании, что в научных текстах количество гайрайго меньше, чем, скажем, в инструкциях, рассчитанных на массового пользователя, выглядит несколько искусственно. Прежде всего неправомерно делать вывод о превалировании канго в научно-технических текстах только на основании анализа соответствующих японско-русских словарей. В изданиях такого типа канго превалируют именно в силу отказа составителей от включения в корпус словаря большого числа заимствований, которые в научном контексте легко «расшифровываются» из-за близости их значений англоязычным эквивалентам. Анализ текстов реальных научно-технических статей и книг или, на худой конец, предметных указателей к ним позволяет сделать вывод, что доля гайрайго в них остается значительной. Так, в предметном указателе к сборнику статей о полупроводниковых лазерах «Хандо : тай рэ : дза:—но кисо» (изд. «Омуся», 1987 г.) среди 264 терминов «чистые» канго составляют 44%, а гайрайго в сочетании с канго и латиницей — 42%. Это указы-

вает на высокую степень агрегированности заимствований в языке научно-технической литературы. Гайрайго стали такой же несомненной частью этого языка, как и современного японского языка вообще.

5. Некоторые гайрайго заимствуются из международного политического лексикона и используются как регулярно (например, *саммито* — от англ. *summit* «встреча на высшем уровне»), так и спорадически — для передачи атмосферы международных контактов.

6. Гайрайго могут использоваться как своего рода иносказания вместо тех японских слов, которые в данной ситуации оказываются недостаточно вежливыми. Например, в универмагах отдел одежды для беременных женщин чаще всего называется *матамити доросу* от англ. *maternity dress*, несмотря на наличие японского эквивалента *нимпуфуку*.

7. Наконец, гайрайго могут оказаться предпочтительнее по причинам чисто языкового характера, как более удобные в употреблении. Такие примеры легко найти в европейских языках; скажем, немецкое слово *Lieblingsbeschäftigung* практически вытеснено его английским аналогом *hobby*. В японском подобного рода заимствования появляются либо как альтернатива сложным канго (например, *IC* — от англ. *integrated circuit* — интегральная схема — вместо япон. *сю* : *эки кайро*), либо как средство ликвидации омофонии (япон. *сириссу* означает и «муниципальный», и «частный», поэтому в последнем случае часто заменяется на гайрайго *пурайбэ* : *то* от англ. *private* «частный»).

С предлагаемой проф. Т. Исивата классификацией причин и каналов проникновения заимствований в современный японский язык можно и не согласиться, но бесспорно наличие по крайней мере нескольких таких причин, и это никак нельзя упустить из виду. Приведенные примеры показывают, что гайрайго представляют собой сложный конгломерат пограничной лексики, активно осваиваемой японским языком при наличии целого ряда внешних и внутренних причин.

Заключительные главы рецензируемой книги посвящены вопросам изучения и регулирования языка в современной Японии и распространения японского языка за ее пределами. Отмечая со вполне понятной ноткой горечи, что ни в одной из развитых стран правительство не уделяет лингвистическим вопросам столь большого внимания, как в Японии, автор весьма подробно анализирует деятельность таких учреждений, как Государственный институт японского языка и Институт культуры радио- и телепередач государственной радио- и телекомпании

Эн-Эйч-Кэй, в научной продукции которых преобладают работы прикладного характера; их теоретической основой служат идеи известной школы «языкового существования» (*гэнго сэйкацу*). В функции Государственного института входит сбор данных самого различного характера по японскому языку, проведение массовых обследований и детальный статистический анализ полученных данных, изучение форм языкового поведения и т. п. Читателю книги интересно узнать, что существует значительный банк данных по японскому языку последних десятилетий, большинство результатов исследований обрабатывается на ЭВМ. В Институте культуры занимаются изучением языка телевидения и радио и выработкой практических рекомендаций и предложений, которые используются для проведения целенаправленной языковой политики средствами радио и телевидения. Активная языковая политика, проводимая государством, дает свои плоды. В отличие от многих других стран в Японии наблюдается массовый интерес к

лингвистическим проблемам, пользуются популярностью книги лингвистов, японцы часто и с готовностью обсуждают языковые проблемы.

В последние годы растет число иностранцев, изучающих японский язык; этому способствуют и усилия по пропаганде за рубежом японской культуры, предпринимаемые правительственными, полуправительственными и частными организациями, среди которых не последнее место занимает Японский фонд. Информативным рассказом об их деятельности завершается полезная книга В. М. Алпатова, публикация которой будет с благодарностью встречена многими из тех, кто искренне и глубоко интересуется культурой нашего восточного соседа. Отмеченные проблемы, которые вызывают желание полемизировать с автором, не затеяют несомненной ценности работы В. М. Алпатова, которая может оцениваться положительно по самым строгим меркам научной критики.

Кручина Е. Н.

Технический редактор *Беллева Н. Н.*

Сдано в набор 29.08.89	Подписано к печати 23.02.90	Формат бумаги 70×100 ^{1/16}		
Высокая печать	Усл. печ. л. 13,0	Усл. кр.-отг. 74,6 тыс.	Уч.-изд. л. 15,0	Бум. л. 5,0
	Тираж 5666 экз.	Зак. 3895	Цена 1 р. 60 к.	

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, телефон 203-00-78

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6